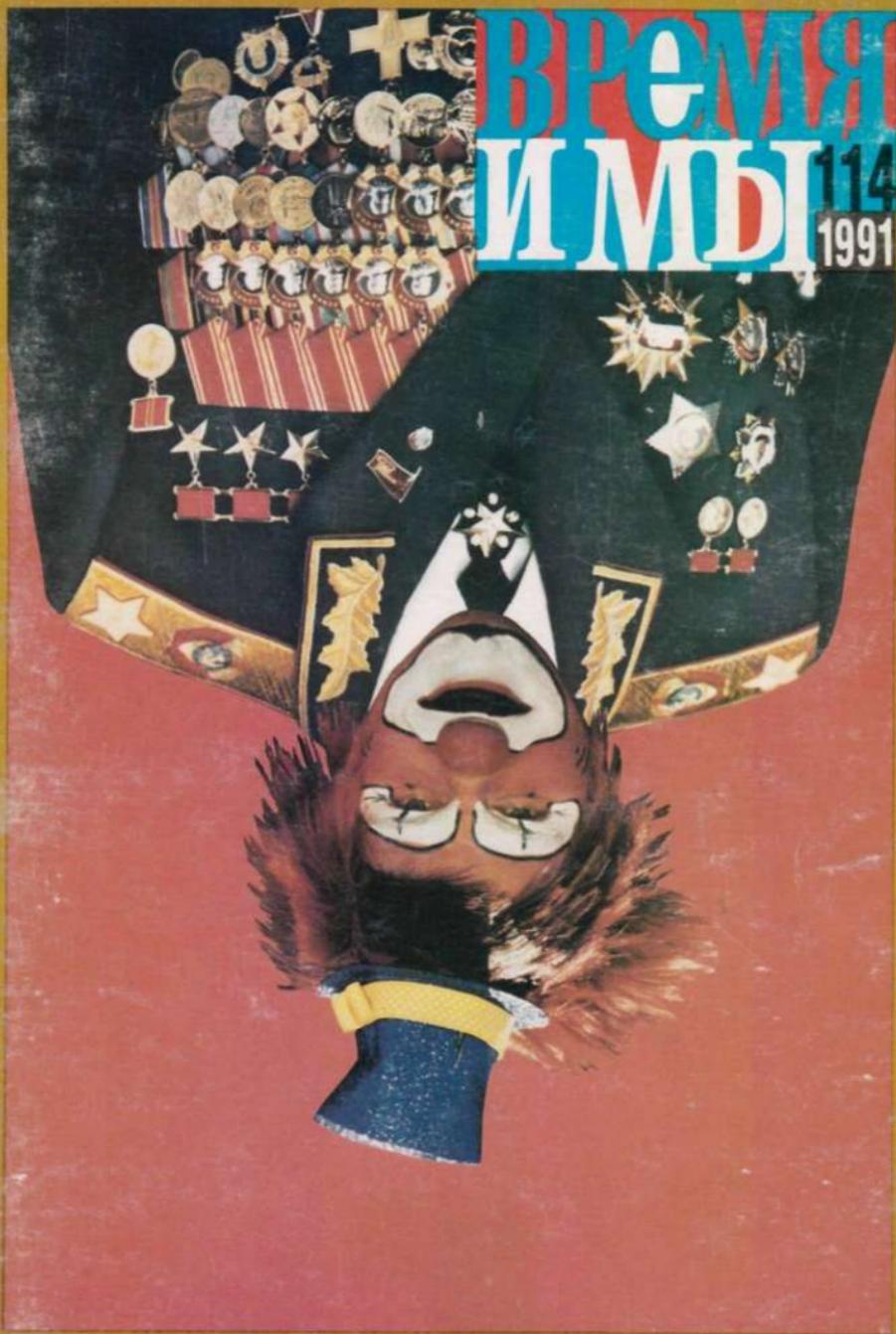


**ВРЕМЯ
ИМБИ** 114
1991



ПЕРЕВОРОТ

ВРЕМЯ И МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Семнадцатый год издания

Выходит один раз
в три месяца

**114
1991**

НЬЮ-ЙОРК,

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВРЕМЯ И МЫ“, 1991

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЛЕВ НАВРОЗОВ	ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК	

Представитель журнала в Москве
Андрей Колесников
121433, Москва,
Малая Филевская ул., д. 54, кв. 4
Тел.: 146-36-16

Израильское отделение журнала „Время и мы“
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала „Время и мы“
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине
Manama Shmargon, Shlosstr 30/30
1000 Berlin (West) 19

OCR и вычитка - Давид Титиевский, сентябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА	
<i>Инна ЛЕСОВАЯ</i>	
Вверх по Фроловскому спуску.	5
<i>А.Б.ИЕГОШУА</i>	
Любовник.	59
ПОЭЗИЯ	
<i>Элла КРЫЛОВА</i>	
Autumnus spiriti.	110
<i>А.ЛЕИН</i>	
Венок сонетов.	117
ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА	
<i>Виктор ПЕРЕЛЬМАН</i>	
Новая Россия.	126
<i>Э. ГЛИНЕР</i>	
Рынок против народа.	135
<i>Л.АННИНСКИЙ</i>	
Освобождение из Вавилонской башни.	148
<i>Мих.ЛОЙ</i>	
Русско-еврейский симбиоз.	163
<i>Андрей КОЛЕСНИКОВ</i>	
Левиафан и Венера.	188
<i>Елена ГЕССЕН</i>	
Эссе о женской прозе.	203
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ	
Тоска по несостоявшемуся прошлому	
Беседа Брониславы Тароциной с писателем	
Зиновием Зиником.	218
ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО	
<i>Сергей ИВАНОВ</i>	
Изгнание кавалера Глука.	234
<i>Александр БАХРАХ</i>	
По памяти, по записям	252
ВЕРНИСАЖ „ВРЕМЯ И МЫ“	
Феликс РОЗИНЕР	
Дьявол одержимости и муза таланта.	287



ИннаЛЕСОВАЯ

ВВЕРХ ПО ФРОЛОВСКОМУ СПУСКУ

Деревянный трамвай с грохотом и визгом преодолевал последний крутой поворот. Дальше дорога шла гладко вниз, к Подолу. Я сидела на коленях у папы и радовалась, что ехать осталось недолго. Тошнота уже мешала мне смотреть в окно на зеленые горки, поросшие дымчатыми травами и кустарником, на коварные срезы обрывов, на желтые деревянные лестницы, карабкающиеся неизвестно зачем к голубому небу.

Мы бывали здесь редко, но я узнавала эти пустынные улочки, кособокие деревянные дома, лохматую старуху, сидящую под запертой дверью на гнилой табуретке и провожающую исступленным взглядом наш красный трамвай с его желтым нутром, с девчонкой, прижавшей лоб к грязному стеклу, с пьяным одноруким попрошайкой, раскачивающимся в тамбуре, с кондукторшей в мужском пиджаке, прижимающей к животу набитую мелочью сумку.

— Кому Фроловский спуск — выходите. Следующая — Троицкий спуск, кому надо базар.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

Мы выходили под скрип растревоженных крестьянских корзин. Ждали, пока уедет трамвай, и тогда перед нашими глазами оказывалась разукрашенная, как игрушка, Фроловская церковь и улочка, вымощенная битым булыжником.

Здесь все улицы назывались спусками. Узкие пологие тротуары провожали нас вверх, незаметно и заботливо помогая набрать высоту двумя-тремя низкими ступеньками. Мы входили в деревянные ворота, и кишашая за этими глухими воротами жизнь неожиданно открывалась нам. Широкий двор, облепленный флигелями и сараями, с зияющей у самого входа дырой канализации, с хлопающей дверью уборной и непролазной паутиной веревок, на которых полоскалось убогое пестрое барахло: вышитые салфетки, военные обноски, растрепанные лифчики с оборванными пуговицами, линялые штаны... Мы пробирались, нагибаясь под веревками, брезгливо уворачиваясь от мокрых пощечин.

— В этих местах всегда жила беднота и босота, — пояснял папа.

„Беднота“ справа от нас справляла свадьбу. Прямо на улице скулил патефон, старик в шляпе серьезно и не в лад стучал в бубен, а гости отплясывали, тараша глаза, задыхаясь и выбивая каблуками серую пыль. Две женщины, не издавая ни звука, тянули друг друга за волосы...

Слева на деревянном столе восседала „босота“ — взрослые мальчишки в кепках. Они провожали нас враждебно-презрительными взглядами и короткими плевками. Один из них что-то пел, пощипывая струну на гитаре, остальные сально хохотали.

А мы уже поднимались на горку. Останавливались на площадках, похожих на балкончики с лавочками. И снова шли, ступенька за ступенькой, все вверх, вверх к голубому небу, пока внезапно не являлась нам ровная площадка, каменный домик с верандой, низенькие корявые акации и под ними фонтан — ржавая труба, обложенная по кругу кирпичной кладкой. На кладке сидел мужчина и мыл ноги в тазу.

— Соломоновна! — кричал он. — Встречай! До тебя гости! -

и, опустив обе ноги в таз, с доброжелательным удивлением смотрел на шумную сцену, которая всегда следовала за этим.

— Мамочка! Кого я вижу!

Первая навстречу нам выбегала тетя Геня. Ее круглое лицо сияло, она восторженно всплескивала пухлыми ручками. За ней с протянутыми для приветствия руками являлся дядя Давид, а из-за сараев спешила Манечка. И все мы по очереди целовались, причем дядя Давид старался чмокнуть меня в губы, а целовался он громко, мокро и царапался щетиной. Мои родители хвалили Манечку (как она выросла, нивроку!), тетя Геня и дядя Давид — меня (мамочка, красавица моя, какое у тебя платичко!).

А чуть в стороне умиленно кивала нам соседка — тетя Аюта, и дочь ее, Поля, улыбалась самой приветливой и достойной из своих улыбок.

Похоже было, что мы не виделись много лет, хотя только в среду тетя Геня заезжала к нам, а накануне приходил дядя Давид. Но „на горку“ мы в самом деле приезжали редко, и весь этот шум казался мне естественным. Шутка ли — я считала тогда, что „конец света“ находится прямо за Птичьим рынком, а от Троицкого спуска до Птичьего рынка оставалось всего две остановки.

Каждый раз дядя Давид обещал туда свозить нас с Манечкой, но после обеда лень одолевала его, и поездка откладывалась до следующего раза.

— Ой! Там так интересно! — с чуть злорадным жаром восхищалась Манечка.

— А что, прямо утки, гуси сами все продают? — пыталась я проникнуть воображением в заветный край.

— Даже еще лучше! — в углах Манечкиного пухлого ротика закипала слюна вдохновения.

— А может, сводим ее в собачий питомник? — предлагал беленький мальчик в тубетейке.

— Нет, — пренебрежительно кривилась на меня Манечка, — ей туда нельзя.

Манечкины друзья разглядывали меня как диковинную птицу, чудом залетевшую на север. Мне и в самом деле не разрешали спускаться с горки и даже заходить за сарай, но меня это не огорчало, ибо пятачок, на котором мне предоставлялась свобода, был неисчерпаемо полон чудес. Солнечная полянка за домом слепила россыпью желтых цветов. В холодном сумраке сарая копошились серые кролики. Там же в углу стояла торба с разноцветными лоскутами. Чего стоил один фонтан!

Я мечтала увидеть, как на вершине горы из ржавой трубки бьет прямо в небо струя воды, как, разбиваясь на капли, вода стучит по мелким прозрачным листьям. Прямо под окном тети Гени.

— Ну как, — с надеждой вопрошала я, — уже починили?

— Да, — сурово отвечала Манечка, — как раз вчера весь день работал. Надо было тебе вчера прийти! Вот скажи ей, Сережка!

— А что, и правда, работал? — у беленького распахнулись глаза.

— Ты чего врешь? — вдруг перебила ее Поля, до того наблюдая за нами издалека.

— Но ты же сама мне сказала, — с робкой обидой возразила Манечка.

— Да, я сказала, но ведь ты-то сама не видела, — непроницаемая Полина улыбка допускала множество толкований.

— Фонтан работал! — снова завелась Манечка.

— А вот и нет!

— Работал, работал дети, — невпопад вмешалась тетя Геня, — он сломался только недавно, во время войны.

Тетя Геня выглядывала из своего окошка, как птичка из гнездышка. Такое теплое, уютное гнездышко с кружевными занавесочками в кудрявых зарослях акации.

— Ласточка моя, подойди сюда, я тебя поцелую.

Я подходила к окну и подставляла лоб. Я очень любила тетю Геню. Любила ее тесную комнатку, где под низким потолком странно громоздились медная труба, сверкающий

саксофон, черные обшарпанные футляры, скрывающие что-то неприкосновенное и прекрасное. Прикрытые ветхими кружевами, они вызывали во мне почти похоронное благоговение. А черная швейная машинка, стоящая под окном, казалась упорной старой лошадкой, которая из последних сил тащит на себе куда-то весь этот нескладный хлам. Натягивая ремень, надсадно скрипя колесом, она трогалась с места и начинала строчить равномерно и расстроено.

Это был ритм, в котором жила моя тетя Геня. Маленькая, толстенькая, она пролет за пролетом одолевала деревянные изломы лестницы, останавливалась на площадке, опускала набитую сумку, держалась за сердце, пытаясь справиться с одышкой и глядя в голубое небо безропотными выпуклыми глазами. Но от опущенных углов ее маленького слабого рта прорезались глубокие морщины решимости, которая помогала ей бороться с жизнью и одерживать над ней мелкие победы.

Тетя Геня кормила семью. Она считала себя очень хитрой и предприимчивой. На своей половине сарая она разводила кроликов и кур. Перья тетя Геня собирала на подушки, а из кроличьих шкурок шила детские шапки с торчащими ушами и тремя бомбонами. Нашим родственникам эти шапки казались смешными, но я была от них в восторге. И на толкучке их охотно раскупали крестьяне.

Еще больше мне нравились платица, которые тетя Геня шила из тонких обрезков крепдешина. Обрезки по дешевке продавала ей уборщица с галантерейной фабрики. У меня самой было такое платье. Оно состояло из одних оборочек и вдобавок по подолу и гестке было обильно утыкано крепдешиновыми „розочками“. Они так и назывались — „платья с розами“, и „давали“ за них по двадцать пять рублей.

Особым спросом пользовались крепдешиновые стеганые ватники. Городские дамы надевали их зимой под бостоновые синие пальто со съемными лисицами. Стоили ватники дорого, но стачивать их из лоскутов было трудно и „невыгодно“.

Тетя Геня постоянно собирала всякие обрезки и обноски.

Из сношенного халата она шила платице для Манечки, из платица — наволочку на диванную подушку; когда снашивалась наволочка, вырезала из нее носовые платки, а затем пускала на кухонные тряпки или конопатила на зиму окна.

Тетя Геня вертелась с утра до ночи, и порой ее лицо вытягивала гримаса усталой обреченности. Но обычно она была деятельна и оживленна. Она сама была в восторге от своих платиц, ватников, салфеточек, оттого, что вылечила нарыв на ноге у дяди Давида.

— Я взяла три старые таблетки биомицина, растолкла, смешала их с вазелином — и все сошло! Как рукой сняло! Я теперь всех соседей так лечу!

Тетю Геню на горке боготворили даже самые отпетые „черносотенцы“. Никто не умел так ловко ставить банки или компресс. Она выгоняла у детей глистов с помощью семечек и сладкого молока, вытаскивала занозы и застрявшие в горле рыбы кости.

— Тетя Генечка, вы у нас справжний доктор! Дэ вы всьому цьому научилсь?

— Жизнь научила, деточка! — польщено, с печальным достоинством отвечала тетя Геня.

Наверно, в ней от природы была заложена какая-то врачебная хватка. Однажды Манечка долго и тяжело болела бронхитом. Ей прописали отвар из ягод калины. В тот год калина не уродила, но тетя Геня рассудила, что кора калины должна действовать еще сильнее, чем ягоды, — и оказалась права. И вообще во всем ее облике и поведении было что-то такое, от чего больному становилось спокойнее и легче.

В жестоком скандальном мире подольского двора тетя Геня витала ангелом доброты и миролюбия. Она гасила скандалы, мирила соседей, всех понимала и жалела. Под ее печальным укоризненным взглядом сникали подольские хулиганы, а торговки на Житнем рынке сбавляли цены на зелень и творог.

Тетя Геня любила базар. Она покупала всего понемножку, только для Манечки, и в ее руках горсть земляники, влажная

горка творога, лучащееся розовым светом яичко казались сокровищами. Она и называла их нежно: не морковка, а обязательно морковочка, не горох, а горошек, капусточка, петрушечка... Себе и дяде Давиду она готовила из самых дешевых продуктов, но столько любви и выдумки вкладывала в свою стряпню, что считалась в родне одной из лучших кулинарук. Под праздники она отправлялась в мясной ряд и там долго и придирчиво разглядывала красные оскаленные головы. Из „хорошей“ головы у нее получалось не менее четырех деликатесов. Впрочем, деликатесом у нее казалось и обычное картофельное пюре, заправленное укропом и толченым чесноком. А какая у нее бывала селедка!

— Ах, какая селедка! — восхищался кто-нибудь из гостей, утирая жирные губы. — Это по двадцать четыре или по двадцать шесть?

Лицо тети Гени, распаренное на кухне, еще ярче разгоралось от радости. Она не опускалась до лжи, ибо слишком гордилась своей „хитростью“ и ее результатом.

— Нет. Это по восемь двадцать! Сначала я целый день вымачивала ее в молоке. Потом на день положила ее в уксус и добавляла...

— Генечка! Что ты давала в компот, что он такой ароматный?

— Аа-а! — тетя Геня лукаво и радостно грозила пальцем. — Я взяла немножко...

Потом она мыла на кухне посуду и рассказывала мне, Манечке и Польке о своих родителях, детдоме, воспитательнице, которая не выговаривала букву „л“ („Дубинская! Убери со стола вокоть и возьми вошку в правую руку!“), о том, как ушел на войну ее муж („Дяде Давиду на долгие годы, он был золотой человек. Я оставила себе его фамилию. Пусть хоть какая-то память останется от него, раз ничего больше не осталось“), о том, как по дороге в Сибирь у тети Гени родился мальчик, о том, как ее назначили директором парикмахерской, и какую чистоту ей удалось там навести, и какие там все были хорошие люди, и как тетя Геня заболела тифом и

целую неделю лежала без сознания, и как она, придя в себя, узнала, что ребеночек умер („Я сказала: девочки, отведите меня на кладбище. Они одели меня и повели под две руки. Прихожу, а они мне показывают могилку, а на ней маленький крест. Они его даже цветочками разрисовали. Я увидела это и заплакала. И говорю: что же вы, девочки, наделали? Зачем вы поставили крест? Моим родителям покойным так обидно это видеть! У нас не положено ставить крест. Они меня спрашивают: а как же у вас положено? Я говорю: у нас положено просто поставить табличку и написать: такой-то и такой-то. Родился в сорок первом году, умер в сорок втором. Через два дня прихожу — уже поставлена табличка и так красиво сделана, и разрисована масляной краской!). Тетя Геня умиленно всплескивала руками.

— Ну все, дети! Идите в комнату.

Мне и на кухне было очень интересно. В углу, за плитой, стояла большая белая ванна, с которой, как и с фонтаном, я никак не могла разобраться: „работает“ она или нет. А еще лучше был похожий на пенек деревянный чурбанчик, на котором рубили мясо. Манечка и Поля вечно спорили, кому на нем сидеть. Если Поля не было дома, Манечка могла бы сидеть сколько угодно, но ей почему-то не хотелось, а как только появлялась Поля и мельком бросала: „Не смей садиться на мое место!“ — Манечка начинала спорить и канючить. Польшка была безжалостна и непреклонна. Случалось, она сама и не думала садиться на пенек, а стояла молча и смотрела на Манечку, улыбаясь светлой змеиной улыбкой, и та не смела ослушаться. Или неожиданно Польшка теплела, усаживала ее на пенек, выносила на кухню ленты и бусы, наряжала обалдевшую от счастья Манечку („Ты будешь принцесса!“), но вдруг в уголках ее рта скручивались ехидные спиральки.

— Жди меня здесь, никуда не уходи!

И бедная Манечка и час, и два скулила, растягивая восьмеркой обиженные губы, но с места не сходила.

Со мной Польшка была очень ласкова. Однажды она подарила мне целую коробку „мозайки“. (Это была прекрасная

старинная смальта. Польшка собрала ее где-то в развалинах церкви. Их тогда одну за другой сносили на Подоле). Дети со всего Фроловского спуска ходили смотреть на Польшкины „разноцветные камушки“, и никому не удалось выпросить у нее хоть один. Она жестоко высыпала их прямо в собачью будку, и там они лежали у всех на виду, неприкосновенные, ибо подойти к злому черному Цыгану не осмеливался никто, кроме Польшки. Впрочем, и без Цыгана никто не вошел бы в Польшкин палисадник.

А как мила была Польшка с моими родителями! Как скромно входила в тетигенину комнату, вскидывала свои прозрачно-серые глаза. Было в ее облике что-то необычное, нездешнее. Тугие светлорусые косички, прямой, чуть небрежно срезанный носик, треугольный мысок верхней губы, кружевные воротнички... Она садилась на уголок кровати и, потупившись, отвечала на вопросы моей мамы. Нельзя было поверить, что она уже три раза убежала из дому, что за съеденную тарелку каши берет у тети Анюты рубль, а за ложку рыбьего жира — пятерку. Она благоговейно отпивала тетигенин компот, откусывала хрустящую корочку пончика и робко просила дядю Давида достать баян.

— Да-да! Давай, Давид, сыграй! — поддерживали гости.

Дядя Давид снимал со шкафа баян медленно, но охотно. Ситцевый баян с прокуренными кнопками, с пуговицами разноцветными, как на старом белье, был украшением любого торжества в нашей родне. Он слегка скрипел, слегка хрипел, а любимые мелодии дяди Давида, „На сопках Маньчжурии“, „Соловьи, соловьи“, „Вернись в Сорренто“ — в сопровождении неизменных приседающих аккордов (ум-па-па, ум-па-па) — получались убогие и липкие, как сироп. Но без этого баяна не было ощущения праздника.

Взрослые говорили, что дядя Давид — самородок.

— Это же одаренность! — компетентно заявлял папа. — Он на любом инструменте может сыграть любую мелодию! Если бы его учили, это получился бы гений, второй Утесов!

Утесов не получился из дяди Давида по вине его матери.

Он был в семье единственный сын, и мать не могла допустить, чтобы единственный сын Файвыша Сапожника пиликал на свадьбах: испокон веков все каменецкие Сапожники были портными. Впрочем, не меньший вред она нанесла Давиду тем, что в самом раннем возрасте стала ему давать перед едой рюмку спиртного — „для аппетита”.

Давид научился шить, два года проработал в швейной мастерской, но неожиданно ушел оттуда. К началу войны он перепробовал несколько профессий и заслужил в городе репутацию лентяя. Что он делал с удовольствием — так это пиликал на свадьбах.

В сорок первом году его мобилизовали, и он со своим кларнетом дошел до Берлина и даже получил медаль. Их музыкальный взвод попал под обстрел, все разбежались, а дядя Давид замешкался. Ему жалко было оставлять телегу с ящиками, где, по его предположению, лежали музыкальные инструменты и ноты.

— Вы понимаете, — дядя Давид разводил руками, — взять, понимаете, и целую телегу добра бросить вот так, среди дороги...

Дядя Давид погнал лошадку и вскоре выбрался к своим. В ящиках оказались штабные документы.

Эту историю дядя Давид рассказывал нам часто, когда после двух-трех рюмок становился разговорчивым и веселым. Еще он рассказывал историю про фрейлахс*.

— Сижу я как-то один. Что-то настроение было плохое. Вспомнил дом. Ну и так, даже сам не заметил — стал наигрывать. А товарищи услышали — это же музыканты — и им понравилось. „Сыграй, сыграй, Давид!” Ну, я уже сыграл, как следует. Они зовут дирижера: „Так и так, Сапожник знает хорошую песню, мы хотим ее разучить”. Дирижер тоже не против. „Пожалуйста! А как это называется?” Я подумал и говорю: „Соним оф цэлюхэс — врагам назло”. И мы до конца войны играли фрейлахс на каждом концерте. Так и объявля-

* Веселая свадебная мелодия (евр.).

ли: „Еврейская народная песня”... Только мое название никто не мог правильно выучить. Все говорили: „Соним гопцедулыс” или просто „гопцедулыс”.

К середине обеда дядя Давид грустнел, концы с концами у него переставали сходиться, на глаза наворачивались слезы, и он жалел, что отказал Натану Рахлину, который звал его в свой оркестр.

Каждый раз, когда меня водили в театр, я старалась заглянуть в мерцающий провал оркестровой ямы. Я искала глазами пустующее место дяди Давида. И его носатое длинное лицо, еще сильнее вытянутое вверх проволочными завитками волос, мерещилось мне где-то среди первых скрипок. Сосредоточенных, с солидно надутыми щеками над белым уголком платочка, над лоснящимся красным деревом... Черная бабочка, черный фрак...

Рахлин не Рахлин, а куда-то дядю Давида действительно приглашали. Но он уже был женат на тете Гене, а тете Гене музыкальная карьера представлялась исключительно на уровне пивной или ресторана, и она боялась, что такая работа еще больше разовьет склонности дяди Давида к выпивке. К тому же известно было, что портные хорошо живут. И дядя Давид снова, и на всю жизнь, стал портным.

Для того, чтобы хорошо жить, дяде Давиду не хватало смелости. Он боялся „зарезать” ткань, и поэтому кроил с большим запасом, рассчитывая подогнать вещь на примерке. Но подогнать удавалось не всегда, и дядя Давид выплачивал заказчику стоимость ткани. Необъятные брюки с кокетливо загнутой штаниной, широкие основательные пиджаки и другие его изделия бесценно украшали витрины подольских комиссионков. Случалось, что он прожигал утюгом готовые вещи.

Несмотря на все это, в нашей родне считалось обязательным шить мужскую одежду только у дяди Давида. Предполагалось, что хотя вообще-то он недотепа и лентяй, но для своих уж особо постарается. Папа, знавший дядю Давида раньше всех, говорил, что теперь он работает значительно

лучше, что до войны он шил брюки, не учитывая особенностей мужского организма. На это дядя Фима обычно отвечал, что зато теперь в них поместились бы даже „особенности“ слона. И все-таки они ездили в ателье на Подол, на самый конец света. И дядя Давид, в полосатой рубашке и жилете, с сантиметром на шее, торжественно вершил примерки и вручал готовые вещи. Сам он всегда был доволен ими.

— Я делал так, — он внушительно поднимал палец и говорил тихо и доверительно, — с расчетом, чтобы можно было надеть теплое белье!

Родственники платили по счету и сверх того — „благодарность“ лично дяде Давиду. Дядя Давид мог бы получать и всю сумму, если бы соглашался шить частным образом, но он так исступленно боялся финотдела, что запирали дверь и занавешивали окно, когда чинил собственные брюки. Да и „благодарность“ решался брать только у родных. Удивленные таким бескорыстием клиенты водили его через дорогу в кафе „Ветерок“, и дядя Давид частенько возвращался домой навеселе. А то и сам покупал себе четвертушку. Он поднимался по деревянной лестнице, пролет за пролетом, и, нащупывая в черной бездне кармана прохладный стеклянный бочок, улыбался тайной, плотоядной улыбкой. Эти четвертушки съедали значительную часть его скромной зарплаты.

Тетя Геня видела корень зла в дурном примере. Борис Литовский, Польшин папа, пил водку стаканами, как минеральную воду, и раз в неделю с ним пил дядя Давид.

По воскресеньям Борис Литовский торжественно завтракал. С шести утра тетя Анюта выбивала на кухне битки, начинала цыплят, жарила бабку из мацы, тонко резала осетрину, вспарывала консервные банки. От жары и спешки лицо ее полыхало. Полыхали оранжевые цветы на черном крепдешинном платье, тяжелое ожерелье из темного янтаря в глубоком вырезе на пышной груди будто плавилось от жара, жарко смотрели черные глаза, и черные волосы, разделенные прямым пробором и жестко прижатые зажимами с обеих сторон широкого низкого лба, как дым, вились по плечам.

Опасливо поглядывая на свою дверь, она быстро совала тете Гене тарелку, покрытую другой тарелкой, и шептала воровато и умильно:

— Пусть Манечка покушает!

В двенадцать она накрывала круглый дубовый стол и посылала Польшку за дядей Давидом. Дядя Давид давно уже был готов и сидел как на иголках, но для приличия делал вид, что собирается. Причесывался, поправлял майку, высоко подтягивал полосатые штаны, наконец, набрасывал на плечи ремни баяна и отправлялся к соседям, шаркая по длинному коридору зелеными шлепанцами. Борис Литовский любил завтракать под баян.

Бориса Литовского на Подоле знали все. Он был лучшим мясником на Житнем рынке. А Житний рынок был лучшим рынком в городе. Так говорила тетя Геня. Когда разговор у взрослых заходил о Польшкином отце, само слово „Борис“ вдруг наливалось угрюмой распирающейся тяжестью. Тяжестью его литой лысины, чугунных плеч, бешено вздернутого тупого носа с черной кисточкой усов, невыносимого взгляда голубых неподвижных глаз.

Борис Литовский никогда и ни с кем из соседей не разговаривал. Он ходил из дому на работу пешком и на всем пути от Фроловского спуска до базара ни с кем из встречных не здоровался. Даже со старым греком Колей, который сорок лет стучал молотком по дырявым подметкам в тесной зеленой будке на углу Фроловского спуска и Адреевского вала. Отсюда Борис либо шел прямо вдоль трамвайной линии и фанерных рундучков, отгораживающих базар от центральной улицы, либо сворачивал в узкий проход между глухим забором базара и белыми стенами монастырских зданий, где днем и ночью тускло и недобро светились подвальные окошки, пуговшие и неодолимо притягивавшие мой взгляд.

Но как красиво и уютно выглядел издали Троицкий монастырь! Каким спокойным и ласковым движением два зеленых холма заходили навстречу друг другу! Один выносил в небо тонкую башенку колокольни, на фоне другого белел

приземистый собор с широким крутым куполом, между ними по дымчатым склонам пестрели небольшие постройки с зелеными крышами и золотыми крестиками, шурящими на жарком солнце, а внизу — базар вертелся и играл своими праздничными, кричащими красками.

Неистовое, гордое изобилие базара! Тугой круговорот толпы! Белые шары яблок, отрадный запах свежего творога, загорелые морщинистые руки крестьянок, неприкаянный старичок с корявыми низками сухих грибов, увядшая раньше времени женщина в пиджаке, с разукрашенными фотографиями и бумажными цветами, полыхание гладиолусов и георгин, таинственные пучки и коренья, библейские старухи, горестно дующие на куриные зады, гирлянды лука, коричневые пыльные цыганки, болтающиеся головки заснувших на руках детей, гипсовые слоны и коты, пьяный в луже у входа в туалет, шелуха от семечек под ногами, красные туши, застывшие в отчаянных бросках и окровавленный широкий фартук Полькиного отца, и кусок мяса, шлепающийся на его тупую ладонь...

Когда тетя Геня говорила, что у ее соседей денег куры не клюют, я представляла себе, как в сыром сумраке сарая тетя Аня сыплет курам мелочь, а они обходят ее, брезгливо переступая ногами. Не понимала только, зачем нужно кур кормить деньгами.

Впрочем, в этой семье многое было странно. И даже страшно. Временами казались опасными широко расставленные, ускользящие Полькины глаза. То вдруг пугал быстрый взблеск золотого зуба во рту у тети Ани или ее шумное радушие.

Мы заходили к тете Ане, чтобы „размяться” и посмотреть телевизор, пока тетя Геня накрывала на стол. После тетиной каморки две комнаты Литовских казались огромными и пустыми. Перед телевизором, спиной к гостям, сидел в кресле неподвижный и безмолвный, как памятник, хозяин.

Обычно я оставалась в проходной комнате-спальне. Рассматривала высокую кружевную постель, зеркальный шкаф, обрыв за узким окном и маленькие домики далеко внизу. А главное — фотографии. Стены спальни были сплошь увешаны фотографиями, маленькими и большими. Прямо над дверью висел в золоченой раме зажелтевший с углов лянлый портрет Полькиного отца. Он был снят в высокой папахе. Даже на портрет его невозможно было смотреть прямо. Я думала: это он еще молодой. Когда не был еще мясником, а работал в кузнице. Недаром все парни в городе боялись его. Такому ничего не стоит бросить в костер живого человека. (Тетя Геня рассказывала, что тетя Аня не любила Бориса, но он грозился „кастрировать” каждого, кто посмеет ухаживать за ней. И красавица тетя Аня, чтобы не остаться старой девой, в конце концов, вышла за него замуж). Ну что ж, во всяком случае на фотографиях вид у нее очень веселый и довольный.

Больше всего было Полькиных портретов. Особенно нравился мне один из них: Польшка — маленькая подпирает пальчиком щеку; длинные кудряшки, льняная челка, кружевная паутина воротника и бант, как гигантская бабочка. Она пожимает плечами чуть удивленно, но никак не растерянно. Я думала: это, должно быть, ее сфотографировали сразу, как только взяли из детдома. (Я уже знала, что Польшку взяли из детдома.) И купали в большой ванне, нарядили в трофейное платье, подстригли, расчесали нежную челку и... побежали фотографировать.

Польшка явно любила фотографироваться. Она беззастенчиво кокетничала с фотоаппаратом, но никогда не выглядела смешной. Даже на том снимке, где стояла рядом с тетей Аней, — обе в одинаковых пальто с широкими каракулевыми воротниками, в лихих папах набекрень и с руками, упрятанными в муфты. Этакая разбитная лилипутка с косичками. Смотрит исподлобья и ногу в узком женском ботинке развязно выставила вперед. Я думала: неужели ей не стыдно ходить по улице в такой шапке?

Тетя Геня рассказывала, что тетя Анюта, когда шьет себе какую-нибудь новую одежду, обязательно такую же шьет и для Польшки. „Где это видано, — говорила тетя Геня, — надеть на ребенка габардиновое пальто с каракулем!“ В остальном тетя Анюта вела образ жизни сравнительно скромный и богатства своего не выставляла. День рождения Бориса она для экономии справляла 7 ноября, свой — 1 мая, а Польшкин назначила на 8 марта. Она в течение пяти лет не решалась выбраться в Трускавец подлечить свою печень, пока врачи не объявили, что поездка на воды — „вопрос жизни и смерти“. Тогда Анюта стала собираться. Она дождалась дня, когда прибыла газета с таблицей выигрышей „Золотого займа“, открыла окна, несмотря на прохладную погоду, и стала громко кричать: „Выиграла!!! Выиграла!!!“ Через неделю Анюта уехала в Трускавец.

Но там, где дело касалось Польшки, деньги летели направо и налево. Польшка была здоровым ребенком, но каждый ее насморк, не говоря уж о кори или ветрянке, превращался в настоящее бедствие. Анюта вызывала участковую врачиху почти каждый день и, насильно набивая в ее сумку консервы и мясо, заискивающе тараторила дрожащими от страха губами:

— Возьмите! Ради бога! Ведь вам пришлось так высоко подниматься! Только спасите моего ребенка!

Она рыдала перед снисходительными „частными профессорами“ и умоляла сделать все возможное, „вплоть до консилиума“...

Польшка и училась, в общем-то, хорошо, но иногда по вечерам тетя Анюта быстро спускалась по лестнице, нагруженная двумя кошелками, из которых предательски лезли щучьи морды и хвосты, гусиные лапы и серебряные головки шампанского. Если от ворот Анюта поворачивала направо, значит, спешила она к преподавателю математики, если налево — к завучу. Делала это тетя Анюта не для того, чтобы Польшке ставили оценки выше, чем она заслужила. Нет. Она просила, чтобы на Польшку повлияли. Дело в том, что где-то с

четвертого класса Польшка стала все чаще убегать из дому. Скандалы начинались с мелочей: Польшка не хотела есть первое или надевать теплые штаны, а кончались всегда одинаково: Польшка кричала родителям, что не просила их забирать ее из детдома.

— Ведь я предупредила! — говорила тетя Геня. — Не берите эту девочку! Лучше взять грудного ребенка, и еще из другого города, чтобы о нем никто ничего не знал. Нет. Они к ней сразу прикипели. Потому что она была красивая. Боже мой! Все дети красивые! Разве мало было еврейских сирот? Надо было взять еврейского ребенка, чтобы потом не было никаких претензий. Тут у них такое творилось недавно — передать нельзя!

Я ни разу не слышала, чтобы Польшка кричала, ни разу не слышала голоса ее отца, но до ужаса ясно представляла себе, как Польшка стоит в открытом окне над обрывом и белыми от злости губами повторяет: „Я не просила вас меня усыновлять! Я не просила вас делать из меня жидовку и давать жидовское имя! Я не Поля, я — Надя, Надя!“ „Кто-о, кто тебе это сказал?!“ — истошно вопила тетя Анюта. „Кто?! Баба Галя, вот кто!“ „Баба Галя?! — хрипло взревел Борис. — А больше она тебе ничего не сказала?!“ „Бори-ис! Не надо, Борис!“ — забила тетя Анюта. . . . А она не сказала тебе, что мать твоя была падаль?! Что она тебя от немца прижила?! Что эта подольская шлюха за четырнадцать лет ни разу не интересовалась, где ты и что ты?!“ „Бори-ис! Умоляю тебя, Борис!“ „Ты не жидовка — ты овчарка немецкая!“ Польшка выпрыгнула в окно, и только через две недели милиция поймала ее в Одессе.

Я тайком прислушивалась к шепоту взрослых и леденела от безобразных подробностей этой истории. И все мне казались гадкими, и всех почему-то было жаль.

Я оторопела от удивления, когда после жаркого и картофельных пончиков все, как ни в чем не бывало, отправились на телевизор к Литовским. Манечка и меня потащила туда. Я ждала, что увижу в их доме следы развала и разрушений, но

все было по-прежнему, холодно и чисто. По стенам — Полькины фотографии, в кресле — Борис... Я радовалась, что Польки нет дома: боялась увидеть их всех вместе после того, что произошло. Но Полька очень скоро вернулась. Она вошла в комнату — легкая, с розовым от свежего загара лицом и мокрыми волосами. Пахло от нее рекой и песком. Она повесила на дверную ручку мешочек с вещами, чмокнула на ходу Анюту и всех нас одарила лучезарно-приветливым „здравствуйте!“.

— Привет, Поля! — расцвел Миша, сын тетигениной сестры Розы. — Какой сегодня пляж?

— Вообще хорошо, но вода прохладная, — ответила она и направилась к креслу Бориса, села на подлокотник и обняла его за плечи. — У меня вся спина сгорела.

— К столу, к столу! — позвала тетя Геня.

По лицу ее можно было догадаться, что ждет нас сюрприз, и мы побежали к дверям. Но я успела заметить благодарное жадное движение волосатой лапы, накрывшей Полькину ручку.

Тетя Геня приготовила волшебные крошечные пончики с орехами, изюмом и вишневым вареньем. Мне попалась вишня с невынутой косточкой, и я чуть не подавилась ею.

Видно, в тот день судьба охотилась на меня. Нас выпустили на улицу, и мы с Манечкой стали учиться ездить на велосипеде. Мне удавалось раза два судорожно толкнуть педали — и велосипед, виляя, валился набок. Потом Света, внучка бабы Тони, предложила ребятам сходить на полянку за желтыми собачками.

—А ты подожди нас тут, — велела Манечка.

—А чего она должна тут одна оставаться? — вступился за меня беленький Сережа.

—Она не умеет по горкам лазить.

—Чего ты всегда над ней надсмехаешься?! Нечего тут уметь. Пошли с нами!

И я пошла.

—Смотри, — сказал Сережа. — Поставь ногу на эту ступенеч-

ку, а рукой возьмишь вот за эту палку и переступи сюда. Вот так.

Конечно, я была неловкой девочкой и к тому же очень боялась, что мама узнает о нашем путешествии. Но разве из-за этого земляная ступенька осыпалась под моей ногой, а палка вырвалась с корнем?

Я не успела понять, что сорвалась в обрыв, — просто ударились грудью и коленями, быстро соскользнула по желтому крутому откосу, ощутила пустоту под ногами, задохнулась от этой пустоты и сразу же почувствовала тупой грубый удар в бок и обжигающее прикосновение колючих трав. Я пыталась ухватиться за них руками, но сила, катившая меня вниз, была непреодолима, и это было самое страшное — не боль, а жестокая неотвратимость, с которой меня швыряло с уступа на уступ; и летела я очень долго, потому, что успевала почувствовать запахи трав, глины, пыли и успевала повторять слова, одни и те же, много раз: „Господи! Если ты есть, сделай так, чтобы это быстрее кончилось!“ Я хотела, я ждала конца. И когда вдруг зацепилась в колючем кустарнике, почти с облегчением ощутила, как под моей тяжестью рвется одежда. Но последний удар оказался самым слабым... Я лежала на земле.

Это был незнакомый широкий двор с низенькими, как в селе, домами и неподвижной прозрачной тишиной, какая бывает только в сумерки. И мое падение не нарушило ее: три старухи, сидящие на бревне, даже не обернулись. Я решила заплакать. Мой тихий притворный вой сорвал их с места.

—Дытына! Дытына розбылася! Рятуйтэ! — верещали они. Но их крики не нарушали тишину, не пачкали ее, а существовали отдельно, сами по себе.

—Доченька! Солнышко! Что с тобой? — услышала я знакомые голоса. (Но и они тишину не всколыхнули.)

Я посмотрела вверх. Там, далеко, на фоне серого неба, мельтешили фигурки. Тетя Геня, тетя Анюта и еще какие-то женщины оттаскивали от обрыва маму, а слева по пологому склону спускался дядя Давид в своей пижаме, за ним папа и Эдик, племянник тети Анюты.

—Мама! Со мной ничего! Все в порядке! — закричала я и быстро вскочила на ноги. В первую минуту боль не показалась мне сильной.

Больше я ни разу не поднималась на горку. Я долго лежала, потом долго ходила на костылях, и мне не осилить было четыре пролета деревянной лестницы. С тех пор только вести с горки доходили до меня. Грустные вести.

Приходила тетя Геня, целовала, жалела меня, рассказывала, что Манечка без конца болеет, что у нее признали холецистит и ревмокардит, что у нее болят суставы, опухают железки и она не встает уже месяц с постели и плачет днями. Губы у тети Гени начинали прыгать и растягиваться точь-в-точь, как у Манечки, а я боялась рассмеяться, хотя не было ничего смешного в том, что Манечка с забинтованными коленями и ушами раскачивается на своей скрипучей кровати в больной духоте законопаченной на зиму каморки.

—Но четверть она кончила на круглые пятерки — приободрилась и выпрямлялась тетя Геня. — Вот, посмотри ее табель.

И тетя Геня начинала показывать табель, аккуратные тетрадки, исписанные каллиграфическим почерком и усыпанные красными вензелями пятерок, и еще какую-то благодарность... А мама начинала не столько хвалить Манечку, сколько ругать и журить меня — так, будто у меня в табеле не две четверки, а сплошные двойки. И тетя Геня поддерживала ее.

— Ты же можешь! Ты же такая умница! Чем ты хуже Манечки? А ведь Манечка еще и на баяне занимается. Мама моя, какой у нее слух! Лучше бы у нее было такое здоровье! — губы у тети Гени снова начинали дергаться. — Что я только не вкладываю в нее! Апельсины, цыплята, мед — ничего не помогает. Это одна кожечка и кости. А чего они мне стоят, эти апельсины... Спасибо, хоть Роза может мне немножко помочь.

— А что слышно у Литовских? — спрашивала мама.

— Что там может быть слышно? Сейчас как будто ничего. Но это же такой бугай. У него же жуткие мозоли. А малая узнала, что где-то их снимают, договорилась и повела его. Ему все сделали как надо, он был на седьмом небе. Пришли домой — он дает ей двести рублей. На пальто. Это благодарность такая! Так что же ты хочешь от этого воспитания?

Полька не очень интересовала маму, и спросила мама о ней, конечно, для того, чтобы тетя Геня не пожаловалась на дядю Давида.

Что-то стало омрачать тихий свет, который изливался от тети Гени. Может быть, она чувствовала себя виноватой, что я разбилась именно у нее в гостях, на горке. Наверное, поэтому она стала непрерывно жаловаться на свою жизнь. Ведь и раньше было ничем не лучше. И пил дядя Давид не больше, чем прежде, но как-то получалось, что из-за его лени и водки болеет Манечка, а у тети Гени удалили кисту, зуб, грыжу.

Я уже знала, что тетя Геня не сестра маме, и Манечка мне не сестричка. По-настоящему и дядя Давид-то не был нам родственником. Он был женат на Эне, старшей маминой сестре, которую убили во время войны. И не мама познакомила дядю Давида с тетей Геней, но почему-то мама как будто не сгла за него ответственность, а раз мама — значит, и я. И только по праздникам, когда пили все, а дядя Давид со своим щербатым баянчиком был самым желанным гостем в любом доме, чувство вины отпускало меня. Я успокаивалась, когда дядя Давид широко растягивал меха и хриплые и жирные „Амурские волны“ заливали комнату, а во взгляде тети Гени появлялась влажная гордость, а в Манечкином — тайное превосходство.

В то время, да и позднее, когда на семейных торжествах я могла уже довольно бойко сыграть „Танец маленьких лебедей“ и „Неаполитанскую песенку“, дядя Давид оставался для меня высшим музыкальным авторитетом. Меня не сместили еще его солидно выпяченные губы и прищуренный глаз — наоборот, я ждала откровения, заветного секрета, когда он поднимал кверху коричневый от табака палец.

— Запомните, дети, главное в музыке — это читка нот!

Так случилось, что все дети в нашей родне чуть ли не одновременно поступили в музыкальные школы и студии. Мы приходили в гости со своими нотами, а кто и с инструментами. (Бедная тетя Муся тащила и Раечкину скрипку, и Петенькину виолончель.) Мы пиликали по очереди, каждый на радость собственным родителям, и я уважала Манечку за то, что она отказывается играть перед гостями. Правда, из разговоров можно было понять, что у нее не все клеится. И учитель неважный, и инструмент не по душе.

— Вот если бы пианино, — говорила Манечка, — я бы...

— Что пианино? — огорчился дядя Давид. — Научись пока на баяне, а там видно будет. Может, со временем купим и пианино. У нее такой слух, — обращался он к гостям, — не успеет услышать мелодию — и уже поет! Прямо, как говорится, вундеркинд!

Пела Манечка не лучше других: голосок у нее был шершавый и дребезжащий. Зато на правах вундеркинда она делала всем замечания и тихонько подсмеивалась над каждым: фальшивишь, фальшивишь, дорогой! Я не слышала фальши и, чтобы не раздражаться и не спорить с Манечкой, старалась ее отвлечь. Мы усаживались где-нибудь в углу и подолгу говорили. Я рассказывала о своих больничных приключениях, о новых друзьях, о музыкальной школе и не могла себя остановить, хотя видела, что Манечке не очень интересно слушать. А Манечка рассказывала о Польке: любой разговор она переводила на эту тему. Если я, например, восхищалась тем, что Таня Каверина написала замечательное сочинение, она перебивала меня и говорила, что Полька пишет сочинения еще лучше. Что у них в школе появился новый учитель литературы — вылитый Евгений Онегин! Некоторые старшеклассники бывают у него дома, а Полька там вообще пропадает, даже ходит на кухню чайник ставить.

Мне представлялась небольшая, до потолка заставленная книгами комната. Печальный и озябший от одиночества „Евгений Онегин“, в очках и накинута пиджаке. Высокое окно.

Горы, укрытые и оглаженные снегом, голые деревья, с усилием бредущие по склонам вверх, вверх к слепящему свету. Коричневый полумрак по углам комнаты. И на подлокотнике кожаного кресла — укрощенная Полька...

— Она влюблена в него?

— Да нет, что ты! — отвечала Манечка, и лицо ее вдруг порозовело под невыносимым бременем тайны. Причастность к недоступным сферам делала ее высокомерной. — Она влюблена в Лобановского и переписывается с ним!

— В какого Лобановского?

— Да-да, в того самого, из „Динамо“ — Киев!

— А не врет?

— Я сама видела, как она отправила ему письмо, — оскорбилась Манечка.

Я подумала, что могу написать письмо кому вздумается, но разубеждать Манечку не стала.

— Ты не знаешь Полю, — продолжала она. — Это уже не та Поля, которая удирает из дому!

Бедная проникательная Манечка! Вскоре после нашего разговора Полька не только удрает из дому, но еще и обокрала своих родителей. Милиции не удалось ее обнаружить. Борис Литовский ходил из инстанции в инстанцию, стучал кулаком и обещал озолотить того, кто вернет ему дочь.

Но Полька вернулась сама. Без гроша в кармане и беременная. Она сообщила, что вышла замуж, но мужа не привезла с собой, так как боялась, что отец „убьет“ его. Литовские не мечтали выдать Польку за „простого парня без специальности“, но делать было нечего, и они отправили в Одессу длинную униженную телеграмму.

В порядке исключения брак зарегистрировали в течение недели, и Полька стала Лобановской. В белом платье из капрона и тонких кружев Полька выглядела как принцесса, а через пять месяцев она родила дочь. Рожала она, разумеется, в лучшей больнице города. Тетя Аня всю ночь выла под окнами родильного отделения, а наутро засыпала подарками

всех сотрудников, от заведующей отделением до нянечки, сидящей на пропускнике.

Польку привезли домой на черном ЗИСе, дядя Давид играл марш из „Аиды“. Во дворе стояла импортная коляска, доверху насыпанная конфетами и печеньем. В коляску посадили кошку и стали ее качать, а когда кошка выпрыгнула, дети со всего двора стал и пригоршнями разбирать сладости.

Полька была растрогана до слез. Но когда тетя Анюта робко попросила назвать девочку Марией, в честь покойного Марика, Полька беззлобно ответила:

— Это ваш обычай, у нас такого обычая нет.

— Он же твой брат, Поля! — взмолилась тетя Анюта, на что Полька ответила:

— Ну какой же он мне брат?!

Так, что даже муж ее смутился.

Вообще, если не принимать во внимание то, что Петя Лобановский ни на какой работе не мог продержаться больше месяца, он был неплохой парень. В доме тестя Петя чувствовал себя не совсем уютно и ходил отводить душу к тете Гене.

— Вот скажите, тетя Геня, разве это правильно: он любит жаркое с картошкой, а я — с лапшой. Так у нас всегда варят жаркое с картошкой! Один раз только сварили с лапшой — так он разошелся!

— Он старый, тяжелый человек, — утешала тетя Геня. — Но, даст бог, вы скоро будете жить отдельно. Я вас очень понимаю... Потерпите!

Может, тетя Геня и не осуждала бы Польку и ее мужа, когда они удрали из дому, если бы они не бросили ребенка и не „обобрали Литовских до нитки“.

На этот раз Борис не обратился в милицию: боялся, что Польку могут посадить.

Полька явилась почти через год. Одна. На расспросы о муже безразлично отмахнулась:

— Он же дурак! Я с ним развелась!

— Но ведь, какой бы он ни был, он — отец твоего ребенка!

— Ребенок обойдется без такого отца. Ему дали пять лет за хулиганство.

В тот день Бориса Литовского хватил первый удар.

К весне он стал выходить из дому. Страшно было смотреть на это громадное тело, утратившее равновесие. Он очень боялся упасть, и здоровая рука его, вцепившаяся в плечо тети Анюты, билась и дрожала, не находя опоры.

Тетя Анюта делала все, чтобы „поставить его на ноги“. А время шло, и уже нахальные подольские мясники, сотрудники Бориса, которые раньше боялись поднять на него глаза, а перед тетей Анютой заискивали, стали отвечать ей все рассеяннее, все дольше заставляли себя ждать. Анюта решила даже больше не обращаться к ним, но обратиться все-таки пришлось. Осенью Литовский скончался от второго удара. И тогда они появились в его доме, осмелевшие и деятельные. Кто-то договаривался с музыкантами, кто-то хлопотал о специальном гробе, ибо не так-то просто было найти гроб необходимой длины. Мясники распорядились и оттесняли родственников, но и им было суждено потесниться. Потому что на похороны пришли другие, никому не знакомые люди. И понятно было, что сами они давно не виделись. Они молча крепко пожимали друг другу руки, а потом шли перед гробом, опустив головы, и несли красные подушечки, на которых лежали потускневшие от времени награды. И награды эти, когда-то, как кольчуга, покрывавшие оба борта старого выходного пиджака, вдруг снова обрели свое истинное значение и смысл.

Было тепло. Последние желтые листья тяжело опускались на землю в медном звоне колоколов Троицкого монастыря. Звон плыл между холмами, перекрывая и смешивая нестройные звуки оркестра, растерянно тянущего на ходу похоронный марш, и только придурковатый ударник с навсегда заученной похоронной миной невозмутимо громко отмерял свои „бум, бум, бум...“.

И соседи вышли из всех дворов. Стояли вдоль дороги и провожали удивленными взглядами длинную процессию — без враждебности и тайных усмешек, будто те, что шли

вперед, зачеркнули шестнадцать лет, зачеркнули грязный фартук Бориса, его мелкие мошенничества и шальные деньги.

Женщины всхлипывали, глядя на растрепанную, безумную Анюту. Кого она оплакивала? Мужа, за которого выходила без любви? Кормильца? Или в тот день она хоронила сына, погибшего девятнадцать лет назад? Борис велел высечь его имя на памятнике рядом со своим. А в гроб свой велел положить трикотинный плащ с ржавым пятнышком крови, найденный в сарае, где баба Тоня спрятала за дровами раненого мальчика.

— Такой був хароший, такой красивый хлопчик! Зовсим на яврэя нэ похожий, — причитала у ворот совсем выжившая из ума баба Тоня и цепляла соседей усохшими птичьими руками. — Цэ часом нэ ты выдав його нимцям?

— Анюта, родная, — срывающимися губами шептала тетя Геня, — возьми себя в руки. Так устроена жизнь.

Но Анюта не слышала никого. Она то старалась вырваться, то повисала на руках у тети Гени и Польки. А как нестерпимо прекрасна была Полька в развевающемся черном платке! Как бледно было ее лицо! Как нежно склонялась она к Анюте! Как сухие, невидящие глаза ее устремлялись вдаль!

И однополчане Бориса, прощаясь с его телом, говорили вначале о том, какой он был отчаянный и бесстрашный, а потом говорили, что прожил он жизнь не даром, раз вырастил такую дочь, и что дочь эта будет утешением и опорой Анюте.

Очень скоро Полька снова ошарашила родню. Она вышла замуж „за хорошего мальчика из интеллигентной еврейской семьи“, родила сына и дала ему имя Борис.

— Я всегда знала, что, в конце концов, у Польки все будет хорошо, — говорила мне Манечка. — Она, конечно, штучка, и я от нее натерпелась больше, чем кто-нибудь, но все равно люблю ее. Вот, как в детстве — смешливая слюнка вырвалась из углов пухлого рта. — Я сижу на ступеньках, а она меня палкой по голове дубасит, а я сча-а-стлива! Знаешь, с ней всегда было интересно. Ты и представить себе не можешь, какие она выдумывала игры! А эта лестница — чем она у нас только ни была! Вот ты не поверишь, а я скучаю по горке!

Еще бы не поверить!

— А почему ты никогда не едешь туда?

— Чего я туда поеду? — удивилась Манечка. — Они к нам ездят? Даже на новоселье не явились. И добираться туда далеко.

Тетя Геня получила квартиру в новом микрорайоне, который впоследствии стал считаться чуть ли не центром города. Но тогда казалось, что это очень далеко, и каждый выезд „в город“ был для Манечки целым событием. Манечка не любила новую квартиру, не любила свой район. Как-то так получилось, что из-за перемены места она и учиться стала хуже, и музыку оставила.

— А какой из меня мог получиться музыкант! — с горестным восторгом говорила она. — Если бы мои родители вместо того, чтобы пичкать меня апельсинами, заставили бы меня силой заниматься, как твои! Ведь ты же не хотела играть! Помнишь, как ты прятала ноты?

Давно уже прошло время, когда родители заставляли меня заниматься. Но и тогда я хотела играть, только не Ганона и не Черни. И ноты у меня пропали лишь однажды, да и то я не прятала их, они случайно свалились за пианино. Но у Манечки выработался какой-то нерушимый образ, и она упорно не замечала, как теперь мои родители жалуются, что я занимаюсь слишком много и слишком серьезно. Ведь пределом их мечтаний был „Киевский вальс“, с шиком исполненный где-нибудь на именинах. Они неосознанно, но верно угадывали в музыке силу, отделяющую меня от реальности, толкающую на путь непонятных им радостей и огорчений. Им казалось, что я становлюсь высокомерной, и, может быть, в этом тоже была своя правда: я с жалостью и недоумением смотрела на каждого, кто не занимался музыкой, или живописью, или еще чем-нибудь, целиком поглощающим все силы. Такая жизнь представлялась мне бессмысленной и пустой. Мне хотелось спасти такого человека, разбудить его.

— Но послушай, Манечка, — уговаривала я, — конечно, профессионалом ты уже вряд ли станешь, но научиться играть для себя можешь вполне.

— Как?! Может, по самоучителю?

— Да хоть бы и по самоучителю! И дядя Давид тебе поможет, и я. Ведь ты же неплохо начала!

— На нашем пианино, — безнадежно кривилась Манечка, — ничего не возможно сыграть!

Она совсем забыла, что это то самое пианино, с которым я кончила музыкальную школу, и вполне сносно сделала первый и второй экспромты Шуберта, ре-минорный концерт Баха.

— Ну, так будешь приходить ко мне! Ты не забывай, ведь я учусь на педагога, мне даже полезно с тобой позаниматься.

Иногда мне удавалось ненадолго воодушевить ее. Но без практических последствий. Я звала ее искренне, ждала, но оттого, что она не приезжала заниматься, испытывала позорное чувство, похожее на подавленное злорадство.

Мы встречались только по праздникам. Но любой праздник был испорчен для меня, если дядя Давид и тетя Геня приходили без Манечки.

Они стали чуть-чуть опаздывать с тех пор, как переселились на Полевой массив. Я спешила в коридор на каждый звонок, и, когда за дверью оказывались они, все втроем — тетя Геня, дядя Давид и улыбающаяся Манечка, — я бросалась к ней и помогала скорее стащить пальто, усыпанное каплями растаявшего снега, и целовала ее круглые и холодные, как яблоки, щеки.

Особенно ждала я Нового года: тут уж можно было проболтать всю ночь. За столом мы сидели рядом, а потом уединялись где-нибудь на кухне или в спальне, среди сваленных горой пальто. Мы безжалостно отшивали каждого, кто пытался присоединиться к нам. Таинственно и нелепо горели разноцветные лампочки на елке. Гости смотрели „Голубой огонек”. Дядя Давид больше не был в центре внимания: в баяне протерлась дырка. Но дядя Давид не очень спешил отдать его в починку. Он тихонько „подбирал” на пианино, и никто его не слушал. А мы секретничали. Взахлеб, перебивая друг друга. Столько нужно было рассказать, узнать, и я

не понимала, отчего сухая тяжелая усталость тошнотой наваливается на меня. Я видела, как Манечкино лицо наливаются сырой кофейной бледностью, и боялась, что сейчас у нее начнется приступ головной боли. Боялась сказать что-нибудь, что может показаться ей хвастовством.

У Манечки своих новостей как-то и не было. Были новости ее подруг: Тани, Гали и Алены.

„Галка — самая умная девчонка из всех, кого я знаю!” — говорила Манечка, нажимая на слово „самая”. Второй такой красавицы, как Алена, я в жизни не встречала!” — восхищалась она. Таня была примечательна тем, что ходила в походы и часто встречалась со своими друзьями — туристами.

— Люди живут активной, интересной жизнью, — горячилась Манечка. — Куда-то спешат, собираются вместе, веселятся, у них есть компании. Не то, что мы: сидим дома, как наши родители — особенно мои. Торчат безвылазно в этой своей квартире, копошатся, как муравьи... По-куу-шаать, полежа-ать, загаботать копейку, — Манечка передразнила еврейский местечковый жаргон, хотя ее родители говорили совсем не так.

— Ну, встряхнись! Кто же тебе не дает?! Живи, как находишь нужным!

— Кто не дает? Воспитание не дает! Паршивая кровь паразита-папочки и мамочки, которая всю жизнь собирает в торбу тряпки и пашет на сестру ради подачи!

Все это была и правда, и неправда. Даже расстояние от Полевого массива до нашего дома Манечкины родители преодолевали с гораздо большей легкостью, чем она сама. Тетя Геня бывала у нас чуть ли не каждый день: через дорогу жила тетя Роза, ее родная сестра.

Муж тети Розы погиб на войне, и она не хотела „устраивать свою личную жизнь”, пока не поставит на ноги Мишу. Дать Мише образование ей так и не удалось, но из него получился очень хороший слесарь. Миша удачно женился. Жена его была хоть и наполовину, но все-таки еврейка. Она прекрасно шила и брала заказы на дом. Сам Миша подрабатывал в трех местах, и жили они на широкую ногу.

Среди подольских старух, занимающихся сватовством, тетя Роза считалась женщиной интересной. Ей подбирали стариков богатых и самостоятельных. И тогда мы встречали тетю Розу на улице — нарядную, помолодевшую, под руку с отставным работником торговли: серая шляпа и широкий макинтош. На вопросительные взгляды тетя Роза взволнованно и скромно отвечала:

— Теперь это мой самый близкий человек на свете!

В скором времени лысина близкого человека загоралась в подвальчике образцового приемного пункта стеклотары, где тетя Роза зарабатывала себе пенсию. Во время войны она непредусмотрительно скинула десять лет и из старшей сестры тети Гени превратилась в младшую. Интересно, что и выглядела она гораздо моложе. Я всегда гадала, глядя на нее: неужели из-за этой маленькой лжи в паспорте, закрепленной сиреневыми печатями, не седеют ее волосы, не морщится кожа, блестят глаза? Ведь жизнь у нее была совсем нелегкая.

Старики попадались более или менее удачные, но кончалось все примерно одинаково: один смотрел, сколько мяса тетя Роза положила на тарелку сыну, другой был недоволен тем, что она взяла с собой на дачу внучку, третий не позволял подкинуть Мише сто рублей, которых не хватало для покупки немецкой люстры. И всем им казалось, что тетя Роза дает слишком щедрые подарки на день рождения Манечке и тете Гене.

— Я пока что не живу на его иждивении, — гордо говорила тетя Роза, — и могу давать кому хочу и сколько хочу!

Она выставляла очередного мужа, а потом сникала, болела, плакала целыми днями, и тетя Геня ездила ухаживать за ней. Иногда и Манечке приходилось навещать тетку, даже ночевать у нее с субботы на воскресенье.

— Ты можешь себе представить? — возмущалась Манечка. — Она не давала мне спать всю ночь! Сидела вот так на кровати и выла: „О-о-ой! Бедная я Розичка!“ И мы должны все это выслушивать! Я тебе, знаешь, что скажу? Иногда вот так посмотрю на свою семейку и думаю, что, если бы я сама не была еврейкой, я бы такая антисемитка была!

Она поперхнулась от смеха, закашлялась. Я вспомнила, как тетя Роза бледнела и менялась в лице при лающих звуках этого кашля.

— Ты к ним несправедлива, каждый из них...

— Послушай, — перебила она, — тебе хорошо судить о них со стороны. Лучше сыграй мне что-нибудь. Я так давно тебя не слышала!

Мне не хотелось играть: я очень не любила выражение ее лица, означающее, что игре моей не хватает „души“. Когда она говорила: „Представляешь, как я сыграла бы это?!“ — я с трудом удерживалась, чтобы не ответить: „Представляю, какие бы тут потекли сладкие слезы!“

Я не позволяла себе обижаться на Манечку. Она много болела, и болезни были все какие-то старческие, хронические. Тетя Геня лечила ее травками, капустными компрессами и плакала от бессильного отчаяния и обиды. Ко всем неприятностям Манечка стала часто ссориться с родителями. Началось с мелкой критики, а доходило до того, что она обвиняла тетю Геню даже в своих болезнях. На робкие оправдания тети Гени Манечка отвечала, что без апельсинов и земляники, на грубой пище и черном хлебе выросла бы здоровее.

— Может быть, она и права, но что ж мне делать теперь? — убивалась тетя Геня.

Там, где можно было что-то сделать, тетя Геня действовала. Когда настало время Манечке получать паспорт, пошли скандалы из-за имени.

— Объясните мне, — шумела Манечка. — Со дня рождения меня называли Маней. Зачем же нужно было записать в метрике это идиотское имя, которое даже стыдно сказать вслух?!

После множества сцен со слезами и уговорами тете Гене пришлось отправиться в загс.

— Мою дочь зовут Малка, — сказала она смешливой сотруднице загса. — Для меня нет на свете лучшего имени: так звали мою мать. Но дочка считает, что оно несовременное.

И Манечка по документам стала числиться Мариной.

Тетя Геня совершила даже что-то вроде попытки „устроить” ее в институт. Одолжила сто рублей и послала Манечку в Астрахань к троюродной тетке дяди Давида, которая преподавала в Библиотечном институте. Но Манечка не прошла по конкурсу.

Соседка устроила ее к себе на завод, и тетя Геня рассказывала об этом, как о большой удаче.

— Представляете, иду я по лестнице, а навстречу мне идет Анна Андреевна и спрашивает: „Милая, что у вас случилось, что вы такая расстроенная?” Я ей отвечаю: „Так и так, дочка не поступила в институт, ее надо куда-то устраивать.” Она мне говорит: „Я работаю на заводе Жуковского (это прямо против нашего дома!), давайте, я поговорю с начальством”.

Манечка не собиралась долго задерживаться на заводе.

— Господи, если бы ты видела, куда я попала! Что за люди вокруг меня! Какая тупость! Эти разговоры, словечки! Сплошной мат! Ты бы послушала их анекдоты и как они смеются от этих анекдотов. Неужели мне целый год придется провести среди этих жлобов?!

Но в институт она больше не поступала. Манечка очень уставала на работе и, возвращаясь домой, сразу валилась на диван с книгой. В ее увлечении литературой появилось что-то похожее на наркоманию.

— Вот здесь жизнь, — улыбалась она, поглаживая тугие кожаные корешки, — а все остальное — ерунда и дрянь.

Свет в ее комнате был тусклый, бесприютный, и раскрытый томик Мериме мне самой показался выходом в иной, реальный мир, отдушиной, через которую можно перехватить свежий воздух.

Мое старое пианино в Манечкиной комнате выглядело нелепо. Черное пианино с такими знакомыми на вид и на ощупь изгибами, щербинками. Только детские глаза и пальцы способны так познать и полюбить вещь, что потом, расставшись с нею, всю жизнь чувствуешь себя изменником. Я готова была плакать, когда поднимала крышку и опускала пальцы на пожелтевшие костяные клавиши.

— Ну как, — спрашивала тетя Геня, — еще играет?

— Конечно! Даже строй держит.

— Мы его, когда купили, с тех пор больше не настраивали, — восхищался дядя Давид. — А говорят, что „Фибигер” плохо держит! Что ты сейчас играешь? — он с большой серьезностью перелистывал мои ноты.

— Это ансамбли, дядя Давид. Я с мальчиком одним играю, со скрипачом. Может, попробуем с вами? Тут есть очень несложные вещи, вы их знаете. Вот Глюк, „В царстве теней”.

Я напела мелодию.

— Тара-тара-тараи, таа-рата-таа-та-таа... подхватил расстроганный дядя Давид. — Но я уже давно не занимаюсь на скрипке.

— Ничего, потихонечку...

— И у меня на скрипке нет струн. Ее надо сдать в починку. Вот я понесу чинить баян, и скрипку захвачу.

— Может, тогда на кларнете?

— Он далеко лежит.

Дяде Давиду лень было лезть за кларнетом, но любовь к музыке победила. Он достал его со шкафа, собрал, обтер и взял несколько нот.

Звук оказался неожиданно благородным. Дядя Давид ожил, надел очки и стал у меня за спиной. Он вступил в нужном месте и играл довольно верно, хотя и ясно было, что играет на слух. „Царство теней” в его исполнении приобретало щемящую еврейскую горечь, но я испытывала почти физическое наслаждение от матового кофейного звучания кларнета.

— Здорово! — воскликнула Манечка, когда мы кончили. — Я от вас такого не ожидала!

Тетя Геня радовалась, как ребенок, дядя Давид вытирал слезы.

— Сейчас мы еще „Элегию” Массне сыграем!

— Секундочку! — дядя Давид подошел к окну и закрыл его. — Я тебя попрошу, давай будем играть немножечко тише. Чтобы соседи не услышали.

— Да ведь еще рано!

Дядя Давид замялся.

— Я не хочу, чтобы соседи бог знает что подумали. Что я занимаюсь этим... Ты понимаешь?

Нет, я не понимала. Когда он запрещал нам рассказывать вполне безобидные анекдоты — понимала, а тут — никак.

„Элегия“ получилась значительно слабее. Но я заметила, что обе вещи произвели на Манечку неожиданно сильное впечатление. Может быть, она приняла как мою заслугу мелодичность и грусть этих мелодий? Единственное, что было ей доступно в музыке.

— Теперь я вижу, что ты далеко пойдешь! — горячо говорила она. — Я скажу тебе правду. Знаешь, я раньше думала, что ты такая же, как я. Мамочкина дочка. Трусливая, не приспособленная к жизни. И играешь, потому что тебя заставляют учиться музыке. Если бы ты знала, как я тебе завидую! По-хорошему, но завидую! Господи, — продолжала она, — ну не вышло из меня ничего, не могу я жить, как хочу?! Почему надо всего бояться? Почему надо закрывать окно вместо того, чтобы открыть его вовсю? Вот, слушайте, восхищайтесь, как у нас чудесно играют! Вот за что я уважаю Польку! Пусть она стерва, но она всегда поступает, как хочет. Узнать бы, что там у нее слышно!

— Да что у нее может быть особого? Живет себе, детей, растит.

— Не-ет. — Манечка снова смотрела на меня свысока. — Ты не знаешь Полю. Я не удивлюсь, если завтра услышу, что она снимается в кино, или на физмат поступила, или стала каким-нибудь ударником, героем труда.

Мы говорили еще долго. Стемнело. Тетя Геня просила меня остаться ночевать, но я собралась домой.

Я ехала в полупустом трамвае у открытого окна. Быстрый встречный ветер то будил, то укачивал меня. Я прижимала к груди папку — свою единственную защиту от вечерней прохлады. Мне было хорошо. Я думала о том, что мама, может быть, постелила мне постель, о Манечке, о канувшей в неизвестность Польке.

Манечка не пыталась что-нибудь узнать о Польке, но это получилось случайно при очень грустных обстоятельствах.

Я пришла к тете Гене в больницу. Горбатая старуха в раздевалке мне выдала куцый, без пуговиц халат. Я поднималась по лестнице, закрывая лицо букетом горько пахнущих хризантем, но знакомый, приторно-навязчивый запах больницы пробирался сквозь цветы, охватывал и душил. Мне казался нестерпимо громким стук каблучков по кафелю коридора, во взглядах больных мерещилась насмешливая враждебность.

— Приве-е-ет... — Манечка бросилась мне навстречу. — Как хорошо, что ты пришла! А мамка как обрадуется!

Манечка говорила во весь голос: за четыре месяца она привыкла к больнице и чувствовала себя как дома. Она первой вошла в дверь палаты.

— Посмотри, кто к тебе пришел!

— Ма-амочка! — тетя Геня протянула ко мне руки. Волосы у нее отросли, но стали еще тоньше. Обломок гребешка криво висел над ухом.

Я поцеловала ее в мягкую опавшую щеку и присела на край смятой постели.

— Видишь, что со мной стало? — губы у тети Гени обиженно задрожали. — Это все из-за диабета! У меня рана никак не заживает!

Быстрые прозрачные слезы полились из ее круглых, как у птички, глаз, но лицо тут же просветлело, и она обратилась к соседкам по палате.

— Вот это, девочки, и есть моя племянничка — пианистка!

— Мы так сразу и поняли, — заулыбались соседки.

— А это, мамочка, ты узнаешь кто? — Женщина на соседней кровати улыбалась с особым значением, но я не могла ее вспомнить. — Это же Люба, бабы Тони дочка!

— Вот так встреча!

— Ты знаешь, бабы Тони уже нет, — погрустнела тетя Геня.

— Умерла в прошлом году, — уточнила Люба. — Она уже два года ничего не соображала и делала все под себя. Не приведи боже!

— Как тебе нравится Поля? — поспешила сообщить тетя Геня. — Она разошлась со вторым мужем и живет нерасписанная с инженером.

— И в одной комнате с его женой! Через занавеску... Бедная женщина! Анюта его до себя в квартиру не пускает. А его мать не пускает Польшу и требует, чтоб он ее бросил. Ну да! Он бросит! Он перед ей на коленях ползает.

Я представила себе женщину, у которой в комнате, за занавеской, муж ползает перед Польшкой на коленях, — как она сталкивается с безмятежным, светлым Полькиным взглядом.

— А дети с кем же?

— Чии? Ленка? С кем же — з Анютой.

— А младшенький?

— Она же ничего не знает, — перебила Манечка, но Люба не дала ей договорить и с видимым удовольствием рассказала, как Польша двухмесячного ребенка оставила в квартире одного и пошла загорать на горку, а когда вернулась, ребенок уже посинел: он, видно, сильно кричал и подавился пустышкой.

Соседки по палате настаивали на том, что Польша нарочно „угробила“ ребенка.

Они вообще были достаточно подробно проинформированы: выйдя из палаты, я услышала за дверью чей-то голос:

— Она не так уже и сильно хромает.

* * *

Через два месяца тетю Геню выписали из больницы. Ее привезли на такси, с букетом. Двое соседских парней на руках подняли ее на пятый этаж. Дома ее ждала торжественная чистота, тетя Роза, соседка снизу, соседка сверху и торт на столе. Но праздник не получился. Переезд и смена обстановки так взволновали тетю Геню, что ей стало плохо. Гости расстроенные, разошлись. Но кто бы мог подумать в тот день, что тетя Геня только через семь лет выйдет из своей

квартиры. Она стала бояться улицы. Трижды в течение семи лет ее пробовали вывести на прогулку, и трижды это кончилось приступом удушья. Она ходила по дому, потихоньку готовила еду. А главой семьи стала Манечка.

Манечка больше не собиралась уходить с завода. Она много зарабатывала и при случае не без удовольствия сообщала: „Я — слесарь пятого разряда“. Она больше не говорила о своих сотрудниках — „жлобы“. Некоторые из тех, кого она так когда-то называла, стали ее близкими друзьями.

— У нас в цеху, — рассказывала она, — всякие есть. Есть, конечно, и босячня. Но, знаешь, они меня боятся. Я с ними строго. „Это что за слова такие?! Здесь вам не малина!“ А если кто-то так разойдется, что иначе уже нельзя, я так могу обложить, что он на пол сядет! А вообще, — грустнела Манечка, — я сама огрубела и опустилась. Не спорь.

Это была правда. Возможно, мы имели в виду разные вещи. Меня коробила практичность, которую с таким трудом, но успешно развила в себе Манечка. Она научилась „договариваться“ и „доставать“. Она покупала конфеты для Лили, Лиля „устраивала“ ей вазу для Жени, а Женя — для самой Манечки — импортные сапоги. Но все-таки в Манечкином практицизме было что-то трогательное, унаследованное от матери: каждое приобретение казалось ей чудом, восхищало ее.

— Иду я мимо мебельного, смотрю — выгружают какие-то ящики. Я остановилась, зашла в магазин и стою. И что же получилось: это привезли румынские буфеты, а я оказалась первой в очереди! (Тетя Геня в этом месте еще и руками бы всплеснула.)

А каким гордым взглядом окидывала Манечка свой хрусталь, плед на диване, собрание сочинений Новикова-Прибоя на полке!

- Когда заходишь к нам в большую комнату, — солидно щурилась она, — можно подумать, что попал к каким-нибудь профессорам!

Зато маленькая комната со своими подушечками, узелками, с дядей Давидом, спящим на диване в пижамных штанах,

напоминала их прежнюю каморку. Создать в этой комнате современный комфорт Манечке так и не удалось, и она оправдывалась перед гостями:

— Ничего не могу сделать! Они не дают выбрасывать старое барахло!

Начинала она добродушно, но постепенно расходилась. Чем сильнее у нее болела голова — тем больше. Она жаловалась, что из-за родителей никого не может привести к себе в дом.

— Ты посмотри, в каком виде они ходят по квартире! И хоть бы сидели уже в спальне! Нет! Обязательно выйдут и будут вмешиваться во все разговоры.

Или:

— Ты скажи мне, если человек вышел на пенсию, он должен целыми днями храпеть на диване?! Он не мог бы пошить хоть пару брюк в месяц?! Ну, о мамке я не говорю, она больная. Но он, здоровый бугай, ни разу в жизни даже гриппом не заболел. Если так вдуматься, они же меня объедают. И кто на мне женится? Кому охота взять на себя такую обузу?

Манечку уже несколько раз „знакомили“. Соседи, тетя Роза через свои каналы... Женихов отпугивала Манечкина болезненная полнота, но и Манечке не нравился ни один из них. Тете Гене нравились все. Она угощала женихов своими необыкновенными компотами и расспрашивала о здоровье родителей, пока Манечка на кухне, закрывая рот полотенцем, давилась от хохота.

Она не спешила. Манечка считала себя выше своей среды и собиралась найти мужа в том светлом будущем, где она закончит вечерний техникум при заводе и займет место за столом в техотделе. Подтянутая, деловая, в строгом английском костюме, отрез на который уже лежал в шкафу.

Дядя Давид по секрету высказывал маме свои предположения. По его мнению, Манечка не выходила замуж потому, что у нее „не было потребности“.

В те годы мы неожиданно сблизились с дядей Давидом. Он приезжал не очень часто, но всегда так, чтобы застать меня.

Мне стали любопытны его рассуждения о музыке. Он больше не старался мне подсказывать и очень хорошо слушал. Особенно нравились ему мелодичные, печальные вещи. Я помню как однажды десять раз подряд играла ему восьмую прелюдию es-moll Баха, а он все просил повторить. У него подергивался подбородок и стояли слезы в глазах.

Это было в Судный день. В день, когда моя неверующая мама читала в синагоге поминальную молитву, записанную русскими буквами на листке бумаги, и оплакивала своих мертвых. Из синагоги она возвращалась вместе с дядей Давидом, и он оставался у нас до позднего вечера.

Прежде мне было странно то, что в праздник он уходит из дому, но со временем стало казаться, что в чем-то мы дяде Давиду ближе его собственной семьи. Наверно, это были общие мертвые. Ведь в Судный день тетя Геня, конечно же, вспоминала своего первого мужа и мальчика, похороненного в Сибири, а дядя Давид — мамину сестру, Эну, и двух девочек, зарытых в одной из четырех ям на братском кладбище в Хотинке. Эти воспоминания разъединяли их.

А я из года в год выслушивала его рассказы о дочерях. Особенно и рассказывать-то было нечего: когда началась война, старшей исполнилось шесть, а младшей — четыре.

— Ты понимаешь, — дядя Давид морщился от напряжения, — они были такие разные! Вот Манечка (Манечке нашей на долгие годы) — она была просто красавица! Люди на улице оглядывались и прямо шли за нами! Один ей конфетку дает, другой — пирожное — она не берет. Боже упаси. Она смотрит на меня, что я скажу. Если я говорю: бери, Манечка, можно взять, тогда только она возьмет, понимаешь?

Он быстро вытирал слюну с нижней губы.

— А младшая, Римочка, она не была такая красивая, но она была каким-то необыкновенным ребенком! Она меня так сильно любила! (Манечка наша — я так, к слову говорю — меня так никогда не любила.) Когда я шел с работы, она за час садилась на окно и ждала меня! И я должен был к первой подойти к ней. А раз как-то я с кем-то заговорил с другим, и

она потеряла сознание! Я не выдумываю, ты можешь у мамы спросить. Перед самой войной мы купили им белые шубки... Ты понимаешь, — кончал он, — уже прошло столько лет, а у меня не проходит досада. Конечно, война, люди погибают, не у меня одного так случилось, но я е м у не могу простить и никогда не прощу, что он на них пулю пожалел. Они были такие разные, а он пожалел на них кусок железа.

Я физически ощущала эту его непроходящую „досаду“. И всегда удивлялась готовности, с которой он поднимался на мамин зов и садился за стол.

— Как вы думаете, — спрашивала мама, — первая звезда уже взошла?

— Конечно, — отвечал дядя Давид и, розовея от удовольствия, открывал пол-литровую бутылку.

— За то, чтобы было тихо, — капля водки дрожала на дне мамино стакана. — Чтобы наши дети не знали то, что пришлось пережить нам...

— Умэйн! — кивал дядя Давид и степенно опрокидывал рюмку.

Я помню, как однажды пошла его провожать и почти у трамвайной остановки вдруг вспомнила, что за весь день мы ни разу не заговорили о тете Гене. Мне стало досадно, стыдно, и я поспешила спросить.

— А как тетя Геня?

— Что может быть у тети Гени? — слабо усмехнулся он и безнадежно махнул рукой.

* * *

— Мамка у меня стала совсем как ребенок! — печально умилялась Манечка в свои хорошие минуты.

Когда у нее бывало обострение холецистита или шел песок из почек, она спрашивала:

— Ну скажи, почему она боится улицы? У нее диабет. У нее свищ, сердце, поджелудочная, гипертония... Но разве со

всеми этими болячками люди не выходят из дому?! Ведь она же по квартире ходит. Тетя Роза — очень умная, — с сарказмом продолжала Манечка. — Она советует поменять квартиру на первый этаж. А обо мне они думают? Ведь, в конце концов, я останусь на первом этаже на всю жизнь!

В то время Манечка охотнее всего отводила душу по адресу тети Розы. Но однажды она прибежала ко мне бледная и дрожащая от возмущения, швырнула на диван сумку и прерывающимся голосом попросила:

— Пообещай мне, что никому не расскажешь!

— Ну конечно! А что случилось?

— Эти сволочи — Мишка и Зойка — решили уехать в Америку! Как тебе нравится?! Предатели, мерзавцы! Им тут птичьего молока не хватало! Дети записаны русскими! Чего им нужно? Капиталистами стать?! А я тут должна буду разрываться между двумя беспомощными старухами! Спасибо!

Мне нечего было ответить Манечке.

— Они бросают тетю Розу?

— Да. Она не хочет ехать. И ты сама подумай: разве можно на старости лет разлучить ее с мамой? Ведь у них никого больше нет! Ведь они, — Манечка с трудом говорила сквозь слезы, — поумирают сразу! Но и я взвалить ее на себя не могу. Я тоже хочу жить. Я ему сказала: „Если ты уедешь и бросишь ее — считай, что я ее тоже бросила!“

Через год они расстались — и никто не умер. Правда, тетю Розу пришлось обмануть: она была уверена, что Манечка тоже собирается в Америку, и как только тетя Геня почувствует себя лучше, они приедут.

Тетя Роза распродала свое имущество с горькими слезами. Вещи, на которые она когда-то копила деньги, за которыми стояла в очередях, которые ей доставали по знакомству, с переplatой, расходились по дешевке. Чужие люди бесцеремонно и брезгливо рассматривали ее сокровища, выискивая трещины и пятна. Если цена казалась тете Розе совсем несуразной, она гневно говорила:

— Чем отдать задаром кому-то, я лучше подарю это сестре. Мне есть кому это оставить!

И за несколько дней до отъезда она завезла тете Гене немецкий шкаф, ковер со сгнившим углом, телевизор, кусок чернобурки, рукав от котиковой шубы и еще много чего. И сверх того сто рублей на билеты в Америку. Эти деньги Манечку очень насмешили, однако она значительно потеплела к тетке. Подарила ей на память свои лучшие рюмки, а Мише обещала регулярно писать и создавать у тети Розы иллюзию, что они вот-вот встретятся.

— Ты подумай, — говорил мне дядя Давид, — какой душой надо быть, чтобы поверить в такую чепуху, что Геня куда-то поедет. Да еще в Америку! Но если даже взять меня или Маню — зачем нам Америка? Квартира у нас есть. Пенсию я заслужил неплохую. Манечка учится в техникуме, слава богу, на хорошем счету. Что еще нужно?

Я иногда думала: не умышленно ли тетя Роза дает себя обмануть? Во всяком случае прощание ее с тетей Геней было душераздирающим. Пришлось даже вызвать скорую помощь.

С Мишей попрощались холодно. На него, собственно, давно уже были обижены: он ни разу не навестил тетю Геню за последние несколько лет. Но, выехав за границу, Миша стал писать неожиданно теплые и частые письма. Он жаловался, что очень скучает, но на многочисленных фотографиях, маленьких и неправдоподобно ярких, Миша шурился на солнце, небрежно держал руки в карманах джинсового костюма и несколько свысока, по-иностранному взирал на родичей. Дети его и жена улыбались во весь рот, а чуть растерянная тетя Роза выглядела помолодевшей. Они стояли то на фоне моря, то под пальмами, то возле памятников. Жизнь их представлялась неправдоподобно яркой, как эти фотографии. И как-то так получилось, что о Мише говорить и вспоминать стали больше, чем прежде. Тетя Геня все еще осуждала его, но пафоса в ее возмущении становилось все меньше. Она хранила письма и фотографии в старой черной сумке. Появился даже новый ритуал праздников. Теперь между горячим и сладким столом тетя Геня доставала сумку,

гости разбирали письма и снимки, передавали их друг другу и обсуждали цены на мандарины и бананы.

Тем, кто не знал Мишу, тетя Геня объясняла, качая головой:

— Это мой племянник...

— А это?

— Это его жена...

— Какая красавица!

Тетя Геня брала фотографию и с удивлением подносила ее к самым очкам. Да. На итальянской фотографии Зоя выглядела красавицей.

— Уехали, понимаешь, — опасливо вставлял дядя Давид. — Чего им здесь не хватало? Люстры покупали по пятьсот рублей. Роза заработала сто девятнадцать рублей пенсию — и боосила все из-за них.

После чая Манечка показывала японский платок с люрексом, „стеклановую“ кофточку и джинсы.

Джинсы на нее не налезали. Манечка попыталась похудеть, но, в конце концов, была вынуждена продать их соседке.

Из Америки письма стали приходить реже. Тетя Геня предполагала, что Мише приходится туго, но правду он писать не хочет, чтобы не расстраивать ее.

— Зачем им надо было ехать? — ломала руки тетя Геня.

Она просила Мишу ничего не скрывать. На это Миша ответил, что такие руки, как у них с Зоей, „везде на вес золота“, что просто они сейчас устраиваются и не имеют времени писать письма, но уже отправили хорошую посылку.

На фотографиях Миша с семейством жизнерадостно демонстрировал новенькую машину, холодильник выше человеческого роста, белое резное кресло и гору неведомых продуктов на столе.

А вскоре прибыла посылка. За ней еще одна, от тети Розы. В письме тетя Роза предупреждала, что Миша с Зоей не должны знать об этой посылке. „Я буду вам посылать, чтоб вы продавали и чтоб скорее собрали деньги и смогли приехать сюда и жить всем вместе“.

Манечка посмеивалась, но говорила, что не ожидала от тети Розы такой преданности и теперь обязана ей до конца жизни. Она высылала тете Розе очки, теплые трико, бандажки, рушники и матрешек.

В доме у тети Гени своим человеком стала Люба, дочка бабы Тони. Люба продавала прибывающие из Америки искусственные шубы и прочее барахло, честно взимая десять процентов с проданной вещи. Она никак не могла простить Манечке, что та „даром отдала” первые джинсы.

— Зачем ты так поспешила?! — сетовала она.

Все это не нравилось дяде Давиду. Он мрачнел, когда приходило очередное извещение.

— Оно мне нужно? — жаловался он маме. — Что нам, не хватало? Кому это нужно — связь с границей? Сегодня — так, а завтра, понимаешь, по-другому...

Он боялся ходить на почту, боялся душистых шуб и японских платков, боялся растущей цифры на сберкнижке, И больше всего — Любиных визитов. Он считал, что Люба — спекулянтка и что милиция следует за ней по пятам. А Люба, как назло, сидела подолгу, пила чай с диабетическими конфетами и рассказывала новости с Фроловского спуска.

Полька, оказывается, снова вышла замуж. На этот раз, всем на удивление, за деревенского паренька. Мать не разрешала ему жениться на Польке, но на свадьбе Полька так плясала гопак, так пела „Ой ты хмэлю мий, хмэлю”, так за просто и ласково держалась, что покорила все село.

— Оцэ нэвисточка! — шелест восхищения сопровождал Польку, белоснежную городскую невесту.

Среди этого триумфа Анята сидела как в воду опущенная, и мрачные предчувствия ее сбылись. Полька любила своего нового мужа и не хотела с ним расставаться. А у мужа кончилась отсрочка, его должны были призвать в армию. Кто-то дал Польке рецепт мази, от которой на его теле появилось что-то вроде экземы.

— А теперь, — кончила Люба, — он был бы радый в армию пойти. Эту заразу никто ему не может вылечить.

Когда Люба ушла, дядя Давид разошелся до крика.

— Вы доиграетесь! — пророчил он. — Вы доведете, что за эти разговоры и посылки меня посадят! Хватит! Мне ничего не нужно! Мне и так хорошо.

— Ах, тебе хорошо! — взбесилась Манечка. — На моей шее сидеть тебе хорошо!

— Ну скажи, разве это не так? Всю жизнь они мне испортили!

В то время Манечка была не в духе. Полтора года назад она кончила свой техникум, но в техотделе ей сказали, что место еще не освободилось. Манечка ждала. Когда место освободилось, на него взяли другого человека. Так повторялось несколько раз, пока Манечка не решилась поговорить прямо. Тогда ей прямо ответили, что как слесарь она представляет для завода большую ценность.

— Вот почитай. — Манечка протянула мне узенький конверт. Миша звал Манечку к себе. „Если мама не может ехать, приезжай сама. Они уже прожили жизнь и не должны думать только о себе, а о твоём будущем. Здесь есть для тебя хороший парень. Тетю Геню бы здесь поставили на ноги, здесь очень хорошая медицина...”

Наверно, у меня было испуганное лицо.

— Да что ты! — рассмеялась Манечка. — Как я могу ее бросить?! Ведь это все равно, что бросить на улице беспомощное дитя! В конце концов, — продолжала она, — мне и здесь не плохо. Валька обещала поговорить со своим начальником: в сентябре у них освобождается место. Тетя Роза мне очень помогает. Знаешь, все думают, что мы такие бедненькие, а у меня уже почти две тысячи на книжке!

Вскоре я узнала, что Манечка учится на водительских курсах. Это был недвусмысленный признак. Манечка сказала, что пошла туда на всякий случай.

На всякий случай она купила кухонный комбайн, два электросамовара и пятьдесят матрешек. Когда Манечка стала понемножку продавать свои пожитки, никто уже не удивился.

— Мишенька пишет, чтобы Манечка обязательно получила водительские права. Тогда он обещает, что сразу подарит ей машину. В Америке никак нельзя без машины! — вздыхала тетя Геня.

Дядя Давид ни с кем и словом не обмолвился о приближающихся событиях. Он вроде как-то осел, в выражении его губ появилась странная расслабленность, взгляд ускользал от собеседника. Манечка уломала его сшить себе к поездке демисезонное пальто, но работа продвигалась медленно. Дядя Давид стал себя неважно чувствовать, его мучили запоры. Никто не относился к этому серьезно. Но однажды к нему пришлось вызвать скорую помощь. Впервые в жизни. Его увезли в больницу с диагнозом: непроходимость кишечника. Через пару дней врачи объявили, что необходима операция. Но тетя Геня попросила операцию отсрочить. Былое вдохновение вернулось к ней. Она послала Манечку на базар за травами, лихорадочно перевернула все хранившиеся в доме коробки с лекарствами, что-то толкла, варила, запаривала... И ее слабительное подействовало на дядю Давида. В больнице у тети Гени попросили рецепт. Она с трудом и приблизительно вспомнила, из чего составила смесь. Медикам рецепт показался несуразным.

После болезни дядя Давид очень изменился. Похоже было, что он побаивается сам себя. Я пришла навестить его, он очень рассеянно со мной говорил. Я подумала, что утомляю его, и поспешила уйти, но и это было ему безразлично. Ему все было безразлично.

Вскоре он снова попал в больницу. На этот раз с воспалением легких. Манечка доставала лекарства и платила няням, но дяде Давиду становилось все хуже. Манечка, ее подруги, моя мама по очереди дежурили у его постели. Но в последнюю ночь он остался один. В ту ночь тете Гене стало плохо, и Манечка не могла от нее уйти. А мама сидела со мной: у меня начался тяжелый грипп, и температура поднялась до сорока.

Вскрытие показало, что легкие у дяди Давида были в порядке. А умер он от инфаркта. Толстый прозектор в морге недоумевал:

— У него весь организм был здоровый. Я первый раз вижу, чтобы в таком возрасте был такой крепкий организм. Но сердце! Что у него было с сердцем? Когда он перенес инфаркт? Загадка. Оно, знаете, совсем усохшее, как пустой мешочек.

Прозектор даже хотел показать это усохшее сердце.

Люди, которым Манечка решила оставить деньги на памятник, уговорили ее кремировать тело. На похоронах она сорила деньгами. Музыканты, неожиданно получившие прибавку к условленному гонорару, так старались, что Манечке пришлось просить их играть потише.

Пятьдесят рублей она заплатила парням, которые снесли с четвертого этажа тетю Геню. Боялись, как бы с ней не случился припадок. Но она не кричала, не бесновалась. Сухими, круглыми глазами смотрела на мужа, потом тихо позвала:

— Дави-и-ид! Разве я могла думать, что переживу тебя, Давид...

На кладбище ее не повезли.

Новый обряд казался в то время странным. Люди чувствовали себя неуверенно. Сотрудница ритуальной службы говорила в микрофон о том, что близкие провожают дядю Давида в последний путь, но он навсегда останется в их сердцах... Ей явно не хватало для речи сведений, полученных от Мишиного тестя, и она их домысливала. Она говорила о том, что дядя Давид всю жизнь работал, не покладая рук. Что он был честным и скромным тружеником, настоящим мастером своего дела. Что труд его приносил людям много радости...

На следующий день Манечка сожгла все вещи отца, в том числе и недошитое пальто. Она развела костер на площадке за мусорником. Соседям, пытавшимся вразумить ее, Манечка отвечала:

— Папа сгорел — так пусть и это все горит!

— Я никогда не думала, что буду так за ним скучать, — как-то сказала мне Манечка.

Встречались мы редко и без особых эмоций. Она забегала мимоходом, бледная, измученная хождением по инстанциям и магазинам, просила кипяченой воды запить таблетки, несколько минут сидела, откинувшись на диване и, не дождав-шись, пока утихнет головная боль, поднимала свои сумки и пакеты. Отчаянно, через силу.

Иногда она звонила от нас по телефону своим новым знакомым, и тогда я особенно ясно понимала, что почти перестала существовать для Манечки: я осталась где-то далеко в прошлом, а у них было общее будущее.

Манечка говорила, что это очень интеллигентные люди. Их телефонные разговоры не оставляли такого впечатления. Хотя что можно понять, например, из разговора об отправке контейнера?

— Эта женщина, — Манечка зажимала ладонью микрофон, — знает девять языков! Она... Да-да, я слушаю... Нет. Ни в коем случае! Сорок рублей сверх за такую ерунду!.. Фотоаппарат? Ой, я бы с удовольствием вам помогла, но у меня самой два. Я боюсь, что один не пропустят. Я вам дам телефон одних людей, у них не хватает на билеты. Может, вы договоритесь с ними, чтобы они вывезли фотоаппарат и ковер, еще что-нибудь... Да, я диктую...

У самой Манечки оказались даже лишние деньги. И совсем неожиданно. Она хотела оставить на память какой-нибудь из инструментов дяди Давида, но не получила разрешения на вывоз.

— Им жалко выпустить это никому не нужное, поломанное старье, — возмущалась Манечка.

Однако она не поленилась сходить в комиссионный магазин. И тут выяснилось, что инструменты, тридцать лет пылившиеся на шкафах, были ценные и в хорошем состоянии. Только за скрипку, на которую дядя Давид так и не удосужился натянуть струны, дали 800 рублей.

Вообще Манечка продавала удачно. Она видела в этом свою заслугу, но, по-моему, тут действовала благодать тети Гени. Тетя Геня исходила нежностью, в последний раз натирая содой свой холодильник, она ласкала полиролями мебель.

— Деточка! — говорила она покупателю. — Я ни-когда не стала бы продавать этот буфет...

И покупатель видел, как обливается кровью ее сердце, и жалел тетю Геню.

— У меня ни одна мелочь не пропадает! — хвалилась Манечка. — Я из всего сделаю деньги! Я даже не думала, что во мне есть такая коммерческая хватка!

Старое, облупленное зеркало она свезла в мастерскую, заплатила пятерку за ремонт и продала за двенадцать рублей. Оставленные тетей Розой кусочки меха отнесла к шляпнице. Шляпница уверяла, что они не стоят возни, но Манечка настояла на своем и заплатила за работу сорок рублей. На котиковой шляпе она заработала рубль, на чернобурковой — двадцать.

Манечка всю репетировала капитализм. Она освоила новый взгляд — быстрый, с цепким прищуром.

— Я сама подняла всю эту махину! — Манечка имела в виду сборы, оформление документов, походы в ОВИР.

Она жила, наконец, в полную силу. И каждый, кто вот так же, как она, решился круто изменить свою жизнь, казался ей человеком решительным и отважным.

— Вот скажи, — спрашивала она презрительно, но беззлбно, — ты смогла бы?

Мне захотелось проверить Манечку, и я солгала:

— Может быть, и да...

Лицо ее мгновенно открылось мне и потеплело. Она сжала мою руку:

— Может, и в самом деле?! Подумай! А?

— Это все сложно, — смутилась я, — мне слишком дорого то, что пришлось бы оставить.

Она снова отдалилась и вдруг сказала (она, видно, давно уже искала случай это сказать):

— Я знаю, что мы с тобой стали чужими людьми. Между нами нет ничего общего, кроме каких-то детских воспоминаний.

Это была правда. Но разве они мало значили, детские воспоминания?

Конечно, даже тетю Геню я любила не нынешнюю, беспомощную и немного капризную, а ту, что ходила вверх и вниз по Фроловскому спуску, скорбно сжав губы и безропотно глядя перед собой добрыми круглыми глазами. Но разве можно любить сильнее?

Я ехала прощаться с тетей Геней и Манечкой. День был пасмурный и туманный. Плыли вдоль дороги серые квадратные дома. Я думала о том, что, может быть, больше никогда не увижу эти унылые места. Никогда больше не поднимусь по этой лестнице.

Дверь в квартиру была открыта. По шуму, доносившемуся из комнаты, я поняла, что „скорая“, стоявшая у входа, приехала к тете Гене.

— Она упала прямо в дверях, — говорила соседка Анна Борисовна. — Я так испугалась, стала брызгать на нее воду.

— Ми-лая, — простонала тетя Геня, — сделайте что-нибудь. Сейчас вернется моя дочка — не надо, чтобы она узнала...

— Ну что же делать? — услышала я расстроенный женский голос. — Вам не то что ехать за границу — вам с постели вставать нельзя! Как вы вообще решились на такое в вашем состоянии?

— Что же мне было делать, милая? — ответила тетя Геня. — Мы с дочкой остались совсем одни. А там у меня сестра с сыном. Они зовут ее. Она не хочет меня бросить. Так что же ей, ждать, пока я умру? Ведь время-то уходит... Что же мне, руки на себя наложить? Так пусть я умру где-то по дороге. Я столько лет обуза на ее шее... Когда-то я делала для нее, что могла, больше, чем могла. А теперь я могу сделать для нее только одно: дать ей уехать.

Я решила войти.

— Это ваша дочь? — спросила высокая, светлая женщина-врач.

— Это моя племянничка! — обрадовалась тетя Геня. — Она со мной посидит. Не волнуйтесь, милая, поезжайте. Спасибо вам за все.

Я осталась в тетей Геней одна. В углу пустой холодной комнаты громоздились чемоданы и набитые авоськи. В одной из авосек лежали три кочана капусты. Еще один, растерзанный, лежал на окне. Тетя Геня встала с раскладушки, оторвала несколько листьев и приложила их к сердцу и к печени.

— Это мое спасение, — покачала она головой.

Потом пригладила мокрые волосы, накинула кофту.

— Вот так...

Я знала, что сейчас скажет тетя Геня, и поспешила ее перебить:

— Я к вам приеду, тетя Геня! На гастроли!

Она как будто оживилась. Стала угощать конфетами и показала роскошную чернобурку, на живую нитку приметанную к ее черному пальто.

— Этот воротник, — она захлебнулась от тихого смеха, — торчит выше моей головы и достаёт мне ниже живота! Я бы показала тебе, но у меня нет сил. На меня еще фотоаппарат оденут! Ты можешь себе представить!

— Да! — вспомнила она. — Тут у меня остались разные мелочи. Манечка хочет их выбросить, а я подумала: ты такая рукодельница, может, тебе пригодится.

Она достала мешочек из розового штапеля. В нем лежали обрезки меха и длинные разноцветные полоски крепдешина.

Через два года я получила письмо от Манечки. „Я не писала тебе потому, что нечего было писать. И сейчас тоже нечего. Я сейчас временно не работаю. Мама болеет. У нее стало плохо со зрением. Она получает пенсию. Ее пенсии и моего пособия хватает на жизнь. Так что я не должна смотреть в руки родственникам. Наши здесь быстро становятся

такими же жмотами, как все американцы. Я мечтала, конечно, не об этом и не для этого положила столько сил. Но мне и жалеть тоже не о чем. Мы часто вспоминаем тебя. Чтобы ни было между нами, я знаю, что ты всегда желаешь мне добра. И еще я часто вспонимаю „горку“. Вот куда бы я вернулась! Люба пишет, что их всех уже отселили оттуда. Я обязана Любе на всю жизнь. Она ходит к папе на могилу и даже посадила там цветы. Я выслала ей маленькую посылку. Когда стану на ноги, постараюсь ее отблагодарить...”

Мне стало стыдно оттого, что Люба, чужая женщина, ухаживает за могилой дяди Давида, а я за два года ни разу не выбралась на кладбище. Я решила, что как-нибудь схожу, потом рассердилась на себя, оделась и поехала на базар за цветами.

В том году очень рано началась осень. Была только середина августа, а солнце, ясное и нежное, уже не прогревало тени. Дорога к кладбищу крематория шла круто вверх между высокими деревьями и старыми гранитными памятниками, настойчиво и властно останавливающими на каждом шагу. Меня знобило от сырости. Я пошла быстрее и скоро очутилась на широкой солнечной вершине холма. Я замерла, прислушиваясь к теплу. Здесь было совсем мало могил, вернее, черных одинаковых кубиков с краткими надписями: имя и год. Я вздрогнула, когда прочла имя дяди Давида. Надпись была аккуратно наведена белой краской, но цветов здесь явно никто не сажал. Я воткнула букет прямо в землю, и рядом с пылающими на солнце красными гладиолусами черный кубик показался еще меньше. Это была скупая памятка, не имеющая ничего общего с курчавой шевелюрой дяди Давида, с его дырявым баяном, с его непроходящей досадой.

А что еще следовало написать на этом камне? Что из дяди Давида мог получиться большой музыкант? Кто знает... Может, и нет. А может, он и был великим музыкантом? Кто знает, какая музыка спотыкалась о его неученую голову и не ловкие пальцы...

Я вспомнила, как он слушал восьмую прелюдию. Я давно не играла ее, но она вдруг возникла, ясно, без единой фаль-

шивой ноты, сливаясь с широким движением зеленых холмов, на которых со временем пролягут новые цепочки черных камней. В этой музыке, в низкой стриженной траве, в тонких молодых рябинах было что-то примиряющее.

Я возвращалась домой. Трамвай дребезжал и звенел на поворотах, но и эти звуки странно совпадали с мелодией, звучащей во мне, с ее неумолимо-грустной поступью.

Я не вышла на своей остановке. Я сидела у окна и удивлялась, что не собралась до сих пор „на край света“. У меня перехватывало дыхание от мысли, что сейчас, сейчас я увижу млеющие на солнце „горы“, желтые лестницы, деревья, с сонным усилием вытягивающие из земли коричневые корни.

На том месте, где сидела когда-то растрепанная старуха, был разбит сквер. Ниже торчали из земли высокие бетонные сваи. Не было ни одного из кривых закопченных домиков с их резными наличниками и зарослями столетника за пыльным стеклом, дырявыми мисками и жирными котами. Здесь все крушили и строили заново.

— Фроловский спуск, — протрещал микрофон. — Следующая остановка — Житный рынок.

Сначала я подумала, что снесли Фроловскую церковь, но она оказалась на месте, нескладная, опрятно окрашенная, придавленная и скрытая от улицы стеклянной громадой Дома быта. Вся правая сторона Фроловского спуска была огорожена глухим забором. За забором тархтел трактор. Я заглянула в щель и увидела ровную земляную площадку. Я всматривалась и не могла сообразить, где же здесь была моя волшебная гора.

— Здравствуйте, — услышала я мужской голос. — Я увидел вас тут и осмелился подойти. — Светловолосый парень пятнами краснел от смущения. — Вы, конечно, не помните меня. Я — Сережа, сосед вашей тети Гени. Наша дверь была как раз напротив.

— Ну конечно, помню, Сережа. То есть, я не узнала бы вас. Прошло столько лет... Удивительно, что вы меня узнали.

— Вы не изменились, — он снова покраснел. — И... я вас ча-

сто видел, когда вы учились в консерватории. Даже слушал один раз. Я работаю напротив консерватории. Знаете, архитектурное управление. А здесь я случайно оказался. Сдал магнитофон чинить.

— А я вот выбралась посмотреть на горку.

— Да. Тут еще год назад начали сносить. Вроде и условия тут были скверные. Дали людям нормальные квартиры. А все жалеют...

— Вы что, встречаетесь со старыми соседями?

— Смотря с кем, — улыбнулся он. — Вас интересует, конечно, Поля?

— Да...

— Так я и знал. Вот ведь плохой, никчемный человек, а когда встречаемся с кем-то, только о ней и говорим! Поля... Да дрянь она, Поля, больше ничего. Она неплохо жила со своим последним мужем. Славный был паренек. Но у него появилось какое-то кожное заболевание, и она его бросила в конце концов. Может, оно и лучше для него. Жаль только тетю Анюту. Помните, какая она была красавица? Так больно на нее смотреть. Она стала совсем седая и... почти лысая... И без зубов... Как глубокая старуха. Я никак не уговорю ее поставить протезы.

— Вы бываете у нее?

— Да нет. Она рядом со мной работает. Талончики продает на Театральной площади. Вы, наверно, видели ее сто раз. Просто ее узнать невозможно.



А. Б. ЙЕГОШУА

ЛЮБОВНИК

Отрывки из романа

Перевод с иврита Наталии Вольберг

АДАМ

А мы на войне потеряли любовника. Был у нас любовник. А с тех пор, как началась война, его нет. Просто исчез. Он и старая машина „морис“, принадлежавшая его бабушке. Прошло уже более шести месяцев, а от него ни слуху ни духу. А мы всегда говорили: „Страна маленькая, интимная, если проявить настойчивость, можно обнаружить связь между самыми далекими людьми“, — и вот, как будто разверзлась бездна, и человек исчез бесследно, и все поиски ни к чему привели. Если бы я был уверен, что он убит, я бы отступил. Какое право у нас так настойчиво разыскивать погибшего любовника, когда люди потеряли самое для них дорогое — сыновей, отцов и мужей. Но — как бы выразить это — я до сих пор убежден, что он не погиб. Только не он. Я уверен, что он даже не добрался до фронта. А если он все-таки убит, то где

же машина, куда она пропала? Ведь ее же нельзя закопать так просто в песке.

Была война. Верно. Свалилась на нас совершенно неожиданно. Снова перечитываю запутанные сообщения, пытаюсь понять всю глубину охватившей нас паники. В конце концов, не он один пропал. До сего дня существует список пропавших без вести: несколько нераскрытых тайн. И близкие, члены семьи до сих пор собирают случайные остатки. Лоскутья одежды, обрывки обгоревших документов, согнутые авторучки, продырявленные кошельки, расплавившиеся обручальные кольца. Разыскивают исчезнувших свидетелей, тень человека, может быть, слышавшего что-то, и из этой неясности пытаются воспроизвести последний образ дорогого им человека. Но и у них опускаются руки. Есть ли у нас право требовать большего? В конце концов, он нам чужой, сомнительный израильтянин, в сущности, „йоред“, который пожаловал с коротким визитом, связанным с наследством, и задержался, может быть, даже из-за нас. Не знаю. Не уверен. Но я утверждаю — он не погиб. В этом я убежден. И в этом причина беспокойства, которое беспрестанно грызет меня в последние месяцы, заставляет меня искать его по всем дорогам. Более того, странные мысли возникают у меня из-за него, что вот в буре боев, во время паники и беспорядка, когда распались и вновь создавались подразделения, нашлось несколько таких, единицы, скажем, два или три, которые воспользовались суматохой, чтобы оборвать всякую связь и исчезнуть. То есть решили просто не возвращаться домой, оборвать старые связи и поискать счастья в другом месте.

Эта мысль может показаться дикой, но не мне. Я, можно сказать, сделался специалистом по пропавшим без вести.

Например, Боаз. Снова и снова после прекращения огня появляется в некоторых газетах то же самое странное объявление о Боазе, который исчез. Что-то в таком роде: мама и папа разыскивают Боазу; фотография юноши, почти мальчика, молодого солдата танковых войск, коротко постриженного, и еще несколько странных сведений. В начале войны,

такого-то числа, в таком-то месте его видели в бою внутри танка, но через десять дней после этого, незадолго до конца войны, друг его детства, верный друг, встретил его на одном из перекрестков дорог вдаль от фронта. Они обменялись несколькими словами и расстались. И с тех пор затерялись следы Боазы.

Какая-то загадка...

Но мы стали черствыми, читаем подобные сообщения в газетах, поражаемся и продолжаем переворачивать страницы с усталостью во взоре. Бесчувственными стали мы в последнюю войну.

Но родители Боазы не успокаиваются. Да и почему бы им успокоиться. Годы растили они своего ребенка, водили его в детский сад, бегали с ним по врачам, делали ему бутерброды рано утром, когда он уходил на тренировки, ждали его на железнодорожной станции, когда он возвращался с экскурсии. Стирала, гладила, заботились все время. И вдруг он исчез. И никто не может сказать — где он, что случилось с ним. Вся эта система, государственная и общественная, которая абсорбировала его с таким желанием, начинает заикаться. Когда родители настаивают (и почему бы им не настаивать?), посылают молодого офицера, у которого, конечно, хорошие намерения, но нет никакого опыта. Он приезжает на командирской машине, помогает им взобраться в кабину и везет их в ясный зимний день в пустыню. Долгие часы безмолвной поездки в глубь пустыни, по бездорожью, он ведет их молча по пыли на ничем не примечательный песчаный холмик, на нем нет ни растеньица, ни вообще какого-нибудь знака, а вокруг необъятный и пустынный простор. И этот мальчишка-офицер краснеет и запинается: „Вот здесь видели его в последний раз“. Ведь даже сухие скалы сгибаются под тяжестью такого горя. Как можно...

А я говорю, что эти родители, которые не дают покоя, которые не в силах примириться с этим песчаным концом около пустынного холма, которые враждебно смотрят на молодого офицера, которые в гневе и разочаровании способны набро-

ситься на него, — родители эти требуют дополнительного объяснения, потому что кто же может поручиться им, что их Боаз, их сын Боаз, не сидит в это время, длинноволосый, в легкой одежде, на берегу далекого моря, в порту далекой страны, не смотрит на простирающийся перед ним вид и не попивает какой-нибудь легкий напиток. Может быть, были у него основания не возвращаться домой, хотя это причинило горе папе и маме. Что-то опротивело ему вдруг. Или что-то испугало его. И если бы его родители все трезво обдумали вместо того, чтобы бегать по всяким военным учреждениям, может быть, они смогли бы напасть на его след.

Но как они могут...

И я тоже зашел как-то в подобное военное учреждение, пытаюсь найти его, и видел всю эту растерянность, несмотря на вежливость и улыбки и старание помочь. Но это было уже через два месяца или даже больше, когда мы поняли, что любовник действительно исчез, что он не возвращается. До этого мы говорили: наверняка он бродит где-нибудь до сих пор, захваченный новыми впечатлениями, взбаламученный от встреч с незнакомыми ему явлениями, — что знает он о настоящем Израиле? Кроме того, мы были настолько заняты, что у нас не было времени думать о нем. Ася все время была в школе, заменяла ушедших в армию учителей, вечерами она бегала на собрания разных чрезвычайных комиссий, навещала родителей убитых или раненых учеников прежних выпусков. Ночью возвращалась усталая до смерти, падала на кровать и немедленно засыпала. И я тоже был загружен работой — уже в первые дни войны гараж завалили машинами. Несколько моих клиентов по дороге на фронт, уже одетые в форму, привели свои машины для основательного ремонта, думая, что их ожидает короткая война, нечто вроде прогулки с приключениями, что отсутствие будет недолгим и время следует использовать для чистки головки мотора, смены подшипников или для новой покраски. А через несколько дней они вернутся домой, возьмут машину и снова приступят к своим обычным занятиям.

Только они вернулись не так-то скоро. Моя стоянка была вся заставлена машинами. А один из них не вернулся вообще. Я сам должен был отвезти машину к его родителям, жать им руки, бормотать слова сочувствия и отказаться, разумеется, от платы, которая достигала нескольких сотен. Другие машины взяли жены, те, что умели водить. Никогда не было у меня так много встреч с женщинами, как в те недели после войны. Женщины завладели машинами и начинали постепенно портить их. Они ездили без воды, без масла и забывали взглянуть даже на датчик.

Посреди ночи позвонил телефон, и женский голос призывал меня на помощь. И я кружусь посреди ночи по затемненному городу, чтобы найти в маленьком переулке молодую женщину, совсем девчонку, охваченную ужасом, около большой роскошной машины, из которой выжата последняя капля бензина.

Но и эти неурядицы закончились, и жизнь начала входить в свое русло. Мужчины возвращаются из армии, бродят по утрам в форме цвета хаки и в тяжелых ботинках; что-то покупают в лавке, их взгляды затуманены, как будто их ударили по голове, они немного заикаются. Они приходят и забирают машины и задерживают оплату. Наступила тяжелая зима. Пасмурно, дождь не прекращается. По ночам все больше и больше одолевает бессонница. Посреди ночи мы просыпаемся, чтобы услышать раскаты грома, увидеть вспышки молнии, пойти в уборную, включить радио на минутку. Так обнаружил я, что и Дафи страдает бессонницей. Мысль об исчезнувшем любовнике стала глубоко проникать в наше сознание. Почти тоска по нему, вопрос: где же он все-таки? Ася все время в беспокойстве, мчится на каждый телефонный звонок. Не говорит ни слова, но я ощущаю ее взгляд...

Утром по дороге в гараж я стал сворачивать со своего обычного пути, проезжаю мимо Нижнего города, возле дома бабушки, надеясь заметить какой-нибудь знак, перемены в опущенных жалюзи, на которых облупилась краска, иногда даже на минутку оставляю машину на стоянке, забегаю в за-

пущенный подъезд, подхожу к сломанному почтовому ящику, повешенному кое-как, чтобы посмотреть, нет ли там письма или какой-нибудь записки для него или от него.

Разве могли мы бросить его на произвол судьбы, забыть о нем, ведь кто еще, кроме нас, мог обнаружить его исчезновение?

ДАФИ

Дорогая Дафи, это пропавшая ночь, и не стоит тебе упрямитесь, а то будешь потом реветь, девчонка. Знаю я тебя, уже слышала, как ты воешь под одеялом. Если очень стараешься уснуть, все начинает действовать на нервы. Легкий храп мамы или папы, шорох автомобилей на шоссе, ветер, заставляющий скрипеть жалюзи в ванной. Ты думала, что тебе удастся увильнуть, толстуха, но нет, это ночь без сна. Ничего не поделаешь. Хватит, нечего тискать подушку из стороны в сторону, пытаться лежать минут пять без движения, словно мертвец. Не притворяйся спящей. Кого ты обманываешь? Ну-ка открой глаза, поднимись, выпрямись в кровати, зажги свет и придумай, как убить время, оставшееся до утра.

Уже после обеда я знала, что ночь не пройдет гладко, что не удастся мне уснуть. Странное дело, но у меня было предчувствие. Тами и Оснат пришли после обеда и сидели у меня до вечера. Было весело, мы смеялись, болтали и сплетничали. Сначала об учителях, но в основном о мальчиках. Оснат совсем ненормальная. Это началось сразу после летних каникул, более духовные темы ее не интересуют, только мальчишки. Каждые несколько недель она влюбляется в кого-нибудь другого. По самые уши. Чаще всего в мальчишек из одиннадцатого или двенадцатого класса, которые даже не подозревают, что в них влюбились. Но это не мешает ей создать из каждой любви увлекательный рассказ. Я люблю ее. Некрасивая, тощая, в очках, а язык острый, как бритва. Тами и я просто умираем со смеху от ее рассказов. Такой шум подняли, что папа открыл дверь, чтобы посмотреть, что слу-

чилось, но сейчас же закрыл, потому что Тами сбросила туфли, сняла свитер, расстегнула кофточку, распустила волосы и разлеглась на моей кровати. Куда бы она ни пришла, она снимает что-нибудь и залезает в чужие кровати. Совсем разболтанная. Она настоящая красавица и хорошая подруга.

Было весело. Оснат стоит посреди комнаты, опускает очки на нос и копирует Шварци, и вдруг среди всего этого восторга и смеха над головой Оснат за большим окном появляется маленькое облачко, лиловое, ночное такое, плывет низко-низко, почти задевая за крыши. И маленькая молния вспыхивает у меня внутри, в глубине черепной коробки. Просто какое-то физическое ощущение. Ночью не удастся мне уснуть — пророческое предвидение. Когда Оснат и Тами погрузятся в глубокий сон, я все еще буду вертеться здесь, на кровати, из стороны в сторону. Но я не сказала ничего, продолжала болтать и смеяться. И только маленькое упрямое пламя уже горит внутри, подобно крошечному пламени, постоянному пламени нашей газовой горелки. Пропал твой сон, Дафи.

Потом я забыла об этом, или мне казалось, что забыла. Вечером они ушли, а я села за уроки, все еще подготавливаясь к нормальной ночи. Быстро проанализировала два мрачных пророчества Иеремии и сравнила их между собой, в два счета покончила с описанием смерти и разрушения в „Сказании о погроме“*. Дурацкие вопросы. Но когда я взялась за эту проклятую математику, то начала неудержимо зевать, какая-то ужасная усталость охватила меня. Надо было мне, наверно, броситься на кровать и уснуть, воспользоваться моментом.

Но я по глупости своей еще пыталась понять вопросы, а папа позвал меня ужинать. А если он приготавливает ужин, и я задерживаюсь, на него нападает ужасный гнев, потому что он голоден. А с какой скоростью он приготавливает все и ест! Еще раньше, чем он приготавливает еду, он уже приканчивает ее.

* Поэма Х.Н.Бялика.

Мама еще не пришла...

Я сидела около него только для того, чтобы он не чувствовал себя одиноким, есть мне не хотелось. Почти не разговаривали, потому что он уткнулся в радио и слушал обзор новостей. Он сварил мне яйцо всмятку, которое я не люблю. То, что он стряпает, всегда невкусно, хотя он и уверен, что умеет готовить. Увидев, что я не хочу яйцо, он съел также и его, а как только он вышел из кухни, я выбросила часть еды в мусорное ведро, а остальное поставила в холодильник, пообещала вымыть посуду и пошла смотреть телевизор.

Шла арабская программа, но я сидела и смотрела, только чтобы не идти в комнату, где меня ждала математика. Папа пытался одновременно читать газету и смотреть телевизор, но потом встал и пошел спать. Станный он человек. Надо будет как-нибудь подумать о нем серьезно. Кто он на самом деле? Неужели только хозяин гаража, который все время молчит и ложится спать полдесятого?

Мама еще не пришла...

Я выключила телевизор и отправилась принимать душ. Голая под потоком воды, я чувствую себя так, как будто накурилась наркотиков, время делается сладким, бесформенным, и я могу стоять так часами. Однажды папа взломал дверь, потому что мама подумала, что я потеряла там сознание или что-то в этом роде. Я находилась там, наверно, целый час и не слышала, как они зовут меня. Постепенно вода сделалась холодной. Я опорожнила весь бак. Еще попадет мне от мамы.

Я вытираюсь, надеваю пижаму, гашу свет в доме, захожу в их спальню, гашу ночную лампу папы, вытаскиваю из-под него газету. В его большой лохматой бороде поблескивают седые нити, освещаемые проникающим из коридора светом. Жалость к нему охватывает меня, когда я смотрю на него спящего, а это неестественно, чтобы дети испытывали жалость к своим родителям.

Я вхожу в свою комнату, заглядываю снова в тетрадь по математике, может быть, вдохновение спустится на меня с

небес, но небо черно, нет ни звездочки и капает дождь. С тех пор, как убили нашего математика в последнюю войну и из политехникума привели этого младенца, я порвала всякую связь с этим предметом. Он не для меня, я не понимаю даже вопросов, не говоря уже об ответах.

Я опускаю жалюзи и включаю транзистор, по которому передают сейчас песни этого нытика Саруси, медленно собираю портфель и не кладу в него тетрадь по математике. Снова скажу, что забыла ее, уже в четвертый раз в этот месяц. В следующий раз придется найти новую уловку. Пока он молчит, этот сосунок. Краснеет, будто это он соврал, а не я. Он еще немного боится. Боится запутаться, но и он скоро очнется, уже появляются тревожные признаки.

А мама все не пришла. Такой длинный педагогический совет. Наверняка придумывают что-нибудь серьезное против нас.

Тихо в доме. Глубокое безмолвие. Вдруг звонит телефон. Я спешу к нему, но папа отвечает еще до того, как я успеваю подойти. С тех пор, как „этот“ исчез, мне никак не удастся первой, ответить на телефонный звонок, мама или папа срываются сразу — один аппарат стоит постоянно около их кровати.

Я беру трубку второго аппарата, стоящего в кабинете, и слышу как папа разговаривает с Тами, а она ужасно испугалась, услышав его сонный голос. Я немедленно врываюсь в беседу. Что случилось? Оказывается, она забыла на какую тему будет контрольная по истории. В сущности, она приходила-то ко мне с Оснат, чтобы подготовиться к контрольной по истории. И как это мы забыли самое главное? И я тоже. Только я совсем не боюсь истории, это, может быть, единственный предмет, в котором я чувствую себя совершенно уверенно. От мамы я унаследовала способность запоминать всякие ненужные и мелкие подробности. Я диктую Тами номера страниц, а она начинает выступать против меня, как будто я — учительница истории: „Так много? Что это вдруг? Не может быть“.

Потом успокаивается. Начинает шептать мне что-то об Оснат. Вдруг в трубке слышится странный шум, как будто тяжелое дыхание. Это папа заснул с трубкой в руках. Тами начинает визжать, вот истеричка ненормальная.

Я вешаю трубку, бегу к папе, беру трубку с его подушки и кладу ее на место. Если бы у меня была одна восьмая его способности спать!

— Иди спать... — бормочет он вдруг.

— Сейчас... мама еще не пришла.

— Она скоро придет, иди спать. Не жди ее. А то по утрам ты совсем дохлая.

Я снова в своей комнате. Начинаю наводить в ней порядок. Остатки дневного переворота, впечатления, разговоры, смешки — сейчас словно мусор, который я подбираю и бросаю в корзину. Я начинаю стелить постель, проветриваю ее, нахожу кошелек Оснат и нейлоновый мешочек Тами с тампонами, который она повсюду таскает с собой. Наконец-то комната выглядит прилично. Я гашу верхний свет, зажигаю ночник, беру „Эпоху просвещения” и залезаю с ней в кровать, начинаю читать, готовиться к контрольной, буквы расплываются, голова тяжелеет, дыхание становится глубже, благословенное мгновение, только бы не упустить его, чудесно, я засыпаю.

И в этот самый момент приходит мама, слышатся ее быстрые шаги по лестнице, как будто она возвращается с какого-то праздника, а не с педагогического совета. Как только дверь открывается, я зову — мама? Она входит в мою комнату, пальто у нее мокрое, под мышкой куча бумаг, лицо серое, она очень устала.

— Вы уже спите?

— Я еще нет.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего.

— Так спи...

— Мама?

— Не сейчас... ты же видишь, что я умираю от усталости.

В последнее время это ее постоянный припев — ужасная усталость. С ней невозможно говорить, как будто она ведает делами всего мира. Вот слышатся ее торопливые шаги по дому, она не зажигает верхнего света, стоя хватая что-то из холодильника, раздевается в ванной, пытается принять душ, но тотчас же закрывает кран. Я быстро гашу свет, чтобы она не пришла ко мне кричать на меня за то, что я вылила всю горячую воду. Она входит в свою темную спальню, папа бормочет что-то. Она отвечает. И они сейчас же замолкают.

Тихая супружеская жизнь..

Последняя лампа в доме потухла. Я закрываю глаза и еще надеюсь. Все молчит. Мысли улеглись, портфель собран, дом заперт, жалюзи опущены. На улице тихо. Все готово ко сну, а, может быть, я и правда спала минутку или две, но они пробежали, и я понимаю, что не сплю, что маленький огонек, горящий на дне души, не оставит меня в покое; я начинаю вертеться в кровати, и странное оживление все больше овладевает мной. Я переворачиваю подушку, меняю положение каждые четверть часа, потом каждые несколько минут. Проходит час. Светящиеся стрелки сходятся на цифре двенадцать, двигаются дальше. Вот вставай, бедняжка моя Дафи, опять бессонная ночь, не стоит упрямыться, встань, встряхнись.

Световая дорожка моих бессонных ночей: сначала слабый свет около кровати, потом большой свет в комнате, свет в коридоре, белый свет в кухне и в конце — внутренний свет холодильника.

Ночная трапеза. Какой толк от диеты днем, если ночью сгрызаешь потихоньку четыреста калорий. Кусок пирога, сыр, полплитки шоколада и оставшееся в бутылке молоко.

И потом, отяжелевшая и сонная, я опускаюсь на диван в гостиной, около огромного окна, а напротив меня мощный корабль, освещенный дворец, стоит у подножия горы в море, которого не видно. Великолепный спектакль бодрствующих людей. Я иду за подушкой и одеялом, возвращаюсь, а корабль уже исчез, хотя невозможно было представить, что он движется.

Однажды мне удалось уснуть на диване в гостиной, но не в эту ночь. Я чувствую шероховатость обивки, лежу четверть часа, полчаса. Рука тянется к приемнику.

Какой это язык? Греческий? Турецкий? Югославский? Приятные песни и диктор с таким сексопильным голосом быстро болтает, старые женщины звонят ему дрожащими голосами, они ужасно смешат его, он просто покатывается со смеху. Я чуть не присоединяюсь к нему. Ведь вот не все спят. Но он вдруг пропадает. Начинается реклама кока-колы, машины „фиат“, последняя песня, полусонная дикторша, очевидно, желает слушателям спокойной ночи. Гудок. Станция прекратила работу. Уже перевалило за час ночи.

И еще эти стрелки, ползут еле-еле, по крайней мере пять часов до рассвета. Я сижу в кресле, уже не могу даже лежать, готова разреветься.

Интересно, а что с этим человеком, стучащим на машинке, я почти совсем забыла о нем, о человеке, который стучит на машинке по ночам в доме на той стороне вади. Я иду в ванную и через маленькое окошко, выходящее на другую сторону, на боковое вади, ищу его освещенное окно. Он там, честное слово, привет этому человеку, стучащему на машинке, пишущему по ночам. Сидит около своего стола и трудится во всю. Мой ночной товарищ.

Несколько недель тому назад я обнаружила его совершенно случайно. Холостяк? Женатый? Ничего невозможно узнать. Днем жалюзи опущены, и только ночью виден его одинокий огонек, он работает над чем-то, пишет не переставая. Каждый раз я решаю пойти туда, за вади, найти его дом и узнать имя. Я бы позвонила ему и сказала: „Господин, стучащий на машинке, я слежу за вами по ночам с другой стороны вади. Что вы пишете? Исследование? Роман? О чем? Напишите и о бессоннице. Эта тема освещена недостаточно. О бессоннице у пятнадцатилетней девочки, например, ученицы десятого класса, которая каждую четвертую ночь крутится на своей кровати“.

У меня в глазах слезы...

Я быстро одеваюсь, снимаю пижамные штаны и надеваю толстые шерстяные брюки, на пижамную рубашку набрасываю большой шарф, беру зимнюю куртку, папину меховую шапку, гашу свет во всем доме, открываю входную дверь, зажигаю ключ в кулаке, спускаюсь по темной лестнице, выхожу на улицу. Маленькая ночная прогулка около дома. Сто метров по склону до поворота, где погиб Игал, и обратно. Если бы мама и папа знали об этой прогулке, они убили бы меня. Сейчас полтретьего, на моих ногах домашние туфли, ступни замерзли, а я смотрю на звезды, иду по пустынной мокрой улице. Вдруг машина с включенными на всю мощь фарами промчалась мимо меня по склону и остановилась метрах в пяти от меня. Я застываю на месте. Машина быстро отскакивает назад, зажигают свет, ищут меня. Может быть, думают, что я проститутка. От страха я роняю ключ в лужу, кто-то выскакивает из машины, кто-то высокий, улыбается. Я поднимаю ключ и бегу обратно, быстро взбираюсь по лестнице, запыхавшись, вхожу домой, запираю дверь, быстро раздеваюсь залезаю в кровать и укрываюсь с головой.

Что же будет, в конце концов? Эта ночная жизнь. Что грызет меня? Ведь все совсем неплохо. Хорошие подруги, дома меня балуют, мальчики начинают влюбляться в меня тайком, я-то знаю, не говорят ничего, но уже не могут скрыть — я чувствую их взгляды, которые они вонзают в меня на уроках, взгляды, скользящие по моим ногам. Кто-то из двенадцатого даже пытался начать со мной совершенно серьезно. Большой парень с хмурым лицом и прыщами на лбу продержал меня как-то раз целый час около школьного забора и говорил, не знаю о чем, мне не удалось уследить за его речью, сумасшедший какой-то. И как только мне удалось освободиться от него?

Так почему не могу я уснуть даже сейчас в полтретьего ночи, когда уже замолчали все радиостанции, а я чувствую себя совершенно разбитой. А завтра у меня семь уроков и контрольные по истории и математике, которую я не подготовила.

Одеяло снова сброшено, я встаю, тяжелая, как свинец, шатаюсь, зажигаю свет, натыкаюсь на мебель, намеренно поднимаю шум, иду в ванную, чтобы попить, смотрю усталыми глазами в сторону стучащего на машинке человека, но он уже не стучит, голова его покоится на машинке. Даже он уснул.

Я вхожу в спальню родителей, стою на пороге. Спят себе как младенцы. Начинаю тихо всхлипывать: „Мама, папа“, — и ухожу. Сначала в бессонные ночи я будила их, маму или папу, кого вздумается, а иногда обоих вместе. В сущности, не знаю для чего, просто от отчаяния. Главное, чтобы перестали спать и думали обо мне. Мама отвечала сейчас же, как будто она все время не спала, а ждала меня. Но это только кажется, она не успевает закончить предложение и уже засыпает, словно поглощенная бездной.

Разбудить папу не так-то просто. Сначала он издает глухое ворчание, говорит глупости, не понимает вовсе, кто говорит с ним, будто у него десяток детей, пока я не коснусь его, он не поднимается, но когда он уже просыпается, так он совершенно не сонный, даже встает с кровати, идет в уборную, входит в мою комнату, садится на стул около меня и начинает задавать вопросы: „Что случилось? Что тебя мучает? Я посижу с тобой, пока не уснешь“. Он укрывает меня одеялом, гасит свет, подкладывает маленькую подушечку себе под голову и медленно-медленно начинает засыпать. Мне жаль его. Через четверть часа он просыпается и шепчет: „Ты спишь, Дафи?“ А я, сна ни в одном глазу, молчу. Тогда он ждет еще немного, встает и покачиваясь, как лунатик, возвращается в свою кровать.

Больше я не бужу его. Какой толк? Как-то, когда я вошла, чтобы разбудить его, он сказал: „Уходи отсюда, сказал я тебе“. Таким ясным голосом. Я испугалась. „Что?“ — сказала я, обидевшись. Но потом поняла — он говорит во сне. „Папа?“ — прошептала я, но он не ответил.

Плач. С добрым утром. Вот я и плачу. Я плачу под одеялом от жалости к себе усталым горьким плачем. Уже четыре часа утра. Что же это будет?

Я поднимаю жалюзи, приоткрываю окно, жестокая, бесконечная ночь простирается над миром. Небо начинает светлеть, по нему медленно движутся тяжелые облака, громоздящиеся на горизонте одно на другое. Дует утренний ветер, но мне становится все жарче и жарче, я сбрасываю с себя одеяло, расстегиваю пижамную кофту, открываю ноющую грудь навстречу прохладному ветру, бросаю подушку на пол, лежу словно мертвая — руки раскинуты по сторонам, ноги раздвинуты. И постепенно, ощущая запах дождя и глядя в бледнеющее небо, я начинаю засыпать. Это не настоящий сон, а просто я становлюсь легче. Части тела как будто исчезают. Нога, рука, спина, еще одна рука, волосы, голова. Я сжимаюсь до размеров маленькой монетки, экстракт самой себя. Отказывающееся исчезнуть жестокое пламя превратилось в сухую маленькую копейку.

Мама будит меня утром свежим голосом, стаскивает одеяло с моего лица (папа, как видно, укрыл меня, перед тем как выйти из дому), говорит: „Дафи, Дафи, вставай же, ты опоздаешь“.

А я ищу свои глаза, где они? Куда пропали мои глаза? Я лежу как убитая и ищу глаза, чтобы открыть их, слышу, как мама моется под душем, свисток чайника.

Когда я с трудом продираю их, поднимая тяжелые, как камни, веки, окно открыто, уже светло, и через него я вижу плоское и серое зимнее небо. А между небом и землей, как маленький заблудившийся межпланетный корабль, — маленькое лиловое облачко, которое лишило меня сна.

Входит мама, она одета, в руках сумка.

— Дафи, ты с ума сошла? Сколько можно спать...

АСЯ

Что-то вроде экскурсии? Школьной экскурсии, но не просто экскурсия. Лагерь около большого гористого города, смесь Иерусалима и Цфата, издали виднеется большое озеро. Масса молодежи, серые палатки, полные школьников, здесь

ученики не только нашей школы, но и других школ. Бывшие ученики моей школы, но из старших классов, одетые в хаки, — вечные юноши, тренируюсь с палками в руках: стоят шеренгами и бьют. Очевидно, была война, и на возвышенностях вокруг стояли войска. Полдень, я брожу по этому огромному лагерю, ищу учительскую, перепрыгиваю через колышки палаток, пробираюсь через колючки, камни и всякую лагерную утварь, вроде закопченных кастрюль, пока не замечаю учеников из класса Дафи, а также Сарру, и Ямиму, и Варду в длинных и широких юбках цвета хаки, и завхоза, и Йохая, и секретарш — вся канцелярия школы переехала сюда со своими машинками и папками. Шварци, одетый в британскую форму, выглядит молодым и загорелым и очень эффективным с тростью в руке.

— Ну, что с тобой? Уже звонок.

И действительно, звонок, словно спускается с неба трезвон колокольчиков целого стада коров. А у меня ни книг, ни журнала, и я не знаю, что должна преподавать и в каком классе. Я говорю ему: „Это просто какой-то переворот...“ А он, как всегда, уцепился за мои слова: „Переворот, точно — переворот... — смеется он, — люди этого не понимают... пойдй посмотри“.

Вдруг появилось у него время, несмотря на звонок, привел меня к маленькой пещере, вернее, щели, и там под камнями — пачка бумаг, корректура книги. На ней написано название настоящей революции. Но в самом тексте я тотчас же узнаю старый текст его книги для подготовки к экзаменам на аттестат зрелости по Танаху*. Его пояснения к главам, входящим в экзамен.

А кругом тишина. Огромный лагерь тих, ученики тесно уселись в кружки, в центре которых сидят и вяжут учительницы, а кто-то читает вслух книгу. Я ужасно напряжена и взволнована. Слово „революция“ не оставляет меня. Я хочу наконец

* Танах — Библия. Ветхий завет.

добраться до своего класса, хочу вести урок, просто жажду, я даже ощущаю какую-то боль в груди от желания быть с учениками. Я знаю, что они находятся около маленького дубка, иду искать их, но уже не помню, как выглядит этот дубок. Мои глаза шарят по земле, ищут желуди. Я спускаюсь по склону холма в широкое вади. Передовые линии врага, очевидно, недалеко. Уже не дети бродят здесь, а взрослые люди, солдаты. Люди с серыми запыленными волосами, в касках, с оружием. Передовые посты между скалами. А небо с приближением вечера затягивается облаками.

Я спрашиваю о маленьком дубе, и они показывают мне маленький желудь светло-коричневого цвета на земле. „Мы из класса, который ты ищешь,“ — смеются они. А меня совсем не удивляет, что я говорю со взрослыми. Наоборот. Да и лица знакомы мне — лица отцов учеников одиннадцатого и двенадцатого классов, которые приходят на родительские собрания. Они садятся на землю, но не смотрят на меня, поворачиваются ко мне спиной и смотрят в сторону вади.

Они какие — то беспокойные. А я хочу начать говорить о чем-то общем, о важности изучения истории. Кто-то встает и показывает в сторону вади. Там наблюдается какое-то подозрительное движение. Какой-то старик в шляпе ходит по вади и решительно приближается к враждебному месту. У меня обрывается сердце. Он похож на папу. Неужели он тоже здесь? Имеет к этому отношение или нет? Идет прямой и сердитый по руслу, полному камней. О какой это революции я думаю? О чем они говорят? Это война, всего лишь война.

ВЕДУЧА

Камень лежит на белой простыне. Большой камень. Камень переворачивают, камень моют, камень кормят, и камень медленно мочится. Камень переворачивают, камень чистят, камень поят, и снова камень мочится. Солнце исчезло. Темень. Тишина. Камень плачет. Почему я только плачущий камень, камень. Нет ему покоя, начинает двигаться, во-

рочаться, безмолвно трепещет на серой, грязной земле, огромная пустыня, ничего нет, необъятное болото, сгоревшая мертвая земля. Бродит, пока не наткнется на колья и натянутые веревки, оказывается в темной палатке, дотрагивается до мотыги. Камень останавливается, камень погружается. Корень начинает шевелиться внутри камня, извиляется, разрушает его, разветвляется в нем. Камень — не камень. Умиравший и начинающий цвести камень. Цветущий камень, камень — растение. Растение среди растений в тишине пробивается через почву, протягивает вверх крепкую ветвь и еще ветвь. Быстро растет, расцветает, беспорядочно распускается лист за листом. За окном огромное солнце. День. На кровати большое старое растение. Растение переворачивают, растение моют, растение поят, дают ему чай, и растение еще живет.

АДАМ

В сущности, это мы послали его в армию. Он не получил никакой повестки, да он и не мог получить ее. Через два часа после знаменитой тревоги он уже был с нами. Мы, наверно, не услышали стука, а он не стал долго ждать и сам открыл входную дверь ключом, который ему дала Ася. „Ну вот, у него уже есть ключ от дома“, — подумал я про себя, но не сказал ни слова, только посмотрел на него, когда он, испуганный и сильно взволнованный, вошел в комнату, громко говоря, как будто вспыхнувшая война направлена лично против него. Требуется от нас объяснений, но убедившись, что нам нечего сказать, набрасывается на радио и начинает лихорадочно искать какого-либо известия или ясных сообщений, переходит со станции на станцию, французская, английская, даже остановился на некоторое время на передаче по-гречески и по-турецки, пытаясь согласовать факты.

Он все больше бледнеет, руки его дрожат, бегают, не находя себе покоя.

Я вдруг подумал: „Как бы он опять не потерял сознание, как тогда в гараже“.

Но до чего же свободно он ходит по дому. Касается вещей. Сам идет на кухню, открывает холодильник. Знает точно, где лежит большой атлас, чтобы посмотреть на карту. И как он обращается к Асе, прерывает ее посреди разговора, дотрагивается до нее.

В последние месяцы все снова и снова возникают перед моими глазами картины того вечера. Последние картины перед тем, как он пропал. Сумерки, он стоит посреди большой комнаты, его белая рубашка вылезла из черных брюк, его тощая слабая спина немного оголилась. Он держит в руках раскрытый атлас и что-то объясняет нам стоя, а она с покрасневшим и каким-то испуганным лицом следит за его движениями, словно боится, что он сломает что-нибудь. „Ведь это и правда возлюбленный, — подумал я, — она влюблена в него“.

И среди всего этого война, разразившаяся с такой страшной силой. Неизбежность новой действительности, которая накатилась на нас и от которой невозможно укрыться. Вечер наступил быстро, но не зажигали свет, чтобы можно было держать окна открытыми. Каждый летящий в небе самолет заставлял его вскакивать и в смятении бежать на балкон. Ему необходимо было знать — наш он или их. Он даже попросил меня нарисовать на клочке бумаги, как выглядит „миг“ и как выглядит „мираж“ или „фантом“, и этот жалкий набросок он брал с собой, когда выбегал из комнаты, подняв глаза к небу.

— С чего бы это их... — ворчала Дафи, которая все время сидела в углу, угрюмая, не сводя с него глаз.

— Но ведь их авиация не уничтожена, — объясняет он с какой-то хмурой улыбкой, — на этот раз все будет иначе.

Что, он такой уж паникер? Нет, это не совсем подходящее слово. Просто какой-то отчужденностью веет от него. Все время задает какие-то странные, чисто практические вопросы. На какое расстояние стреляют их ракеты, могут ли об-

стрелять порт с моря и будут ли введены нормы на продукты и когда можно будет покинуть Израиль. Он уже больше десяти лет не был здесь и не имеет представления, что происходит во время войны. У него были устаревшие европейские представления.

Я относился к нему терпеливо. Отвечаю на все его вопросы, пытаюсь успокоить его, смотрю на Асю, которая сидит в углу дивана под торшером, на который надели старую соломенную шляпу, чтобы свет не был таким ярким, с кучей ученических тетрадей на коленях и с красным карандашом в руке, пытается успокоить себя, я знаю это, но не может. Серенькая женщина с сединой в волосах, в старом халате, на ногах домашние туфли без каблука, лицо ее напряжено, и это придает ему свет и силу. Влюбилась поневоле, против своего желания, ошеломлена своей любовью, может быть, стесняется ее. Не произносит почти ни слова, только встает иногда и приносит что-нибудь поесть или выпить: кофе мне, сок Дафи, бутерброд Габриэлю. И среди всего этого непрекращающиеся путаные сообщения, отчеты корреспондентов, речи по телевизору, сообщения чужих станций. Информация, которая поступает со всех сторон, но все время повторяется с удивительным постоянством. Раздается первый звонок — руководитель работ в гараже сообщает о своей мобилизации. Я звоню домой к нескольким механикам, оказывается, что их уже призвали, некоторых еще вчера после обеда.

Я выхожу из своей рабочей комнаты. Он сидит на кухне, ест суп. Жалюзи опущены. Она сидит рядом и смотрит на него.

Он обосновывается у нас все прочнее и прочнее...

Он улыбается мне, как бы извиняясь. Страх увеличивает его голод, признается он. Так было еще в детстве. Он ложкой подбирает остатки супа и отправляет ее в рот.

Выясняется, что он намерен провести ночь здесь, если мы не возражаем. Он готов спать на полу или на диване, где мы скажем. Дело в том, что в доме бабушки нет убежища, а дом находится прямо напротив порта — прекрасная цель для первой же бомбежки. В первую мировую войну начали с портов...

Он обращается к Асе, как бы прося ее разрешения, но она не отвечает и со страхом смотрит на меня.

Было в нем что-то, вызывавшее насмешку, и в то же время печальное. Напоминал брошенного ребенка. „Он еще проведет с нами всю войну“, — подумал я без всякой злости, почти с волнением — все возможно теперь.

Время приближается к полуночи. Звонит старый бухгалтер гаража, Эрлих. Он в приподнятом настроении. Говорит, что его призвали в армию. Начинает объяснять мне, где лежат счета, каково положение в банке, кто нам должен, что делать с зарплатой, как будто расстается перед мировой войной. Педантичный и скучный „еки“*, хотя и не совсем лишенный юмора. „Неважно, неважно“, — пытаюсь я успокоить его, но он не успокаивается. В денежных делах он не полагается на меня. В конце он заявил, что сам подскочит в гараж утром. Выяснилось, что он будет находиться неподалеку, возле нефтесервисного завода.

— Действительно, мобилизуют весь народ... — объявил я сидящим в темноте, — что же будет с тобой?

Я обратился к нему просто так, ничего не имея в виду. Но он впал в замешательство, он не знает, он, конечно, не приписан ни к какому подразделению. В аэропорту, правда, ему дали анкету, чтобы он принес ее в военкомат в течение двух недель, но ведь он не собирался оставаться тут две недели, он не знал тогда, что бабушка не умерла, а только находится в бессознательном состоянии. Он надеется, что у него не будет проблем при выезде...

— Будут... — внезапно вмешивается Дафи, которая странным образом молчала с того момента, как он вошел в дом, — почему бы не быть? Тебя будут считать дезертиром...

Он рассмеялся, в темноте я не видел его лица, а он все смеется и смеется, но когда он заметил наше молчание, то прервал смех, зажег сигарету и начал ходить взад и вперед по комнате.

* Прозвище евреев, приехавших в Израиль из Германии.

Подожди еще несколько дней, — сказала Ася, — может быть, все кончится.

А я молчу. Что-то в ее тоне отталкивает меня.

Передают ночные последние известия. Ничего нового. Повторяют то, что уже передавали. Без десяти час начинается музыка, транслируют марши. „Пошли спать”, — говорю я; но это сумасшедшая ночь, как можно уснуть? Дафи идет к себе в комнату и запирается. Ася завешивает окна рабочей комнаты, зажигает свет, стелит постель. Я беру транзистор, раздеваюсь и залезаю с ним в кровать. Окно открыто, дверь на балкон открыта. Ночь наполнена голосом радио, который вырывается из всех затемненных домов. Ася задерживается. Я встаю, выхожу в коридор и вижу, как он стоит полуголый на пороге рабочей комнаты, а она что-то горячо говорит ему шепотом, замечает меня и сейчас же замолкает. Через несколько минут она входит в комнату, быстро раздевается, ложится около меня.

— Что будет? — не выдерживаю я вдруг, думая о войне.

— Пусть он пока останется здесь... Если ты не возражаешь?

Я смотрю на нее, она закрывает глаза. Я тоже. Радио тихо говорит около меня, время от времени я просыпаюсь, усиливаю звук, приближаю радио к уху, слушаю и снова засыпаю. В доме все время слышатся шаги босых ног. Сначала бродит Дафи, потом слышится звук его шагов, Ася встает и ходит, шепот, смесь страха и сдавленной страсти. Сладость, растрворенная в далекой крови и огне.

Внезапно меня охватывает какая-то слабость...

С первым светом я поднимаюсь. Ася и Дафи спят. Из рабочей комнаты слышатся веселые мелодии. Вот последняя картина, которая врезалась мне в память. Он полусидит, полулежит, голова покрыта простыней, транзистор под простыней передает марши.

Сошел с ума?

Я слегка прикоснулся к нему. Он сбросил простыню, открыл лицо, не удивился, но глаза не открыл.

— Они продвигаются? А? Что происходит там?

На нем были мои старые пижамные штаны. Я стоял около него, тяжелое спокойствие охватило меня, знакомое мне спокойствие, которым я владею. Это спокойствие успокаивает людей вокруг меня.

— Лучше, чтобы ты пошел туда, — говорю я тихо, почти ласково.

— Куда?

— Выяснить, что с тобой... У тебя могут быть неприятности при выезде... Для чего они тебе?

В его глазах глубокое беспокойство. „Он симпатичный, — подумал я, — этот любовник, этот перепуганный насмерть любовник”.

— Ты думаешь, что во мне действительно нуждаются... Что, им нечем больше сейчас заниматься?

— На фронт тебя не пошлют, не волнуйся. Но лучше, чтобы документы были в порядке, чтобы ты объявился.

— Может быть, еще несколько дней, завтра...

— Нет, иди немедленно. Вдруг вся эта война прекратится, ты явишься с опозданием, еще обвинят тебя...

— Война может кончиться вдруг?

— Почему нет?

За мной стоит Ася, с растрепанными волосами, босая, в распахнутой ночной рубашке, совсем не помнит себя, прислушивается к нашей беседе.

— Я коснулся его голого плеча: „Идем, поешь чего-нибудь и выйди пораньше. Сегодня будет там куча народу”.

Он казался разбитым, но сразу же встал, оделся; я тоже пошел одеться. Дал ему свою бритву, он помылся, пошел в кухню, я поставил перед ним завтрак, приготовил завтрак и для Аси, которая беспокойно бродила, не зная, за что взяться. Мы втроем молча съели по куску хлеба с творогом, выпили по чашке кофе и еще по чашке. Было шесть часов утра. По радио хор запел „Властитель мира”. Потом прочли дневную главу из Торы.

Он был очень удивлен, слушал серьезно, почти со страхом.

Он не знал, что так и начинают у нас радиопередачи.

— Это из-за войны?

— Нет, — улыбнулся я, — так каждый день.

Он улыбнулся мне в ответ. Иногда он бывает необыкновенно симпатичным.

Я проводил его вниз. Голубой „морис“ стоял позади моей машины, прилепившись к ней, словно маленький щенок к своей матери. Я попросил его поднять крышку, проверил количество масла, трубы радиатора, заглянул в аккумулятор. Попросил его завести машину. Послышался звук маленького мотора выпуска сорок седьмого года, который из-за многолетней службы стал несколько скрипучим. Тонкий, смешной такой скрип. Биение сердца младенца, но младенца довольно крепкого.

— Она в порядке, — я осторожно опустил крышку, улыбнулся ему. Он внезапно приободрился. На улице было необычно большое для этого раннего часа движение.

— У тебя есть деньги?

— Он подумал минутку, но потом сказал: не беспокойся.

— Если ты вернешься сегодня, приезжай сюда. Ты сможешь еще пожить у нас. Если тебя почему-либо задержат, не забывай нас, подай признак жизни...

Он рассеянно кивнул головой.

И последняя картина, врезавшаяся мне в память, — веселое помахивание руки из окна его машины, заскользившей по склону улицы.

Я вернулся домой. Сонная Дафи сидела непричесанная в кресле в гостиной, Ася, уже одетая, сидит в рабочей комнате. „Он вернется к вечеру, я уверен, что могут с ним сделать?“ Она улыбнулась мне спокойно, продолжала работать. Вечером он не вернулся. Мы ждали звонка до позднего часа. Напрасно. В течение нескольких дней его простыни, аккуратно сложенные, лежали на подушке в рабочей комнате, и мы еще были убеждены, что он вернется. Прошло еще несколько дней, и ни открытки. Наверно, мобилизовали его все-таки. Война все разгорается, а его нет.

В доме бабушки не было никаких признаков его присутствия. Вероятно, он перед уходом на военную базу побывал тут и спустил жалюзи. Сумасшедшие дни текут медленно. Первое, прекращение огня, второе, начало затишья. Но он исчез. И все приобрело такое большое значение, все эти последние часы вместе с ним. Прошла еще неделя. Его нет. Как будто решил поиздеваться над нами. Я пошел к военному коменданту города, но там было такое скопище бушующего народа, что я сейчас же выскочил оттуда.

Прошли еще дни. Демобилизуются первые резервисты. Первый дождь. Я снова пошел к коменданту, терпеливо ждал в очереди, пока меня примут. Дежурная служащая слушала меня с удивлением, подумала, наверно, что я пришел просто, чтобы морочить ей голову. Она не захотела даже записать его имя. Без личного номера, номера полевой почты или названия подразделения она не желала даже начать поиски.

— С чего вы взяли, что его мобилизовали?

И действительно, с чего...

— Кто он? Ваш двоюродный брат? Родственник?

— Друг...

— Друг? Так пойдите к его семье. Мы имеем дело только с членами семьи.

Прошло еще несколько дней. Ася не говорит ни слова, но меня охватывает ужасное беспокойство, как будто я виноват, словно его исчезновение связано со мной. Как мало мы, в сущности, знаем о нем, мы не знаем никого, к кому можно было бы обратиться, чтобы спросить о нем. У Эрлиха был знакомый в пограничной полиции, я сообщил ему имя, чтобы узнать, не уехал ли он из страны. Может быть, он просто сбежал. Через два дня я получил официальное сообщение — человек с таким именем не покинул пределов страны. Я ходил по больницам, просматривал списки раненых. Длинные путаные списки, все вместе — больные и раненые. Однажды вечером я захожу в одну из больших больниц, начинаю бродить по коридорам, заглядываю в палаты, иногда захожу внутрь и брожу между кроватями, тихо смотрю на юношей, играющих

в шахматы или жующих шоколад. Время от времени я попадаю в неожиданные места, в большую операционную или в затемненный рентгеновский кабинет. Перехожу из отделения в отделение, переполох в больницах в те дни был такой, что меня никто не остановил. В моем рабочем комбинезоне я мог сойти за местного сантехника.

Целый вечер бродил я по всем местам, основательно обследовал их, иногда мне казалось, что я слышу его голос или вижу похожего на него человека. По одному из коридоров везли раненого, всего забинтованного, лица не видно. Его завезли в палату. Я подождал немного и вошел туда. Это была маленькая комната, вся заполненная медицинскими приборами. Одна единственная кровать стояла там. Раненый, как видно, весь обожженный, лежал без сознания, как древняя мумия, завернутая в саван. В комнате горела лишь одна маленькая настольная лампа.

„А может быть, это он“, — подумал я про себя и встал около стены. В комнату вошла медсестра и подключила к раненому прибор. — Кто это? — прошептал я.

Но и она не знала этого, только несколько часов назад его привезли с Голанских высот, там была перестрелка во второй половине дня.

Я прошу у нее разрешения остаться. „Уже некоторое время я ищу одного человека, который исчез. Может быть, это он“. Она растерянно смотрит на меня, устало пожимает плечами, она ничего не имеет против. В последние две недели привыкли тут ко всевозможным безумствам.

Сижу около двери, исследую строение его тела, укрытого простыней, смотрю на перевязанное лицо, никаких признаков, что это он, но ведь все возможно.

В этой темной комнате я находился час, может быть, два. Больница замолкала. Время от времени кто-то открывал дверь, смотрел на меня и снова закрывал ее.

Вдруг раненый застонал. Пришел в сознание? Стал бормотать что-то. Я подошел к нему: „Габриэль?“ Он повернул ко

мне свою перевязанную голову, как будто узнавая источник голоса, но его стоны все увеличивались. Наверно, он начал агонизировать, задвигался, хотел сорвать бинты со своей груди. Я вышел в коридор и позвал сестру. Она вошла, но быстро вышла и вернулась с двумя врачами и еще одной сестрой. Они накрыли его лицо кислородной маской и разорвали бинты на его груди. Я не мог определить ничего. Стоял между ними и смотрел. Раненый умирал. Я дотронулся до плеча одного из врачей и попросил снять бинты с лица, они послушались меня, были уверены, что я его родственник. Страшная картина открылась передо мною. Его глаза мигали из-за света или мне? Это был не он. Я знал.

Через несколько минут он перестал дышать.

Кто-то накрыл его лицо простыней, пожал мне руку и покинул комнату.

Я вышел, смотрю через большое окно на пасмурный день. Я еще не обследовал последний этаж. Немного подумал, но, в конце концов, повернулся, спустился вниз и вышел на улицу.

ДАФИ

А мы, десятый класс „г“ средней школы на Центральном Кармеле, потеряли во время последней войны нашего учителя математики. Кто мог себе представить, что именно он будет убит. Он не производил впечатления великого воина, а совсем наоборот. Это был маленький, худой и тихий человек, начинающий лысеть; в зимние дни шея его была закутана огромным шарфом, концы которого всегда болтались сзади. У него были тонкие руки, а пальцы всегда в мелу. И именно его убили. А мы-то волновались за нашего учителя физкультуры, который во время войны забегал иногда в школу в военной форме с капитанскими погонами. Прямо кинозвезда с настоящим пистолетом, который сводил с ума всех наших мальчишек. „Как это хорошо с его стороны, — говорили мы, — что в разгар войны он находит время зайти в школу, чтобы успокоить нас и учительниц, не чающих в нем души. Стоит во дворе, окруженный множеством людей и рассказывает вся-

кие истории. Мы просто гордились им, а про учителя математики совсем забыли, он исчез в первый же день войны. И только за два дня до прекращения огня в класс внезапно вошел Шварци, заставил всех встать и сказал со строгим выражением лица: „Ученики, тяжелое известие должен я сообщить вам, наш любимый товарищ, учитель Хаим Недава убит на Голанских высотах на второй день войны, двенадцатого числа месяца тишри. Встанем, чтобы почтить его память”.

И все сделали печальные лица, а он оставил нас стоять в молчании, может быть, целых три минуты, чтобы мы думали только о нем, а потом усталым движением руки сделал нам знак сесть, сердясь на нас, как будто мы виноваты, и пошел, чтобы „поставить на ноги” другой класс. Нельзя сказать, что бы мы сразу же сделали действительно грустными, потому что невозможно так вот просто опечалиться из-за смерти учителя, но мы действительно были ошеломлены и испуганы, потому что помнили, как он совсем недавно стоял живой у доски, терпеливо писал бесконечные примеры, тысячу раз объяснял одно и то же. Честное слово, только благодаря ему получила „очень хорошо” в табеле в прошлом году, потому что он никогда не раздражался, а снова и снова упрямо объяснял материал. Мне достаточно, чтобы кто-нибудь повысил голос или ускорил темп речи, объясняя что-то по математике, и я становлюсь совершенно непроницаемой и тупею до того, что не могу сложить два и два. Он всегда вселял в меня спокойствие, правда, он был ужасно нудным, можно было умереть от скуки, иногда мы просто засыпали на его уроках, но сквозь эту дрему, через облако мела, летающего около доски, формулы проникали в мой мозг.

А сейчас он сам превратился в летающее облако...

Шварци, конечно, использовал его смерть в педагогических целях. Он заставил нас написать о нем сочинения, собрать их в альбом и преподнести его жене на вечер, который он организовал в память об учителе. Ученики девятого и десятого классов, в которых он преподавал, сидели в последних рядах, в середине остались пустые ряды, а в первых

рядах сидели учителя, члены его семьи и его друзья, даже учитель физкультуры прибыл специально по этому поводу, еще одетый в форму и с пистолетом за поясом, хотя уже давно наступило перемирие. А я сидела на сцене, потому что читала наизусть, и, ей богу, с большим чувством два стихотворения, предназначенных для подобных случаев: „Смотри, Земля, насколько мы были расточительны” и „Вот лежат наши тела в длинном ряду”.

А между этими двумя стихотворениями Шварци выдал высокопарную и витиеватую речь, говорил о нем, словно он был какой-то особенной, необыкновенной личностью, почитаемой им втайне.

Потом все пошли и встали у медной доски, которую прибили у входа в физическую лабораторию. И там тоже кто-то сказал несколько слов. Но мы его уже не слышали, потому что удрали через черный ход.

Этот Шварци очень быстрый. В стране еще не успели отслужить панихиды по убитым, а он уже покончил с поминовением.

Тем временем мы забыли не только учителя математики, но и саму математику, так как в течение двух месяцев учили Танах вместо математики. Восемь часов Танаха в неделю, в быстром темпе кончили десять из двенадцати пророков. Ребята смеялись, что ничего не останется нам от Танаха для одиннадцатого и двенадцатого классов, придется учить нам Новый завет.

В конце концов, пришла замена. Молодой парень, студент из Политехнического, такой толстенький и очень нервный, неудавшийся гений, решивший испытать на нас новую математику. Я сразу почувствовала, что то небольшое, что я знаю, исчезает совершенно и улетучивается из-за него.

Сначала мы пытались немного дурачить его, по крайней мере пока он не выучил имена. Я дала ему прозвище Сосунк, которое было принято всеми, потому что он и правда был похож на такого сосунка, я даже сомневаюсь, начал ли он уже бриться. Но он очень скоро завел себе книжечку с

именами и все время ставил там отметки. Мы не очень-то расстроились из-за этой книжечки, потому что учителя сами обычно устают от этого дурацкого метода еще раньше, чем им удастся сломить нас. Но он почему-то с первой же минуты стал приставать ко мне, вызывал меня почти через урок к доске и, если я не знала, оставлял меня стоять и продолжал издеваться. Не то чтобы это меня особенно трогало, у меня нет больших амбиций в отношении математики, но он вдруг начал просто обижать меня. Мое имя он запомнил сразу же, но фамилию усвоил неточно и, конечно, не связал с тем фактором, что мама преподает историю в старших классах нашей школы. Не то чтобы я требовала к себе особого отношения, но просто хотела, чтобы он знал. Но он упорно отказывался понять это, даже после того, как я пыталась разными путями намекнуть ему.

Лишь к концу года, когда между нами разразилась настоящая война и я перед всем классом сказала ему: „Жаль, что не тебя убили вместо нашего прежнего учителя“, — и он побежал к директору, только тогда он понял это, но было уже поздно и для него, и для меня.

АДАМ

Куда только ни попадал я во время своих настойчивых, непрекращающихся поисков. Однажды утром я даже оказался в армейском отделе пропавших без вести. Это случилось зимой в ясный, совсем весенний день. Что-то опротивело мне в гараже. Рабочие-арабы, которые сидят под навесом и едят свои лепешки, смеются и напевают в такт музыке, льющейся из приемников, установленных в машинах. В утренней газете мне попала на глаза статья об армейском отделе пропавших без вести, как он работает, какие в его распоряжении имеются средства, каких успехов он достиг. И вот я уже там, сижу в комнате ожидания около пары тихих стариков.

Я думал, что это дело нескольких минут, сообщить его имя, просто попробовать...

Это было уже после большой суматохи, после возвращения пленных и знаменитых скандалов. Были сделаны выводы из ошибок и создан целый аппарат, размещившийся в больших бараках в роцце около Кирии*. Большинство служащих были офицеры — мужчины и женщины. Там была комната первой помощи с врачом и медсестрами. На столах множество телефонов, а на площади снаружи стоит по крайней мере с десятков военных машин. Я ждал недолго. Женщина-офицер ввела меня в одну из комнат, которая была обставлена не как военное учреждение, а как жилая комната. За письменным столом сидела очень симпатичная женщина в чине майора, а около нее еще две женщины чином пониже. Все они внимательно выслушали мой рассказ.

А история моя была довольно странной.

Разве я мог сказать им, что ищу любовника своей жены? Я сказал — друг.

— Друг? — немного удивились, но как будто вздохнули с облегчением. — Только друг?

— Друг, знакомый.

Они не стали говорить мне, что это я вдруг ищу тут друзей и по какому праву. Лейтенант вынула новую папку и передала ее майору. Там уже было несколько готовых анкет. Какая эффективность, вежливость и терпение!

Я сообщил его имя и адрес, рассказал, как он прибыл несколько месяцев тому назад в страну, упомянул о наследстве и о бабушке, находящейся в больнице в бессознательном состоянии. Они записали каждое слово. Но все это заняло всего десять строк, написанных круглым женским почерком. Я замолчал. Что еще мог я рассказать? У меня не было его фотокарточки, я не знал ни его личного армейского номера, ни номера его паспорта, ни имени его отца. И не было у меня, разумеется, никакого представления о том, в ка-

* Кирия - район в Тель-Авиве, где расположены различные Министерства и учреждения.

кое подразделение он был направлен. Как и раньше, я сказал им: „Может быть, он вообще не добрался до фронта, может быть, вообще не был мобилизован. Это мы, в сущности, послали его в армию. Но со второго дня войны он исчез. Случайно ли это? Может быть, я напрасно занимаю ваше время?“

— Нет, что вы, — запротестовали они. — Надо проверить. У них уже не было так много дел, как раньше.

Молоденькая женщина — младший лейтенант была немедленно послана с этими данными в помещение с компьютерами, две другие вытащили особую анкету для выяснения подробностей и внешних признаков — цвет волос, рост, вес, цвет глаз, шрамы, особые признаки. Я начал описывать его. Ясно, что я никогда не видел его голым. Я только друг. Сказал что-то о его улыбке, о движении рук, о манере говорить.

Они внимательно слушали. У женщины-майора выбилась прядь волос, и она все время отбрасывала ее назад мягким движением, от нее исходил необыкновенный свет, она была очень красива. Говорит тихим голосом, в ее руках маленькие карточки компьютера, она задает мне странные вопросы. Может быть, у него был шрам на правой щеке или золотые зубы в нижней челюсти. Шепотом советуется с лейтенантом, которая подает ей дополнительные карточки. Я понял вдруг: у них есть данные о еще не опознанных трупах, и они хотят предложить мне какой-нибудь труп вместо него.

Но из этого ничего не получилось.

Мне захотелось уйти. Это было сумасшествием искать его здесь. Но ход дела уже нельзя было прервать. Тем временем пришла женщина-офицер, посланная к компьютеру, держа в руках длинный лист бумаги, который выдал ей компьютер и на котором были записаны все возможные Ардити, служившие в армии в последние годы. Только одного из них звали Габриэль Ардити, ему был пятьдесят один год, он жил в Димоне и был освобожден из армии пять лет назад по состоянию здоровья. Они, разумеется, не думают, что это тот человек, которого я ищу, но если я хочу видеть его немедленно, то мне предоставят машину с шофером, чтобы отвезти меня в Димону.

Мне надо как-то отделаться от них.

Может быть, выяснить в больнице, может быть, бабушка сможет сказать что-нибудь.

Они не отстают от меня...

На улице проливной дождь. Небо, которое утром было совершенно ясным, стало серым и тяжелым. Я глубоко погрузился в удобное кресло. Три женщины в офицерской форме внимательно слушают меня. Каждое слово, произнесенное мною, каждая мысль немедленно записываются. Недавно открытая пустая папка теперь не такая уж пустая.

Из соседней комнаты слышатся голоса. Мужской голос заставляет дрожать деревянную перегородку. Он бросает обвинения ясным голосом, с упрямой логикой. Не может согласиться с объяснениями. У него нет никаких иллюзий, но он наверняка знает, что его сын никогда не был в точке (и он произносит длинный номер) и никогда не был в танке номер... (и снова он называет номер, состоящий из нескольких цифр). Он произносит номера бегло, без запинки, наверно, занят ими не одну неделю. Он говорил с его товарищами, говорил с его командирами, у него нет иллюзий, он только хочет узнать правильный номер точки и номер танка, только это. И он давится слезами, а в наступившей тишине начинают окружать его растерянные успокаивающие голоса.

Мы, сидевшие все это время, затаив дыхание и прислушиваясь, снова поднимаем глаза. Я встаю, решил уйти, но меня просят заполнить еще полстраницы — написать мои личные данные. Я оставляю свой адрес, получаю карточку с адресом отдела, номером телефона, именем майора. Обещаю позвонить, если узнаю что-нибудь новое.

Странно то, что я снова посетил это учреждение. Еще по крайней мере два раза. Когда я бывал в Тель-Авиве, чтобы купить запасные части для машин, то проезжал мимо этого дома и заходил туда. За это время отдел несколько уменьшился, машины исчезли, два барака использовались для других целей, но женщины-офицеры еще были там. Та, что была младшим лейтенантом, превратилась в лейтенанта, лей-

тенант — в капитана, а майор носила уже штатскую одежду, она была на последних месяцах беременности и сильно похорошела, коротко постриглась, и от ее открывшейся нежной шеи нельзя было отвести глаз. Они улыбнулись мне, принесли папку с делом, в котором не добавилось ничего существенного, если не считать имени еще одного Ардити, о котором мы немного поговорили, чтобы решить, что он не является человеком, которого мы ищем. Потом они предложили мне еще один или два неопознанных трупа, но я решительно отказался от них.

В начале весны я снова проходил мимо. Отдел совсем исчез. Осталась лишь одна комната в отделении, которое занималось теперь мобилизацией новых людей. Та, что была майором, уже родила и демобилизовалась, капитан тоже исчезла, только лейтенант осталась на месте, читает там журналы с картинками. Она тотчас же вспомнила меня.

— Вы все еще ищете его?

— Иногда...

Я сел перед ней, мы немного поболтали о ее работе. Она тоже должна была демобилизоваться в ближайшие дни. Перед моим уходом она выгащила знакомую мне папку, просто так, для проформы, и мы вместе ужасно удивились, обнаружив в ней новый документ — расписку о получении со склада противотанкового ружья с патронами, подписанную Габриэлем Ардити седьмого октября.

Она сама не знала, откуда появился здесь этот новый документ. Возможно, что секретарша вложила его в ее отсутствие.

Но меня вдруг охватила дрожь. Если это так, то он все-таки прибыл куда-то и получил противотанковое ружье и патроны, если это так, то вполне возможно, что он убит.

Но мы снова уперлись в тупик. Куда мог я идти с этой бумагой? Капитан уже демобилизовалась, отдел закрыт, дела переданы в архив, и я, продолжая искать по дорогам, ничего не сказал Асе.

АСЯ

Я ходила и закрывала дверь за дверью, опускала жалюзи. Адам был в ванной комнате, приделывал большую задвижку к двери балкона. В квартире, к которой добавились две комнаты от нашей прежней квартиры, темно. Старая мебель, которую мы продали или выбросили, вернулась к нам. Мы зажгли свет. А снаружи — ясный хороший день, голубое небо, и из-за просветов жалюзи передо мной предстал двойной вид, открывавшийся из обеих наших квартир, — открытое море, вади, порт с его подъемными кранами и дома Нижнего города. Я волновалась, с беспокойством ждала Дафи, которая должна была прийти из школы. В городе прошла волна убийств, вот на столе лежит газета, и в ней квадрат, выделенный шрифтом с немного устаревшими буквами. Волна убийств в городе, убийцы, сводящие между собой счета, преследуют друг друга, но даже не имеющие к ним отношения граждане, которым, казалось бы нечего бояться, должны остерегаться и запирают свои дома. Люди сами, по своей собственной воле установили для себя комендантский час. А я жду Дафи и мучаюсь оттого, что мы отправили ее в школу в такой день, в день, когда убийцы сводят свои счета в нашем районе. Я смотрю на улицу, она пустынна, ни одного человека, ни одного ребенка. Но вот она появляется, наконец-то, идет одна по пустынной улице, залитой солнцем, за плечами ранец, на ней оранжевая форма начальной школы. Она действительно кажется меньше, будто стала ниже. Вот сейчас она стоит на углу улицы и разговаривает с каким-то пожилым рыжим человеком маленького роста. Спокойно ведет дружескую беседу, улыбается. Она не торопится. А меня снова охватывает дикий ужас, я хочу крикнуть, но сдерживаюсь. Этот человек кажется мне очень опасным, хотя в его внешности нет ничего необычного. На нем широкий летний просторный костюм. Я бегу к другому окну, чтобы лучше видеть их, а они исчезли, оба, но я слышу ее шаги, она входит в дом. Я бегу к ней, наклоняюсь над ней, она действительно стала ниже ростом, снимаю с нее ранец, который привязан к ней с помощью мно-

гочисленных ремней, даю ей пить, привожу ее в ее комнату, снимаю с нее одежду, надеваю на нее пижаму. Обращаюсь с ней, как с маленькой девочкой. Она протестует: „Я не хочу спать“. „Только несколько минут“, — умоляю я, укладываю ее, покрываю одеялом, и она засыпает. Я уже успокоилась, закрываю дверь ее комнаты, выхожу в гостиную и вижу Адама, который стоит у входной двери и смотрит на меня. Дверь осталась открытой, Дафи забыла закрыть за собой дверь. Вдруг я понимаю. Он проник вслед за ней, он вошел сюда, он здесь. Я не вижу его, но знаю — он здесь. Адам тоже знает и начинает искать его. Я бегом возвращаюсь в комнату Дафи. Она погружена в глубокий сон, тяжело дышит. И снова она кажется мне очень маленькой, может быть, семилетней девочкой, под большим одеялом чувствуется пустота, занимающая половину кровати. Она становится все меньше. Я слышу шаги Адама в гостиной, я выхожу к нему, его лицо сияет.

— Конечно, — шепчет он улыбаясь.

—Что?

И я иду за ним, колени мои подгибаются, в другие комнаты, в комнаты старой нашей квартиры, старая детская комната, игрушки, машины, большой медведь на синем комод, а под старой складной детской кроватью, с приклеенными к ней изображениями птиц, со сломанными нанизывающимися шариками, лежит кто-то, труп, покрытый одеялом. Голова выглядывает, и я различаю красноватые подстриженные волосы на толстой шее. В некоторых местах проглядывает седина. Адам убил его, как убивают насекомое. Потому что это был один из убийц, которые бродили по городу. Адам сразу же узнал его. Убил его одним ударом, не оставив внешних признаков. На одно мгновение я почувствовала жалость к этому лежащему мертвому человеку. Почему? Кто просил Адама ввязываться в это дело. Не спросив, не посоветовавшись, почему он убил его так быстро, как успел? И вот теперь и мы вступили в эту круговерть убийств, господи, что же это он наделал? Я ощущаю ужасный гнет, сердце перестает биться, кто просил его? Такая страшная ошибка, вся наша жизнь

будет разрушена. Как объясним, как оправдаемся, никогда не сможем мы избавиться от этого тяжелого тела. Ну и идиот, хочу я крикнуть, смотрю на него, улыбка уже исчезла с его лица, он стал серьезным, подавленным, начинает понимать, что он наделал. Старается спрятать среди игрушек большую отвертку, которую держит в руке. Ой, что же ты наделал...

ДАФИ

Интересно, а видит ли она иногда сны? Разрешает ли она себе напрасно тратить время сна и отдыха на пустые сновидения, лишённые смысла?

По ночам я тихо вхожу в их спальню посмотреть на них спящих. Мои родители! Те, кто произвел меня на свет! Папа лежит на спине, его борода разметалась по подушке, рука бесильно свесилась с кровати, кулак слегка сжат. Мама повернулась к нему спиной, скорчилась, наподобие зародыша, лицом уткнулась в подушку, как будто хочет спрятаться от чего-то.

Видит ли она сны? О чем они? Наверняка не обо мне. Занятая по горло женщина, сгибающаяся под тяжестью долга.

Мамы нет — это я поняла в последний год. Мама отсутствует, даже если она находится дома. И если появится у меня желание поговорить с ней откровенно в спокойной обстановке, то надо будет заказать беседу заранее и точно указать время — без пятнадцати четыре после обеда или между десятью минутами девятого и восьмью и сорок двумя минутами вечером. Мама гонится за временем.

Она работает на полной ставке в моей школе, преподает историю в старших классах, подготавливает три двенадцатых класса к экзамену на аттестат зрелости. На ее рабочем столе всегда куча ученических работ и контрольных. Целыми днями она сидит и проверяет контрольные. Несчастные ученики — мама обожает устраивать контрольные. Она испытывает особое удовольствие, когда пишет „неудовлетворительно“ своей красной ручкой в одиннадцать часов ночи.

Но и себя она не щадит, она тоже пишет работы и контрольные. Она до сих пор учится и не собирается прекращать свое учение никогда. Все время бегаёт в университет на всякие научные заседания, на лекции, на курсы усовершенствования учителей. Она занимается в аспирантуре, пишет исследования, сдает экзамены.

Сорокапятилетняя женщина, с остреньким, но нежным птичьим лицом, с красивыми глазами. Она принципиально не пользуется косметикой, в ее собранных в пучок волосах проглядывают серебряные нити, но она не будет красить волосы, тоже из принципа. Любит одежду, вышедшую из моды, широкие юбки неопределенной длины, темные шерстяные платья, как у религиозных, туфли на низком каблучке. С ее длинными красивыми ногами могла бы выглядеть в полном порядке, но она не хочет отвлекать людей от их важных дел, обращать на себя их внимание. И это тоже из принципа.

Мы живем тут, следуя нескольким главным принципам.

Например, не пользуемся услугами домработницы, потому что это непорядочно, чтобы кто-то вместо нас убирал нашу квартиру и варил нам обед, даже если этот кто-то зарабатывает при этом немного денег. Поэтому мама занимается и домашним хозяйством со рвением, но непостоянно.

Существует ли на свете дом, где моют пол в девять часов вечера? Да, у нас. Папа и я тихо отдыхаем в креслах у телевизора, чтобы немного понаслаждаться, глядя на этого лысого Кожака, после портящих настроение новостей, и вдруг появляется она, в фартуке, с тряпкой и ведром, заставляет нас поднимать ноги, чтобы помыть пол под нами, работает тихо, но с каким-то сдержанным остервенением, не просит помощи и не получает ее, опускается на колени и трет пол.

„Революционная женщина“, — сказал как-то папа смеясь, и я тоже смеялась, хотя и не знала, что он имеет в виду.

Если она варит, то сразу на несколько дней. В десять вечера, возвратившись с педсовета, она идет на кухню, достает кастрюлю, разрезает на части две курицы и ставит варить. Пища на две недели для ее семьи. Ей просто повезло, что

есть у нее только одна дочка, которая к тому же не очень-то любит приготовленную ею еду.

Утром, когда я захожу на кухню, чтобы позавтракать, мне приходится пристраиваться между контрольными учеников двенадцатого класса (мне, конечно, нельзя заглядывать в них) и обезглавленной рыбой, обваленной в муке и фаршированной луком, готовой к обжариванию, которая предназначена для субботней трапезы.

Необыкновенная эффективность...

Неудивительно, что ее внезапно охватывает страшная усталость, и в восемь часов вечера она погружается в глубокий сон. Больше всего она любит спать сидя перед телевизором, свернувшись в кресле калачиком. На экране идет кровавая перестрелка, а она спит себе в свое удовольствие час или два, пока папа не начинает уговаривать ее встать и пойти в кровать. Она открывает глаза, медленно просыпается, встает и идет проверять контрольные.

Иногда мы пытаемся помочь ей в домашней работе. Даже я встряхиваюсь. Только пока я уберу стакан и вымою ложку, вся работа уже сделана. У нас просто с ней разный ритм.

Поэтому я на его стороне, хотя он кажется неразвитым, примитивным из-за своей молчаливости. Ходит в рабочей одежде, с грязными руками. Это здорово, что он отрастил себе такую бороду, лохматую, как у древнего пророка или художника. Что-то особенное, не как у всех, по крайней мере не похож на простого рабочего. Когда я училась в начальной школе, я стеснялась того, что он не похож на других. Если меня спрашивали: „Где работает твой папа? — я по простоте душевной отвечала: „Папа работает в гараже“, — и тут же чувствовала, что мой ответ несколько разочаровывает людей. Тогда я стала говорить, что папа владелец предприятия.

А меня спрашивали: „Какого предприятия?“ „Гаража“, — отвечала я. И тогда мне начинали объяснять, что гараж это не предприятие. А я говорила: „Большой гараж“. И действительно, у него огромный гараж. Как-то в каникулы я пошла туда с Тами и Оснат, и они были поражены, когда увидели,

сколько там машин и как десятки рабочих носятся там — жужжащий улей.

Но потом я подумала — черт возьми, почему это я должна оправдываться, для чего прибавлять слово „большой“, как будто я защищаю его. И стала отвечать коротко: „У папы есть гараж“, — а если кто-нибудь особенно действовал мне на нервы этим своим вопросом, я отвечала просто: „Мой папа гаражник“, — и смотрела тому прямо в глаза, весело улыбаясь, замечая его недоумение. Потому что у нас в классе большинство родителей профессора Политехнического или Университета, инженеры, ученые, служащие больших фирм и офицеры.

А что плохого в гараже? Мы никогда не оставались без машины, и более того, мы единственная семья, которая владеет двумя машинами. У нас в классе есть даже такие, у кого нет ни одной машины. И, кроме того, у папы много денег, хотя по нашему виду это не заметно. Это я поняла в последние месяцы. Я думаю, что даже мама не представляет, сколько денег у папы. Несмотря на все ее образование, есть вещи, которые она, очевидно, не понимает.

Странная пара. Я удивляюсь, как они вообще сошлись. Чего они хотят? Я не помню, чтобы я видела, как они обнимаются или целуются. Почти не разговаривают.

Но и не ссорятся...

Как чужие...

И это называется любовь?

Я допытываюсь снова и снова у обоих вместе и у каждого в отдельности, как они познакомились. И у обоих был всегда один ответ. Они много лет учились в одном классе. Но ведь это не может быть причиной для того, чтобы быть вынужденными всю жизнь провести вместе и рожать детей.

Когда они учились в школе, они не были такими уж друзьями, папа бросил школу в десятом классе. Он напоминает мне об этом всякий раз, когда я спрашиваю его что-нибудь из уроков. Мама, конечно, продолжала учиться. Через несколько лет они встретились снова и поженились.

Как будто их кто-то заставлял.

Когда они, например, делают это? Если они вообще делают это.

Я за стеной не слышу даже шороха...

А ночью я иногда брожу по дому...

Странные мысли приходят мне в голову, может быть, грустные мысли.

Иногда меня охватывает страх — может быть, они хотят разойтись и оставить меня одну, как Тами, папа которой исчез несколько лет тому назад, и она осталась с матерью, которая ее терпеть не может.

Я слышу их дыхание. Папа тихо вздыхает. В окне первые признаки рассвета. Мои глаза, привыкшие к темноте, различают каждую мелочь. Ноги подкашиваются от усталости. Иногда у меня возникает желание залезть к ним в кровать и, балуясь, улечься между ними под одеяло, как я делала, когда была маленькой.

Но теперь это уже невозможно...

Слышится слабое чириканье птички, проснувшейся в вади...

АДАМ

Как описать ее? С чего начать? Просто — цвет глаз, волос, манера одеваться, черты характера, манера говорить, рост, ступни ног. С чего начать? Жена, так хорошо знакома, не только двадцать пять лет совместной жизни, но и годы до этого, детство, юность, со дня, когда я помню себя в первом классе в маленькой школе около порта, маленькие бараки, зеленые и теплые, из которых доносится запах молока и гнилых бананов, качели, выкрашенные в красный цвет, большая песочница, остов автомобиля с огромным рулем, разрушенная ограда. Вечно летние дни, даже зимой. Я еще не отделяю себя от мира, как на поблекшей фотографии, где она сидит среди детей. Иногда мне приходится искать ее, есть периоды, когда она исчезает, но потом вновь появляется — маленькая худенькая девочка с косичками сидит передо мной, или сзади, или сбоку и сосет палец.

И даже теперь, когда она погружена в чтение, я вижу ее сжатый кулачок около рта, и только большой палец медленно двигается в каком-то беспокойстве — напоминание о днях, когда она с увлечением сосала его. Она не поверила мне, когда я сказал ей как-то, что помню, как она сосала палец.

— А я вообще не помню тебя в тот период.

— Но ведь я был все время с тобой в одном классе.

Смешные странные рассказы о тех годах, когда мы вместе сидели в одном классе в основном, чтобы удовлетворить любопытство Дафи, которая время от времени пристает к нам с вопросами о том, как мы встретились, почему связали нашу жизнь, что чувствовали. Ей кажется странным, что многие годы мы учились вместе и не знали, что, в конце концов, поженемся.

Не загадочность женщины, возникающей вдруг из тумана, когда ты помнишь первый миг, в который увидел ее, и первые слова, которыми мы обменялись. Ася всегда была около меня, всю жизнь, как дерево во дворе, как море, которое видно из окна.

В седьмом классе, когда мальчишки начали влюбляться, я тоже влюбился, но не в нее, а в тех двух или трех девочек, в которых влюблялись все. Влюблялись не потому, что хотели любить, а чтобы освободиться от какого-то гнета, от какого-то долга, который как бы возложен на тебя. Влюбиться, чтобы освободиться для настоящих и важных дел — экскурсий, игр и событий, происходящих вокруг. Вторая мировая война была в разгаре, и везде были войска, солдаты, пушки, военные корабли, и все это требовало глубокого внимания. Она не относилась к тем, кто был избран для любви. Тихая девочка, некрасивая, отличница, у которой нам приходилось иногда списывать уроки. Утром до начала занятий мы бывало ждем ее, чтобы посмотреть в ее тетради, которые она давала, хотя и безотказно, но с каким-то хмурым выражением лица. Смотрит, как списывают у нее ее интересные мысли: удачные ответы, иногда нетерпеливо объясняет, о чем речь.

Я списывал не у нее, а у тех, кто списывал у нее. Уже тогда, перед окончанием начальной школы, я стал плохо учиться, и не потому, что был неспособным, а потому, что дома уже сказали мне, что я не буду продолжать учебу, а придется мне работать с отцом в гараже. Уже тогда после уроков я должен был помогать ему, подавать инструменты, мыть машины, менять колеса. Для чего было мне прилагать старания к учебе, которая все больше казалась не имеющей никакого отношения ко всему тому, что было моей действительностью.

Но девятый класс я все-таки закончил. Уже тогда в классе образовались первые пары, но мне не доставляло неудобства быть влюбленным в кого-то, у кого уже был друг, наоборот, это было спокойнее, освобождало от обязанности ухаживать, унижаться, оказывая излишнее внимание на переменах. Можно было любить издали, без забот, и только когда дружба распадалась и девушка оказывалась свободной для новых предложений, меня охватывало какое-то беспокойство, меня лихорадило, словно моей обязанностью было сейчас попытаться начать; но я оттягивал, ждал, может быть, кто-нибудь другой...

В то время появился в классе новый репатриант, мальчик из „детей Тегерана“*. Сирота. Звали его Ицхак. Учителя поручили Асе абсобировать его, помогать ему в учебе, в приготовлении уроков. Он сразу же откровенно влюбился в нее, все время смотрел на нее любящим взглядом, преклонялся перед ней. Что-то смущало всех нас в этой открытой любви в устаревшем европейском стиле. Она относилась к нему терпеливо, ходили слухи, что она только „жалееет“ его, но она оказывала ему много внимания. Стоит, бывало, с ним на переменках и долго беседует. У меня не было с ней никаких отношений, но в классе чувствовалось, что эта любовь дала ей силу, улучшила ее положение. Я вспоминаю, как во время

* Дети из Восточной Европы, которым удалось избежать уничтожения, так как они были переправлены в Палестину через Тегеран во время 2-й мировой войны.

урока физкультуры у девочек, мы, мальчишки, сидим на заборе и смотрим, как они играют в волейбол. Мы уже начали смотреть на них иначе, исследуем их беспрестанно, и тогда я заметил впервые, какие у нее тонкие и стройные ноги, но она еще не начала носить лифчик, а нас интересовала только грудь, это было самым главным, иногда мы ставили стул под таким углом, чтобы через открытый рукав можно было посмотреть на этот заветный кусочек мяса.

В конце девятого класса перед окончанием мы поехали в лагерь в Галилейские горы вместе с учителями и директором. Лагерь был огромный, в нем собрались все девятые классы города. Официальной целью было знакомство с окружающей природой, но была использована возможность заняться с нами допризывной подготовкой. Главнейшей программы было ночное дежурство. Поскольку девочки тоже хотели охранять лагерь, то было решено сторожить парами. И это создало некоторое напряжение, особенно когда дело дошло до установления пар. На вторую ночь я обнаружил, что должен дежурить вместе с ней, и тогда ко мне подошел этот парень, новый репатриант, и попросил меня поменяться с ним. Я, конечно, немедленно согласился. Под вечер она подошла ко мне, чтобы показать мне место, где она спит в палатке, и попросила разбудить ее, потому что она спит так крепко, что может проспать дежурство. Я сказал ей сразу же что не буду дежурить вместе с ней, потому что Ицхак просил меня поменяться с ним.

Она покраснела от злости.

— Что это вдруг? И ты согласился?

Я начал бормотать, что думал, что она хочет этого.

— Почему это ты должен думать за меня. Если ты не хочешь дежурить со мной — это другое дело...

В ее словах была какая-то сила, не вязавшаяся с внешностью этой маленькой тихой девочки. Мне кажется, что до того момента я не разговаривал с ней наедине. Я был ужасно смущен, мне не хотелось впутываться в эту любовь нового репатрианта.

— Но ведь он просил... — добавил я нерешительно.

— Скажи ему, что я пока еще не его жена.

Я засмеялся. Что-то в ее гордом и решительном поведении казалось мне правильным. Я сообщил ему. Он казался несчастным. В глазах его стояли слезы. Я презирал его за его откровенную и несчастную любовь.

В час ночи меня разбудили. Я вышел из палатки и ждал ее. Прошло десять минут, а она не появлялась, я тихонько вошел в палатку девочек, чтобы разбудить ее. Может быть, в этот момент разгорелась во мне мысль о любви. В палатке темно, я пробираюсь среди тесно лежащих девчоночьих тел, чувствую запах их дыхания, смешанный с легким запахом духов, дотрагиваюсь до свернувшейся калачиком девчонки, стаскиваю с нее одеяло, в свете луны вижу ее ноги в коротких штанах, волосы, разметавшиеся вокруг, нагибаюсь, чтобы коснуться ее лица. Может быть, это была первая девочка, до которой я дотронулся намеренно и совершенно свободно. Я трясусь, произношу шепотом ее имя. И в это время мне показалось, что она погружена в сновидение, что я прерываю ее сновидение. В конце концов, она открыла глаза и улыбнулась мне, потом зажгла большой армейский фонарь, лежавший рядом с ней. Я стоял около нее как загипнотизированный. Смотрю, как она надевает свитер и брюки, спрашивает, какая погода. Девочки вокруг меня задвигались, стали бормотать что-то. Одна из них вдруг проснулась и увидела меня. „Кто это?“ — закричала она, и я сразу же выскользнул из палатки. Через несколько минут вышла Ася в армейской штурмовке, поразившей меня. У нее вообще были разные армейские принадлежности, которые давал ей отец, имевший отношение к управляющему аппарату, как я смутно знал, занимавшийся делами государственной безопасности. Мы стали ходить между большими палатками, время от времени скользя по дикой траве и кустам тяжелыми оструганными палками. Потом мы сели на камень в конце лагеря и стали смотреть в сторону скрытого в темноте вади, которое она время от времени освещала своим фонарем, шаря по нему сильным лучом света.

Мы сразу разговорились, как будто подготовили беседу заранее. Я все время смотрел на нее, изучал ее, пытался решить, стоит ли влюбиться в нее, уже влюбляясь в нее. Она говорила об учителях, об учебной программе, спрашивала, что я думаю об этом. У нее были определенные, твердые взгляды, очень критические. Она была против формы обучения, против изучаемого материала и самое главное — против учителей. Я удивился, ведь в классе она была тихой и очень дисциплинированной, и учителя любили ее. Я и не предполагал, что она втайне презирает их. Я рассказал ей, что ухожу из школы, что буду работать с отцом в гараже. Она отнеслась к этому с восторгом, позавидовала мне, что я вхожу в жизнь теперь, когда происходят большие перемены, когда с окончанием войны назревает настоящая революция. Если бы она могла, она бы тоже оставила школу...

В ней было что-то неопределенное, эти ее путаные, но смелые идеи, что-то чуждое мне, интеллигентность на грани болтливости, но мне было довольно интересно. Мы говорили и говорили и не заметили, как прошла половина времени нашего дежурства, как вдруг набросился на нас учитель физкультуры, ответственный за охрану, выхватил зажженный фонарь из ее рук и бросил его на землю, приказал нам замолчать, лечь на землю на расстоянии друг от друга и тихо следить за врагом.

Когда он исчез, и мы еще лежали на земле, наполовину разозлившись, а наполовину развеселившись, и я сказал ей: „Когда я разбудил тебя, ты ведь видела сон“, — и она ужасно удивилась. „Откуда ты знаешь?“ — не отставала она от меня, хотела знать, как это я в темноте палатки сумел догадаться, что она видит сон, а потом рассказала мне сон. Что-то о своем отце.

Дежурство кончилось, мы вернулись каждый в свою палатку. Я взял ее фонарь, чтобы попытаться исправить его. На завтра во время учений и экскурсий мы не обменялись ни словом, так что было у меня пока время, чтобы решить, влюбиться мне в нее или нет. После обеда я отдал ей починенный фонарь. Она благодарит меня, намеренно дотрагивается

слегка до моей руки, хочет поговорить со мной, но я ускользнул, смущенный, еще колеблюсь, боюсь унижить себя.

К вечеру пропал Ицхак, сирота. Он исчез, очевидно, еще в полдень, но только вечером заметили его отсутствие. Все учения и мероприятия были отменены, мы все, даже ученики других школ отправились на его поиски. Идем цепью по горам, осматриваем каждый куст, каждую трещину, а самое главное кричим не переставая, зовем его по имени. Поисками руководил директор, кричит, сердится, идет между нами, бледный, подавленный. А она вдруг оказалась в центре внимания. Все обвиняли ее, смотрели на нее с любопытством, даже ученики других школ приходили посмотреть на нее. Все уже знали причину его исчезновения. Ее снова и снова вызывали к директору, чтобы выяснить о нем всякие подробности. Директор стоял и кричал на нее, будто она виновата в том, что не ответила ему взаимностью.

Утром прибыли два английских полицейских с собаками, очень довольные расхаживали по лагерю в поисках оружия. Через несколько минут нашли его. Он спрятался в маленькой пещере в ста метрах от лагеря. Собака заставила его вылезти оттуда. Он вышел, горько плача, крича со своим галутским акцентом: „Не убивайте меня!“ Упал на колени перед директором и перед ней. На него невозможно было даже кричать, таким он был жалким. Ей приказали не оставлять его, утешать его, я не мог подойти к ней до самого конца нашего пребывания в лагере.

Но, очевидно, я заразился его безнадежной любовью. В дни каникул я все время думал о ней, по вечерам бродил около ее дома, искал встречи. Я уже начал работать в гараже полный день и не записался в школу на следующий учебный год. Отец становился все слабее, ему уже было не под силу отвернуть некоторые болты, большую часть работы приходилось делать мне. Он сидел на стуле около машины и объяснял мне, что надо делать. Иногда, если выдавалось свободное время, я подходил к школе, как был — в грязной рабочей одежде. Сидел на ограде и ждал перемены, чтобы

увидеть друзей, пытался сохранить связь с ними. Ищу ее, иногда вижу ее урывками, но не успеваю завязать с нею настоящую беседу, тем более, что этот Ицхак все еще ходит за нею по пятам, и она остерегается из-за него. Очевидно, они все-таки дружили. Постепенно я перестал приходить в школу, оборвал все связи, работа в гараже занимала все больше и больше времени. Вдруг прежние друзья стали казаться мне какими-то детьми со своими книгами и тетрадями и со своими рассказами об учителях.

Посреди десятого класса она исчезла. Ее семья переехала в Тель-Авив. Иногда в газетах упоминалось имя ее отца как одного из тех, кто руководил за кулисами, имея отношение к службе безопасности. За несколько месяцев до образования государства в стране усилились волнения. Я пытался учиться по вечерам, хотел подготовиться к экзаменам на аттестат зрелости экстерном, но оставил это дело.

В начале войны за независимость отец умер, а меня мобилизовали, и я работал в мастерской — подготавливал броневики к войне; ее я не видел в течение нескольких лет.

Только в конце войны мы увиделись снова во время встречи учеников старших классов нашей школы. Невозможно было пригласить только тех, кто действительно закончил ее — многие оставили учебу, как я, посреди дороги, пошли учиться специальности, были мобилизованы в армию, некоторые погибли во время войны.

Это должно было стать знаменательным событием. Торжественное заседание, банкет, речи, пение у костра до рассвета. Сначала я не узнал девушку, которая подошла ко мне. За эти годы, что мы не виделись, я сильно вытянулся, и она показалась мне вдруг маленькой.

— Как поживает революция? — сказал я в тот же миг, улыбувшись.

Она казалась удивленной. Потом улыбнулась.

— Еще настанет... еще настанет...

С этого момента она не отходила от меня. Мы оба чувствовали себя там чужими. Ведь мы оставили эту школу еще в де-

сятом классе. Со многими мы не были знакомы. Многие уже были семейными и привели с собой жен и мужей. Мы сидели сбоку в одном из последних рядов зала и слушали длинные речи. Она все время шептала мне на ухо, рассказывала о себе, об учебе в педучилище. Когда мы встали, чтобы почтить память погибших, и слушали, опустив голову, длинный список имен, среди которых был и Ицхак, я посмотрел на нее. Она стояла с опущенной головой, даже не моргнула. Я не знал, что делать, она не оставляла меня весь вечер, переходила со мной с места на место, сидела около меня, старалась не вступать в длинные беседы с другими. Имя ее отца часто повторялось в то время в новостях в связи с каким-то темным делом, с каким-то поспешным и жестоким распоряжением. Он был отстранен от должности, требовали предать его суду, но, в конце концов, отказались от этого, учтя прежние заслуги.

Может быть, в этом крылась причина ее чрезмерной чувствительности в разговорах с людьми и ее решения покинуть вечер посреди торжества и вернуться домой в Тель-Авив. Она попросила меня проводить ее на автобусную остановку. Я подвез ее на своей машине, старом „морисе” отца без заднего сиденья, загроможденном всякими инструментами, запасными частями моторов, баками из-под бензина. Мы стояли и ждали автобуса на пустынной остановке в Нижнем городе. А она все придвигается ко мне, говорит о себе, спрашивает о моих делах. Она помнит, как мы дежурили вместе и что говорил я ей тогда. А автобуса все нет. Я решил отвезти ее в Тель-Авив на своей машине. Мы приехали туда после полуночи. Маленький скромный дом, окруженный запущенным садом, на юге Тель-Авива. Она настояла, чтобы я остался ночевать у них. Я согласился, мне было любопытно увидеть ее отца. Внутри дом выглядит мрачным, во всех углах комнаты навалены огромные груды газет. Ее отец вышел к нам, волосатый человек, выглядевший более старым и маленьким чем на газетных снимках, с тяжелым лицом. Она сказала ему что-то обо мне, он рассеянно качнул головой и исчез в одной из

комнат. Я думал, что мы еще посидим и поговорим, но она постелила мне на диване в гостиной, дала мне чистую пижаму своего отца и отправила меня спать. Сначала я не мог уснуть. Я был взбудоражен резким переходом от шума вечера, речей, встреч со старыми друзьями к этому мрачному тихому дому между остатками апельсиновых плантаций на юге Тель-Авива. Но, в конце концов, я уснул. В три часа ночи я услышал, что кто-то бродит около моей постели. Это был ее отец в штанах цвета хаки и рваной пижамной рубашке. Наклоняется над приемником, крутит ручку, переходит со станции на станцию, передачи Би-би-си, передачи на русском, венгерском, румынском, на языках, которые я и вовсе не мог определить. Ловит станции просыпающегося Востока, послушает немного и переходит на другую станцию, не открывая глаз, наверно, привычка, от которой он не может избавиться, со времени, когда он был начальником информационной службы. А может быть, он ищет что-то касающееся его, какие-либо комментарии о его деле из чужих и далеких источников. На меня он не обращал никакого внимания, словно меня не существовало. Его совсем не трогало, что он заставил меня встать с постели, а я совершенно разбитый сижу около него молча, слушаю вместе с ним.

В конце концов, он выключил приемник. Я посмотрел на его серьезное строгое лицо.

— Ты тоже учишься в педучилище?

Я рассказал ему, чем я занимаюсь.

— Как фамилия твоего отца?

Я сказал ему.

Он сейчас же сказал, что отец умер полгода тому назад, хотя мы и не поместили объявления в газете о его смерти из-за того, что шла война. Он сразу же добавил несколько сухих фактов об отце, совершенно точных.

— Вы знали его? — удивился я.

Нет, он никогда не видел его, но знал о нем все, как будто его личное дело лежало перед ним.

И он оставил меня в покое.

Но я уже не мог уснуть. В пять утра встал, сложил простыни, мне нужно было вернуться в Хайфу, чтобы в семь утра открыть гараж. Только несколько месяцев назад я возобновил работу в гараже, который был закрыт все время войны. Конкуренция в то время была тяжелой. Надо было прилагать огромные усилия, чтобы не растерять клиентов.

Я вышел на улицу. Летнее сероватое утро. Дымка. Я побродил по запущенному саду, голодный, всклокоченный из-за того, что было неудобно спать, небритый. Разносчики газет один за другим проходят по улице и бросают на порог дома все газеты, которые выходят в государстве на разных языках. Я хотел попрощаться с ней прежде, чем уеду, но не знал, где расположена ее комната. Потом постучал тихонько в одно из окон.

Прошло немного времени, и она вышла ко мне, причесанная, в легком утреннем платье, со свежим лицом. Она подошла ко мне и сразу же произнесла серьезно и почти торжественно: „Ты снился мне“. И она рассказала мне сон, ясный, последовательный, логичный, почти невозможный сон. Сон, который можно было растолковать так, как будто она прямо сказала мне: „Я готова выйти за тебя замуж“.

Окончание в следующем номере.



Элла КРЫЛОВА

AUTUMNUS SPIRITI

1

Глупые напрасные люди,
ищут, ищут, и себя-то не находят,
в складках собственной одежды блуждая,
как в песках ливийских.
А спроси их: что потеряли?
не слоновой ли кости зубочистку?
серебра испанского денарий? —
так посмотрят, будто раб ты нерадивый
или — хуже того — прокаженный.
Разве можно сыскать то, чего не знаешь
ни примет никаких, ни назначенья?
Мутную воду рассудка
переливают из чаши в чашу,
сквозь волосяное процеживают сито,
а что после остается —
за великую мудрость почитают.

Пригляделись бы, коль уж так дотошны,
к камешку, что коробит их походку,
забиваясь в сандалии,
сладко пахнущие разогретой кожей, —
вдруг как в нем — божественный оракул,
истины всей средоточье?

2

„Мертвее мертвого я спала
и будто сама себе снилась.
Телом своим не владела, владел им, кто хотел.
А я на людей глядела,
как сквозь шаль из рыбьих чешуек —
на закатное солнце,
и было их жалко,
порою — до отвращения,
как змею, что свой хвост глотает.
А себя мне не было жалко
и не было стыдно, —
разве мертвой может быть стыдно?
А когда Ты вошел в наш город,
я как будто очнулась,
но это было больнее,
чем плод изгонять из чрева.
Ах, разве я знала, кто Ты,
и зачем в руках моих миро,
и о чем я так страшно рыдаю —
ничтожная пред безмерным”.

— Теперь ты знаешь, Мария:
меж нами нет разделенья.
Покаянные слезы
лучше вод иорданских
очищают грешную душу.
Блажен, кто, узрев, поверил,
но тот во сто крат блаженней,

кто полюбил, не зная,
 угадав, не ошибся.
 Много ему простится,
 большее бы простилось.
 Воистину, смерть не коснется
 чистой Моей невесты.

3

Кто в начале был —
 будет и в конце.
 Трижды сгинув, однажды — родится.
 Золотой колокольчик —
 на каждой овце.
 Да и негде в мире заблудиться.
 Нас немного.
 И все мы, как есть, на виду
 в поднебесном своем аду.

А того, кто прячется,
 не станут искать,
 но вина и хлеба
 на пороге оставят.
 Потому что распятое солнце
 взойдет опять,
 и железные льды растают.
 Затрещит скорлупа, обнажая нутро
 порожнее или —
 ядро:

только боль неизбывна, она одна
 чудом венчана, —
 прочее — тлен и мусор.
 Знает темное сердце
 ее заповедные имена,
 сердце знает,
 и строгая знает Муза.

И, прозрачной жизни
 слагая гимн,
 предпочтет их
 младшим
 благим.

4

„Мое существование имеет
 предел, вот почему я говорю,
 что существую — цельный и отдельный.
 Меня по имени окликнуть можно,
 лицо мое не спутаешь с другим,
 хоть есть похожие, — как ни просты
 его черты, а все ж неповторимы.
 И я люблю Тебя, но я люблю
 иначе, например, чем Иоанн,
 не меньше и не больше, но — иначе.
 Мы существуем, видимо, постольку,
 поскольку отличаемся от прочих
 людей, вещей, животных и земли,
 слияние с которой означает
 погибель плоти — смерть, уничтожение.
 Что, если и душа находит свой
 конец по возвращении в Плерому?“

— Ты рассуждаешь о конце, но разве
 постиг начало, разглядел исток?
 Земные формы сотканы из праха,
 так ветер поднимает пыль столбом:
 мгновение — и рухнет колоннада.
 Век человеческий не дольше суток,
 отпущенных для жизни мотыльку.
 Но если Дух Святой и неделимый —
 твоя родная Матерь, то тогда
 ты не рожден, ты есть и ты пребудешь

во веки. Жизнь и смерть — слова, и только
 Рассудок — пленник языка, напрасно
 он рыщет в лабиринте силлогизмов
 и антимоний, рано или поздно
 рассчитывая истину добыть.
 А истина внутри тебя и вне
 и, между прочим, вовсе не таится,
 доступна каждому, однако нужно
 уметь прозревать ее, Филипп.

5

„Целую неделю постился.
 Снеди уста не касались.
 Избегал трактиров и базаров,
 чтоб не видел глаз и нос не чуял,
 как подумает, запах — тоже пища.
 Только время от времени горло
 прополаскивал чистой водою.
 А вчера под деревом уснул я,
 прямо в рот мне спелая смоква —
 чуть не задохнулся — упала.
 Хоть и голоден я был, как собака,
 и в глазах все барахтались бараны,
 все румянились, лоснились от жира,
 все ж я не поддался искушенью,
 выплюнул ягоду и сразу
 поспешил сюда, ликуя сердцем”.

— Обознался ты, братец, дорогу
 перепутал! Лоскутное одеяло!
 Иди, покажись флейтисткам,
 они любят пестрые тряпки.

6

Истина —
 полнота пустая,
 не войти, не выйти — открыта.
 В ней не больше смысла и тайны,
 чем, к примеру, в акридах
 или в том, что их предпочел Предтеча
 хлебу и ягодам винным.
 Истина —
 междуречье речи,
 бессердечная сердцевина.

Незачем искать ее, к ней стремиться:
 вот она, никогда не терялась:
 с толку сбившая очевидца
 необъятная малость.

Напрасно познание — по знаку погоня,
 охота за тенью оленя.
 Высшая мудрость приходит легко и
 внезапно, как озаренье.
 Чистое зеркало не осквернится
 и чище не станет тоже,
 как есть, отражая убийцу, блудницу,
 лик ангельский или Божий.
 Бесстрастно глядит оно, будто выпав
 из круговорота земного.
 И только дух совершает выбор,
 отличая доброе от дурного.
 Любимый Софией, он спутает разве
 с откровением мнимость,
 в грязь затоптанный жемчуг — с грязью,
 с терпением —
 амариллис...

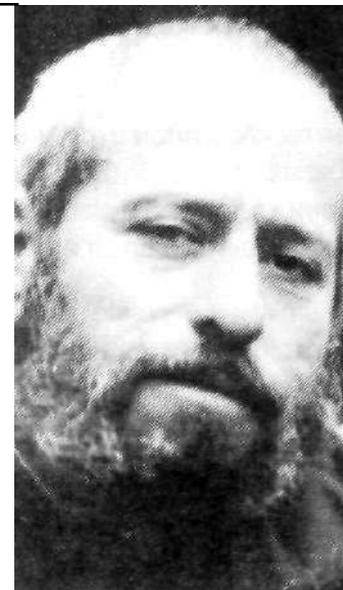
7

Как себя ни дроби,
ни дари и в колодцах каких ни топи —
снова глину сомнут,
голубиною склеют слюною,
потому что ты чашу свою недопил
и остался негодным слугою.

Как себя ни копи,
ни учи и ни преумножай,
золотое зерно, говоря, прорастает крылами,
все равно ты не знаешь, какой урожай
соберет триединое Пламя.

Все равно:
отрицай, уверяй, что пусты небеса,
присягай нищете
или пурпур прими, как крещенье,
никому,
на цветочных качаясь весах,
не избегнуть
Суда и —
Прощенья.

1990 — 1991



А.ЛЕИН

ВЕНОК СОНЕТОВ

1

Весны триумф — в зеленом платье май
Аккорды грома — добрая примета,
Дороги открываются на лето,
Где ждут с теплом обильным закрома.

И первый дождь пахучий и лохмат,
И радуются взрослые и дети,
Когда в зеленых листьях на рассвете
Лежит росы алмазной бахрома.

Находят вдохновение слова,
Как влагу в поле, юная трава.
И радугую день уже расцвечен,

Мечтается и дышится легко.
Как будто между веток молоко —
Цветы каштанов стройные, как свечи.

2

Цветы каштанов стройные, как свечи,
 Зажгла так неожиданно весна,
 Тоски холодной лопнула казна,
 Откуда деньги брал я каждый вечер.

И я в пути запутывался млечном,
 Бежал от изнуряющего сна,
 И каждый раз пьянила новизна —
 Закутанная в плащ загадок встреча.

Бродя по спинам улиц, площадей,
 Я не страдал отсутствием людей.
 И мною город был очеловечен.

Я с удивленьем на него глядел,
 Плывут луны осколки по воде —
 Их держат веток молодые плечи.

3

Их держат веток молодые плечи —
 Обилие на небе спелых звезд,
 Вдруг чей-то крик как будто в тело гвоздь,
 Торжественность минуты искалечил.

Как шатко в мире все и скоротечно.
 Насиженность меняют птицы гнезд,
 Но только мы все время тащим воз —
 Доверчивость, наивность и сердечность.

И звездами пробитая ладонь
 Висело небо. Иль глаза мадонн
 Рассвета терпеливо ожидали.

И плыли в снах притихшие дома
 В нетронутые будничностью дали,
 От радости весенней без ума.

4

От радости весенней без ума
 Ночь в кумаче сжигается зарею,
 И утро забавляется игрою —
 С небес луну со звездами снимать.

На горизонте дымка и туман
 Одеты на серебряные горы,
 Играющие ветры на просторе
 И облаков разорванный карман.

Дня нового звенящие ключи —
 Сверкнули солнца первые лучи.
 Остатки снов, как старые сомненья,

Пропали. И как памяти обман,
 Весны встречая новые творенья,
 Не верится, что здесь была зима.

5

Не верится, что здесь была зима,
 И мир застыл весь в праздничности белой,
 А сколько птиц на юг недолетело —
 Мороз в пути им крылья поломал.

У января безжалостный размах,
 Он лживый и холодный до предела,
 Как человек, в ком совести наделы,
 Как ясность букв в растрепанных томах.

Дни пленниками были у ночей,
 Унылые, без солнечных лучей.
 И ветер хрипотюю голосил.

Степенно в ритуальные часы
 Колокола раззванивали вечер.
 Мели метели-холода предтечи.

6

Мели метели — холода предтечи,
Холодный воздух в инее дрожал,
В задумчивости город весь лежал,
Как будто сном тяжелым был отмечен.

И жизнь зимы была как бесконечность,
Лед кулаками берегов зажат
Реки, в которой замерла душа,
Как удивленье, детство и беспечность.

И иногда входили в город сны
С картинками цветения весны.
И часто город зажигал огни,

И ими в темноте он был рассечен.
И уходя все дальше в вечность дни,
Бросали снега белые картечи.

7

Бросали снега белые картечи,
Не уставая, декабря ветра,
Но и они уплыли во вчера,
В моря, которым имя — быстротечность.

И город зрел, чтоб от зимы отречься.
О, как капризна времени игра!
У каждой жизни есть своя пора,
Как у людей, язык свой и наречья.

Кто не постиг родного языка
И вдохновеньем не пьянился слова -
Несет души он бедности оковы,

Как вечер за собой несет закат.
И кое-где снега уж март помял.
Свисала с крыш сосулек хохлома.

8

Свисала с крыш сосулек хохлома,
Перерождаясь в музыку капели,
Готовилась земля, как к новоселью —
Весну она хотела принимать.

Но у зимы запас еще не мал
И холодов, и снега, и метели.
И оттепель зачала в колыбели,
И мертвую ее март обнимал.

Погибла проба первая весны,
И снег ее могилу заносил.
Бесхитростному в искренности марту

Апрель прийти на помощь не посмел.
С растраченным восторгом, без азарта
Деревья ждали лучших перемен.

9

Деревья ждали лучших перемен
С теплом и солнцем, спелыми дождями
Со звонкими игривыми ручьями,
Как будто непосредственности смех.

С лохмотьев снега выстирался мел,
Лежат снега, похожие на знамя,
Израненное долгими боями.
Обречена была зима на смерть.

Взамен снегам, стареющим и ржавым,
Апрель приходит бодрый, молодежавый.
И протянул апрелю руки город.

Стоит печать забвенья на зиме.
 Когда деревья долгий мучил холод —
 Кора ломалась — кожа их колен.

10

Кора ломалась — кожа их колен,
 Как будто в спешке брошенным по паркам
 Берез, которым беды ворон каркал,
 Предательство погоды и измен.

Янтарный листопад был не в размен:
 Огульно, пьяно, бурно, не украдкой
 По волнам туч ходило солнце валко,
 В растрепанной осенней серой тьме.

Природы обнажающая внешность —
 Октябрь бился в плаче безутешно,
 Заснеживались осени следы,

Ложился снег на землю и не таял.
 Стояли обезлиственны сады,
 Они о мае, о весне мечтали.

11

Они о мае, о весне мечтали,
 Собравшись в треугольник, журавли,
 Холодный дождь тоску на землю лил
 С изношенными спицами печали.

И снегопады землю обвенчали,
 На заморозки первые легли.
 И первые метели замели,
 Рождение зимы день отмечая.

Пьянила свежесть улиц, белизна.
 Так услаждает разум новизна.
 И дни вошли в другое время года,

Реки устала двигаться вода,
 Непостоянство мучило погоду.
 Бывало, отступали холода.

12

Бывало, отступали холода,
 Морозы не роскошничали гневом,
 Зима, считая белые посева,
 Как будто отдыхала от труда.

На город опускалась благодать.
 Кругом, повсюду, справа или слева,
 Лежали письма на подносе неба,
 И март их получить не опоздал.

На облаках — конвертах заказных
 Угадывались почерки весны.
 Но шли опять, как белые медведи,

На город отдохнувшие метели.
 И верилось, что это навсегда...
 И небо было чистым иногда.

13

И небо было чистым иногда,
 Как ясные отчетливые мысли,
 Без черного предательского смысла...
 Но шла весна уже по городам,

Застенчива пока и молода.
 И юная трава на склонах лысых,

Как украшеньё новое, повисло,
И на него с восторгом все глядят.

Ласкает ветер бархат головы
Младенца-несмышленища травы.
Река глотала дряхлости снегов.

Спокойствия души дни излучали.
Мечты опять вступили в разговор,
И солнце в море синевы качалось.

14

И солнце в море синевы качалось —
Свершения надежды, естества,
Сама весна в садах на торжествах
Деревьям право на листву вручала.

И ничего торжеств не омрачало.
На площадях, на улицах, мостах
С улыбкою счастливой на устах
От зимней стужи люди отлучались.

Прозрачнее, яснее стали дали,
Ветвями сосны из лесу махали.
И мудрый город радость принимал.

И у берез, что собирались в рощи, —
Им листья ветер новые полощет —
Весны триумф — в зеленом платье май.

15

Весны триумф — в зеленом платье май,
Цветы каштанов стройные, как свечи,

Их держат веток молодые плечи
От радости весенней без ума.

Не верится, что здесь была зима,
Мели метели — холода предтечи —
Бросали снега белые картечи.
Свисала с крыш сосулёк хохлома.

Деревья ждали лучших перемен,
Кора ломалась — кожа их колен,
Они о мае, о весне мечтали.

Бывало, отступали холода,
И небо было чистым иногда,
И солнце в море синевы качалось.

Зап. Берлин



Виктор ПЕРЕЛЬМАН

НОВАЯ РОССИЯ

Все последние годы мир жил в предчувствии близкого и неотвратимого крушения коммунизма. Но кто мог представить, что падение партии произойдет мгновенно, в одночасье, по декрету российского президента, под шумный, карнавальный звон на московских улицах и площадях. Когда-то Маркс писал, что человечество смеясь расстанется со своим прошлым. Теперь Россия — шестая часть земного шара — смеясь расставалась с самим Марксом и его „бессмертным” учением. Даже падение гигантского бронзового идола у здания КГБ — этого марксистского инквизитора номер один — и то скорее напоминало театральное действие, нежели символ свершившейся революции. Но было что-то настораживающее в этом всенародном опьянении, словно хотели забыть перед наступлением долгого и устрашающего похмелья.

Сколько лет я и сам, беглец и эмигрант, рожденный в рабстве эпохой Сталина, мечтал о наступлении дня свободы. Из

всех несбыточных снов этот был самым фантастичным и сказочным, но вот он стал явью и — странное дело! — приходят ко мне иные, настораживающие мысли. Свобода-то свобода, но что после нее, если кругом такие лишения, безвыходность и разруха? И чем еще обернется этот сотрясший весь мир взрыв? И когда же, наконец, придет нормальная и счастливая жизнь для моего отечества?

КОНЕЦ ПАРТИИ ИЛИ КРУШЕНИЕ КОММУНИЗМА?

Попробуем теперь разобраться, что представляет собой эта революция, случившаяся вслед за неудавшимся переворотом. Отстранение от власти и самороспуск КПСС? Уход с политической арены партократии и номенклатуры? Какие бы дефиниции ни использовать, событие это, безусловно, исторического значения. После того, как Ленин во всех своих работах твердил, что главный вопрос — это вопрос о власти, а Сталин во имя этой власти угробил десятки миллионов людей, можно ли недооценить того, что пришел-таки конец партийной диктатуре? Другой вопрос: означает ли этот декретом проведенный политический акт реальную смерть коммунизма? Не ответив на этот вопрос, трудно понять всю сложную и противоречивую ситуацию, сложившуюся в сегодняшней России. Да, партии больше не существует, но жгуч, как никогда, вопрос о реальной расстановке сил в стране, и прежде всего о мощной оппозиции происходящим преобразованиям. Оппозиция эта — не только 15 миллионов недавних коммунистов. Да и не в формальной принадлежности к партии суть дела. Ведь и остальные 270 миллионов беспартийных трудящихся выросли не в чистом поле, а воспитаны коммунистическим режимом, продолжают жить его нормами, мыслить его категориями. Вот лишь первое, что приходит на ум. Говорят, что советский человек безынициативен, не любит трудиться, не хочет нести ответственности за дела страны. Не потому ли, что привык он быть иждивенцем общества, когда бы за всю его жизнь, от рождения до смерти, отвечали партия и правительство? И хоть не ставит

он партию ни в грош, а все равно: пусть у ЦК болит голова за все

— за производство, за жилье, за предоставление ему работы, а

он человек маленький, отстоял свое у станка (отсидел за столом), а дальше хоть трава не расти. А в случае чего, всегда можно написать куда следует: пускай находят место, устраивают, предоставляют детишкам детсад, дают квартиру. На то она партия, чтобы думать о трудящемся человеке.

Я пока не говорю о всяких начальниках, о больших и малых аппаратчиках, которых, как считают, тоже не менее 15 миллионов. Эти — даже своим положением обязаны партии, а еще военнослужащие, генералитет, офицеры, а еще армия гебешников и милиции. Но пока я о рядовом труженике — как же ему, бедолаге, существовать без „отеческой“ заботы партии, у кого искать защиты, где искать правды, если нет ни райкома, ни горкома и обкома, если нет в Отечестве вождя и хозяина? Мне скажут, что не все такие. Ясно, что не все. Тем более после того, как почувствовали вкус к свободе. Скажем, те же бастующие шахтеры или участники стотысячных демонстраций в столице. Да только широка ли пахота демократии? Велика Россия, и непросто понять, о чем думает ее народ. И какова, скажем, психология тех представителей класса-гегемона, кого на Руси испокон веков зовут работягами и кого вождь и учитель так славно окрестил „винтиками“. Верно, давая понять, что не могут без приводного ремня — партии, которая есть „ум, совесть и честь нашей советской эпохи“.

РЫНКУ — ДА, КАПИТАЛИЗМУ — НЕТ

Сегодня как будто все понимают, что реформы и рынок — это единственный путь к спасению. Но посмотрим, что показывают опросы трудящихся? Мнение большинства однозначно: рынку — да, а капитализму и частной собственности — нет. То есть чтобы, с одной стороны, свобода, а с другой — чтобы ни капитала, ни безработицы, и чтобы не работать на хозяина, и без всех прочих „ужасов“ капиталистической системы.

В человеческой истории нет или почти нет опыта перехода от коммунистического режима к свободной экономике. Следует заметить, что и эра гласности, при всей ее роли в пробуждении общества, не подготовила население к восприятию новой реальности. Сидя в Москве у телевизора, я то и дело слышал разговоры о гарантиях, которые должны иметь трудящиеся при переходе к рынку, но почти ничего — о самом механизме этого перехода, о путях преобразования коммунистической экономики в свободно-рыночное хозяйство. Тогда как именно здесь следует ожидать наиболее болезненных, драматических перемен в жизни общества. Ведь этой жизнью отныне будет управлять не партия, не Госплан и Совет Министров, а жестокая „невидимая рука“, как когда-то назвал Адам Смит стихийные законы рынка. Чтобы не сеять паники, перестроечная пресса почти не пишет о том, что экономическая свобода приведет к расслоению общества, возникнут социальные полюса, появятся богатство и бедность. При этом значительная часть населения (по крайней мере на первом этапе) может оказаться на грани нищеты. Пока еще трудно представить, как будет развиваться этот тяжелый, болезненный процесс. И совсем не исключено, что именно вчерашняя номенклатура, как самый непроизводительный, паразитический класс, первая угодит в жернова социальной трансформации. Не обремененная знаниями и профессиональными навыками, она окажется перед необходимостью пополнить армию людей физического труда — или хуже того: армию безработных.

По опыту российской жизни я знаю, что такое барственная психология партийно-профсоюзной элиты, способной лишь командовать и присваивать плоды чужого труда. Так просто, за здорово живешь, она не уступит позиций. И в своей ненависти к новым порядкам вполне может пойти на самые крайние шаги: попытка московского переворота — лишь первый тому пример. Это что касается правящего класса, но не менее глубокая, можно сказать, революционная ломка должна произойти в сознании простого человека, который окажется

перед необходимостью по-иному относиться к своему труду. Ничего страшного — просто нормально, добросовестно работать, но как тягостно окажется это для тех, кто привык всю жизнь кантоваться и сидеть на шее у родного государства. И вот этот самый капитализм, к которому у них нутряное недоверие, он-то и заставит себя ломать. Выбора не будет. Раз капитализм, то одно из двух: или в поте лица работать, или быть выброшенным на улицу. Ну как тут не проснуться тоске по добрым, старым временам. В моем архиве и сейчас хранится такое письмо: „Дорогой Леонид Ильич, довожу до Вашего сведения, как Генерального секретаря ЦК, о несправедливой расправе надо мной администрации. Уволили за то, что не выполнял я ихних завышенных норм, которые вызывают возмущение у всего коллектива нашего предприятия“. Сколько еще таких в стране, и они, конечно, тоже пойдут на многое, чтобы вернуть эти самые, „старые, добрые времена“.

БЫТЬ ЛИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Когда печать пишет о всенародной ненависти к партии, она просто принимает желаемое за сущее. На самом деле народ близок партии (его бранные речи в ее адрес — это только речи), и лозунг „Народ и партия едины“ далеко не лишен смысла. Разве все семьдесят четыре года партия не лепила общество по своему образу и подобию? И возвращенный ею „новый человек“ не есть ее плоть от плоти и кровь от крови? И, воспитав общество иждивенцев, разве партия не вправе ждать от этого общества понимания и защиты? Тем более в момент высшего кризиса, когда страна отказалась от коммунизма и идет в направлении капиталистической экономики и когда впереди столько трудностей и в конце туннеля не видно и лучика света — настолько долгая и мучительная предстоит дорога. Конечно, многие граждане страны уже понимают, что демократизация — это единственный путь к спасению, но не надо поддаваться аберрации зрения, будто так думают все и что с идеями партии раз и навсегда кончено и

коммунизм будет повержен так же легко, как пал бронзовый истукан во время демонстрации на Лубянке. Чем дальше, тем ожесточеннее будет борьба. И то, что до сего дня удалось избежать гражданской войны, не есть гарантия того, что она не вспыхнет в будущем. Пока существовала КПСС, и режим мог худо-бедно существовать, опасность не была реальной. Но после того, как партия оказалась свергнутой, в воздухе запахло гарью. Неудача переворота, возможно, и повергла ее сторонников в отчаяние, но то же отчаяние может подвигнуть их на новые дела, на сей раз и впрямь кровавые — все зависит от конкретных обстоятельств, в которых окажется общество. Только не станем уповать на то, что в гражданской войне — не дай Бог ей вспыхнуть — у партии не будет бойцов. Как показано выше, найдутся они и среди номенклатуры, и среди класса гегемона в числе упомянутых сталинских „винтиков“ — во всех слоях общества будут люди, готовые выйти на баррикады ради возврата прошлого. Малоприятная мысль, но нам от нее никуда не уйти, если хотим называть вещи своими именами.

А я еще не коснулся главной опасности — национально-этнических конфликтов. Растут они, как грибы после дождя. Не успела Украина провозгласить независимость, как Россия уже заявила притязания на Одессу, а Одесса заявила, что не примет ни русского, ни украинского владычества, а провозгласит себя, так сказать, вольным городом — занятый, но какой примечательный для времени факт!

Еще недавно слала Москва армию во все концы великой державы — в Грузию, Прибалтику, Азербайджан, Армению. А что же нынче, когда имперский центр утратил свою власть и все враждующие стороны стали независимы и суверенны? Кто теперь станет тушить очаги межнациональных конфликтов?

Страны Запада готовы помочь России, но при условии, что будут иметь дело с сильным и стабильным партнером, а перед ними кипящая страстями и разлетающаяся в клочья империя. Ельцин и Горбачев торжественно клянутся, что

ядерное оружие центр приберет к рукам, и только с Москвой надлежит вести все переговоры о войне и мире. Но много ли стоит нынче голос центра, если полнота власти у республик, иные из которых уже бряцают оружием, и тут уж рукой подать до гражданской войны. Историки будущего, вероятно, займутся осмыслением этих трагических парадоксов современной России: чем больше демократии на ее земле, тем больше опасностей для ее народа и тем больше страданий на его долю. Поистине несчастна судьба этой страны!

ПРАВДА И ЛОЖЬ КОММУНИЗМА

Итак, после молниеносного крушения партии, по-видимому, начнется долгая окопная война против ее несдавшихся сил, пусть и ослабленных, но отнюдь не поверженных. Когда-то Николай Бердяев писал: чтобы понять ложь коммунизма, надо понять его правду. Правда же коммунизма состоит в том, что он впервые в истории выдвинул идеалы общественной справедливости, лозунги братства и равенства людей. Благодаря им коммунистическая идеология и способна овладеть умами людей. Другое дело, что эта правда неизбежно оборачивается ложью, вызывая к жизни античеловеческие рабские режимы. Но и это не снимает вопроса о гипнозе социалистических идеалов. О них мечтали лучшие умы человечества. И то, что после русского опыта у них не осталось шансов, есть на самом деле духовная потеря, которая, как писал в „Нью-Йорк Таймс“ знаменитый журналист Энди Руни, доказывает несовершенство человеческой природы.

Эта духовная потеря не может не сказаться на состоянии умов в посткоммунистическом советском обществе, когда целая страна оказалась лишенной идеалов, лишенной традиций, лишенной истории. Еще вчера эти идеалы исповедовались на всех уровнях общества, сегодня — духовный вакуум. То обстоятельство, что над коммунизмом смеялись и не принимали его всерьез, не меняет дела. Не верили в коммунизм, но жила в людях надежда, что когда-то будет достиг-

нуто равенство и будет счастливая жизнь для всех. Теперь этой вере пришел конец.

Все пересматривается: литература, искусство, история, школьные учебники. Меняются названия городов. Сносятся памятники. Сбрасываются с пьедесталов герои, на примере которых формировались целые поколения. Полистайте сегодняшнюю периодику: нет больше ни Октября, ни гражданской войны, ни старых большевиков, ни буденновцев, ни пятилеток, ни Павки Корчагина, ни Павлика Морозова. Существует лишь коммунистическая мифология, которая духовно кастрировала общество и подвела страну к катастрофе. Как пишет Тимур Кибиров: „Паровоз наш в тупик прилетел, на запасном пути беспросветном, бронепоезд напрасно ревел!“ Недосуг нам задуматься над тем, каково это вынести нашим дедам и отцам. Революция в этой стране всегда пожирала своих детей. Уходящая в небытие и сброшенная с пьедестала, остановится ли она перед этой, последней жертвой? Тем более дело-то теперь идет на поминках по коммунизму.

ВЗГЛЯД В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

В советской печати принято широко писать о катастрофе экономической. Понятно почему: ее острее всего чувствуют люди, униженные вечным безденежьем, очередями, доведенные до крайней степени нищеты. Но вместе с нищетой и неустройством все более дают о себе знать преступность, всеобщая депрессия, алкоголизм, наркомания — все признаки катастрофы духовной, до которой у общества, занятого проблемами выживания, просто не доходят руки.

У партии на этот счет были свои рецепты, вроде усиления политико-воспитательной работы или повышения культурного уровня населения. А как же теперь, когда весь этот идеологический хлам выброшен на свалку истории? И вот оказывается, что общество, сбросив идолов коммунизма, снова обречено топтаться во тьме, на сей раз уже в поисках других, истинных идеалов. На что опереться народу, остав-

шемуся без прошлого, без идей и традиций? Не будем удивляться, что прокладываются мосты в глубь истории, к давно ушедшей матушке-России, что процессы обновления идут под неумолчный звон церковных колоколов, который льется над городами и весями страны. Преданные исторической судьбой, люди, естественно, обращаются к Богу. И все же прошлое — это только прошлое. И вряд ли им может жить страна, обязанная худо-бедно двигаться вперед, хотя бы во имя будущих поколений. И тут мы подходим к теме, воистину рискованной для обсуждения, — к завтрашнему дню России. Куда как смела перестроечная печать, и та предпочитает о нем помалкивать, а лишь в общих чертах пишет о долгом и трудном пути к экономическому возрождению. И никак не касается духовности России, точнее, ее будущей духовности. Видно, нет сложнее, болезненнее вопроса, чем этот. Представить хотя бы в контурах, в самых общих чертах: куда же идет ее общество? К зияющим высотам Запада, когда каждый отвечает за себя, работает на себя и сам, безо всяких общественных подпорок, строит свое личное счастье? Вот и появится еще одна страна развитого капитализма, например, как Германия или Франция? Вполне возможный и даже, может быть, счастливый вариант. Хоть, думаю, что не самый счастливый. Возможно, оттого, что, прожив почти двадцать лет на Западе, я убедился, что капитализм — это не такой уже рай, чтобы его безоглядно и безо всяких поправок приняла Россия.

Ее горький опыт, притом, что весь он соткан из бед и страданий, — это все-таки тоже опыт, способный многому научить мир. Сегодня это страна, лишенная всего, страна во тьме, но, пробуждаясь к новой жизни, стоит она перед новыми возможностями. Ее будущее — это чистый лист бумаги, на котором она будет писать для себя новую и — кто знает — на сей раз, может быть, счастливую историю.



Э.ГЛИНЕР

РЫНОК ПРОТИВ НАРОДА

Ленин по какому-то поводу заметил, что пока пролетариат борется, русская буржуазия крадется к власти. Похоже, что в России происходит сейчас нечто похожее: пока пролетариат („труженики“ по современной умилительно-уничижительной терминологии) борется, партократия* пытается превратиться в русскую буржуазию.

Сдвиг в сознании советской элиты после недолгого периода растерянности кажется наиболее важной чертой текущего момента советской истории. В прямом смысле именно он завершает большевистскую революцию 17-го года. Лозунг „грабь награбленное“, по существу, в 17-м году повис в воздухе. Награбленное никому не досталось. Партократия ведь была не более чем привилегированной группой рабов безликого государственного монокапиталиста (как его назвала Дора Штурман). Партократия не владела и не распоряжалась тем, чем пользовалась по милости или исподтишка.

* Пока этот номер готовился к печати, партия была запрещена, но вышедшие из ее недр новые буржуа остались.

Ее жалкие привилегии не были ни свободой, ни источником самоудовлетворения. И вот, наконец, пришло время „приватизации награбленного“, завершающей дело революции!

Если это видно даже издали, то видят ли это в России? Партократия — да. Кто еще? Трудно сказать. Ведь там сейчас каждый может не только говорить все, что хочет, но и видеть все, как ему вздумается, — в этом поразительном хаосе собственных мнений, порожденных долго сдерживаемой потребностью самовыражения. Поэтому естественно попытаться „свистнуть“ ребятам издали, пока они не увидели своего секретаря райкома в кресле президента кредитного союза или городского головы. Иной вопрос, будет ли кем-нибудь услышан этот „свист“.

Так или иначе, но я попытался обратить внимание одного видного участника сахаровской конференции в Москве на положение дел. Опуская некоторые частности, я ниже привожу это письмо:

За последнюю пару лет через наш дом прошла целая процессия гостей из Союза. Это были разные люди, но преимущественно из тех, кто раньше был в кухонной, но твердой оппозиции доперестроечному режиму. Они много и по-разному рассказывали о перестроечных процессах. Из мозаики и эволюции их речей сложилась неожиданная для меня, но, возможно, гораздо более знакомая в Москве картина тамошних событий. Мне тем не менее хотелось бы поделиться некоторыми впечатлениями. Кто знает, может, взгляд издали имеет в некотором смысле и свои преимущества.

Как я понимаю, общий и уже давний политический фон в стране определен прорвавшимся наружу всплеском ненависти — конечно, вполне оправданной — к красному прошлому. Но в стране, где десятилетиями общественное мнение не поднималось до уровня общественного явления, уроки прошлого усваиваются по принципу вылупляющегося птенца: первый увиденный предмет принимается за всемогущую, всезнающую правду-матку. С равно безответственной убежденностью спасением провозглашаются анархизм и частная соб-

ственность, православие и демократия, сексуальная свобода и свободный рынок, подачки Запада и мифическая отечественная „духовность“, которая пережила даже неистребимый ужас советских лагерей, детских домов и домов престарелых.

Интеллигенцию как бы охватил „психоз самовыражения“, в котором иссякла диссидентская традиция — говорить тогда, когда молчать не позволяет совесть. Но заговорившему большинству большей частью нечего сказать. История, социология, экономика известны ему только понаслышке. Поэтому каждому кажется, что он изучил их вдоль и поперек на собственной шкуре, а поэтому может судить „как государство богатеет“. В разноголосице, без национального видения будущего, русская история как бы кончилась, и в этом зловещий смысл популярного любования символами прошлого: от Георгия-Победоносца до начищенного герба Русской империи — в сущности, куда более человеческого европейского государства, чем советская деспотия.

Удивительно, но и в эпоху перестройки, после самых масштабных разоблачений, кровавого прошлого, никому словно неведом — на самом деле неведом! — главный исторический урок Октября: общество — столь сложная система, что не может быть создаваемо „по плану“.

И создание общества „по плану“, на этот раз „перестроечному“, продолжается. Успехи перестройки знаменуют этапы страшного пути продолжающегося распада и разрушения.

Я думаю, все же есть (или уже надо говорить „была“?) альтернатива этому гибельному пути: освободить общество от плана и дать ему выйти из кризиса в условиях естественного развития, самому по себе. Не известно, может ли такого рода рецепт быть универсальным. Но советское общество имеет развитую инфраструктуру, высоко специализированную промышленность и навыки ши-

рокой кооперации. И люди не лыком шиты. При этих условиях попытка могла бы иметь успех.

Конкретно я имею в виду очень простую вещь: предоставить каждому дееспособному члену общества максимально возможную в его положении инициативу. Это можно было бы сделать в рамках демократической акционерной идеи:

(а) передав все предприятия в акционерную собственность тех, кто на них работает, путем раздачи им определенной доли акций предприятия;

(б) подняв зарплату до уровня, близкого к западному, но, по нужде, выдавая пока разницу преимущественно акциями предприятия;

(в) предоставив совету директоров предприятия, контролируемому собранием акционеров, все права, вытекающие из права собственности, но с временным ограничением: в течение года обязательства предприятия, имевшиеся до приватизации, должны неукоснительно выполняться, лишь постепенно вытесняясь новыми связями и отношениями;

(г) отбирая постепенно у старого бюрократического аппарата управления промышленностью все функции управления и распоряжения; эти функции должны заменяться услугами, такими, как информация, посредничество, прогнозирование, статистика, планирование (не как директива, а как квалифицированная рекомендация); оплата аппарата, превращающегося из бюрократического в обслуживающий, должна осуществляться как плата предприятий за услуги — на этом пути бюрократия стала бы мало-помалу втягиваться в возникающий рынок.

Как видно, идея состоит в раскрепощении труда, в вовлечении в процесс управления производством массы производителей, заинтересованных только в экономической эффективности труда и не связанных ни отжившей идеологией, ни круговой порукой, ни боязнью расплаты „за старое“. Это, вероятно, единственно возможная основа желанного процесса восстановления экономики, прогнившей с головы.

Боюсь, что время для идей, однако, давно упущено. Было время, когда партбюрократия (и слов-то русских подходящих нет) была в растерянности и не знала, что лучше, держаться за кресло или податься в бега. Причины ее растерянности были не только экономическими. Это было сознание своей принадлежности к преступной организации, ответственной за деяния режима. Слова „Нюрнбергский процесс“ пришли бюрократии на ум, конечно, раньше, чем безвредным сердитым парням на Новом Арбате.

Но год за годом на дворе шел лишь „стоячий“ процесс перестройки. Страх сменился расчетом. И теперь перед нами бюрократия, та же по составу, но в новой ипостаси. Годы первых гонимых кооперативов с их таинственными источниками сырья остались позади. Однако идея кооператива, как инструмента извлечения прибыли из неприбыльного дела, проросла в государственные предприятия. Теперь тов. НН, старший или главный инженер, отдающий все силы социалистическому труду, все оставшиеся силы стал посвящать кооперативу, организованному, по существу, на самом конкурирующем предприятии. Затем появилась и высшая форма кооперативного процветания: общественные организации с правом создания в своей структуре хозяйственных предприятий, облагаемых символическим пятипроцентным налогом.

Тов. Павлов, премьер Союза ССР, говорят еще и президент Экономического общества. В этом обществе уже более 50 дочерних доходных хозяйств. Так ли уж важно тов. Павлову держаться за государственный пост?

Но Господь с ним. Мы воспитаны на отрицании роли отдельной личности в истории. Обратимся к массам. Партия, правящая и массовая „общественная“ организация, вновь подтвердила железную гибкость своей генеральной линии, создав собственные, на сей раз вполне доходные предприятия. Но не это главное в ее созидательной работе. В наступившей тишине Старой площади

разрабатывается новая область марксизма-ленинизма — всепобеждающее учение о приватизации социалистических предприятий. Путем продажи узкому кругу лиц акций в кредит и по дешевке, выпуска привилегированных акций для привилегированной публики, путем подбора „по деловым и политическим качествам” акционеров и директоров новых акционерных предприятий, путем передачи им государственных фондов и имущества за символическую плату. Растерянность прошла. Бюрократия увидела себя наследницей выморочного „общенародного достояния”, которое народ, если захочет, сможет выкупать за его полную цену у наследницы. И все условия, обеспечивающие введение в права наследования, пока налицо: своя в доску власть, создающая инструкции, что превыше закона солидарность всех звеньев аппарата и знание „что-где” на развитом трупе социализма. Государственная лавочка отличается от частной государственным масштабом!

Пока демократы изобретают пятое колесо, бюрократия захватывает те четыре, которые нужны, чтобы ездить в черных „бюиках” с баром, телефоном и дебелыми девочками. Она уже не тоскует по старой командной системе. Она почувствовала вкус денег и... личной свободы (не было ведь рабов горших, чем партаппаратчики).

Может, это и есть естественный путь к рынку? Приватизация, акционерные общества... „По большому счету”, не все ли равно, тот акционер или этот? Пожалуй, нет. Много больших Хуссейнов так же не способны изменить свою психологию и выучить арифметику экономики, как и один маленький. Исторический опыт советской власти, аккумулированный в личном опыте бюрократии, учит вести страну по всем кругам ада к позорному краху, не к процветанию.

У меня такое впечатление, что многие думают о рынке, как о столбовой дорожке, по которой любая колымага катится к новой жизни. Это глубочайшая и трагическая ошибка. Мексика — очень бедная страна с рыночными отношениями (правда, в отличие от Союза ее магазины ломаются от това-

ров). Чем же Соединенные Штаты отличаются от Мексиканских Штатов? Общественной нравственностью и навыками труда!

О воссоздании этих утерянных ценностей и придется думать прежде всего. Они создаются только в процессе свободного труда свободных производителей. В сущности, эта мысль — парафраз вышеизложенной демократической акционерной идеи.

Скажу больше. Я вовсе не уверен, что осуществление приватизации ведет именно к капитализму. Предоставив обществу самоизлечиваться, нельзя утверждать, что оно непременно придет к хрестоматийной структуре. Все понимают, что Япония, быстро улучшающая уровень и качество жизни своего населения, — не страна развитого социализма. Но многие ли понимают, что это не капиталистическая страна, и даже не страна со свободным рынком? Предоставим же обветшавшим идеологиям думать о мире в черно-белых терминах. Россия так же может иметь свои чистые цвета, как и Япония. И отмывая ее грязный флаг, не стоило бы забывать об этом.

Проблема „отмывания” возвращает нас к трагедии многократного раскола общества. Пропась между народом и снова набирающим силы бюрократическим большевизмом кажется естественной. Но пропасть между демократией и народом — это, вероятно, типично советское уродство, возникшее в лихорадке разноголосого „интеллигентского самовыражения”. Слово и мысль девальвировались, как социальная сила, сменившись народным протестом. Посмотрите на стихийное, но эффективно самоорганизовавшееся забастовочное движение, которое, появившись, сразу стало главной силой, противостоящей зловещему развитию, диктуемому сверху. Для демократических сил интеллигентской прослойки оно, по-видимому, было не только неожиданностью само по себе. Не меньшей неожиданностью был и отказ забастовщиков стать под поднятые демократические знамена. Полити-

ческий клич забастовщиков был „долой!“, а не „за“.

Многие люди не поняли этого урока, и, мне думается, это типично. Я имею в виду урок, состоящий в том, что демократия начинается с права граждан влиять на цели и условия своего труда, вопреки привычному советскому конституционному праву вверять себя сомнительной заботе того или иного „передового отряда“.

И это соображение снова возвращает нас к условиям и характеру приватизации. Интересы бюрократии уже превратили этот еще и не начавшийся толком процесс в „Рынок против Народа“. Забастовщики и широкие массы производителей могут принять приватизацию только как передачу „общенародной собственности“ народу, превращающую ее из инструмента расхищения в орудие национального согласия.

Эти два пути приватизации, в сущности, противоположны, хотя оба подразумевают переход к акционерной собственности. Демократическая приватизация — это признание общенародного характера собственности в противоположность отношению к ней как к выморочному имуществу при приватизации бюрократической.

На демократическом пути естественно с самого момента приватизации значительно увеличить зарплату (хотя и выдавая часть ее акциями, т. е. видом на будущее, ввиду необходимости ограничить инфляцию). Ведя к заинтересованности в труде и вере в будущее, это путь социального мира.

С другой стороны, приватизация, осуществляемая путем покупки предприятий за бесценок случайными людьми, основана на специфическом источнике дохода. В период восстановления экономики рыночная цена труда еще не достигает уровня, обеспечивающего длительные потребности (образование, жилищные условия и т. д.). Рассчитанная на простое поддержание жизни, она мала. Фактически за этот счет и оплачиваются издержки восстановления, обеспечивающие затем длительное процветание. Иными словами, восстановление кредитруется рядовыми производителями, осуществляется за их счет. Без погашения этого кре-

дита акциями недостаточная оплата труда в период восстановления дает большие конечные выгоды держателям акций за счет работников предприятий (то, что они могут тоже оказаться акционерами, не имеет значения, так как их акции не имеют отношения к оплате их труда).

Я считаю, что непонимание необходимости демократического характера приватизации, непонимание самой проблемы, кардинально отличающей текущую ситуацию в Союзе от нормальной капиталистической экономики, основная ошибка ельцинской команды.

Вопрос о путях приватизации становится сейчас, по-видимому, главным в происходящей в Союзе революции. И то, что демократические силы, по существу, остаются раздробленными и дезориентированными. И то, что их нет „в нужное время в нужном месте“, кажется катастрофичным.

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

С тех пор, как была написана эта статья, многие события опередили типографский набор. Власть в стране была захвачена теми, кто, думалось, только и обладал ею. Неожиданно эта власть оказалась иллюзией. Одинокий боярин шутя пересидел ее в белой боярской думе и оказался на вершине власти, воспеваемый оправившимися от шока законодателями. Подгнившие груши посыпались вниз, оставив засохшее древо партии совсем голым. Трем героям — последним Героям Советского Союза — были возданы посмертные почести.

Но возвращенная власть была лишь старым безвластием, которое снова пришлось делить, на этот раз на десять кусков плюс один, если не считать тех, которые отпали сами. Начался очередной „переходный период“, сменивший многопудовый Верховный Совет на карманный государственный.

Жизнь внизу тем временем из дня вчерашнего вошла без баррикад в день сегодняшний. Люди как ходили, так и ходят понуро на грошовую работу, убегают занять очередь, ждут перехода от сигарет на самокрутки, переполняют метро и временами театры, стреляют до полочки деревянный червонец, растят по выходным картошку, боятся ходить по улицам, боятся сидеть дома, боятся зимы, боятся... Терять нечего уже давно, однако каждый прожитый день множит потери.

Два потока жизни, верхний и нижний, смешиваются только на экранах телевизоров, расширяющих совсем поволадовски опустошенные кухни до бескрайних залов кремлевских дворцов, заполненных иступленными речами. Черный бал поверху, черные будни понизу — текущий итог перестройки, задумавшей войти в здание советского общества с черного хода. История, вероятно, вспомнит об этом, как о гениальном шаге зодчего, задумавшего (в результате какой-то внутривнутрипартийной мутации) бескровную ползучую эволюцию взамен революции с кровавым и непредсказуемым исходом. Но то история, а современникам на месте рухнувшего здания „Славы КПСС“ хочется, конечно, поскорее возвести дворец, если не свободы, то хотя бы свободного рынка. Отсюда были 500 опасных дней, и отсюда же 90 дней переходного периода (понимание: 500 дней уже не выдержать). Но о „здании“ можно говорить только фигурально, так как общество нельзя построить. Оно, как хлеб, может только расти само. Все, что можно, это „вспахать землю“: формулировать простое и ясное законодательство, которое защитит право гражданина на плоды его труда и мысли, на свободное выражение мнения, на личную неприкосновенность, на независимость правового положения от тайного значка в паспорте, на контроль над правительством, на отделение церкви и культурных ассоциаций от государства.

То что до сих пор простое законодательство было потоплено в оборотах „новоречи“, неопределенностях, ограничениях, предварительных условиях, оговорках, ошибках, установлении прав, обусловленных лишь случайностями истории, и т.д. — это преступление верховных законодательных органов страны. Оно привело не столько к развалу советского строя (во многом все еще влиятельного на огромных территориях), сколько к деградации общества вообще: разрушению производительных сил; непосильной перегрузке социальной психологии; национальной, культурной и религиозной междоусобицам; разгулу эгоистических страстей эгалитарной части общества. То, что „народные депутаты“ в своей массе с пеленок впитали идею управления государством кухарками, оправдывает их не больше, чем не знающего фарватера лоцмана, ведущего корабль зигзагами по всем скалам.

Эволюция в верхнем течении пока не слишком много изменила в глубинном слое общества — экономике. Поэтому, я думаю, моя статья все еще сохраняет смысл.

Новая экономика не должна бы, подобно советской, начинаться слепой экспроприацией. Она должна быть с о р е в н о в а т е л ь н о й . Чтобы не быть захваченной случайными людьми, должен быть обеспечен ее социально равный старт, лишаящий преимуществ тех, кому от советской системы достались преимущества внутренней информации, деловые связи, возможность формулировать условия приватизации и т.д., но кто на самом деле лишен деловой хватки, а также и тех, кто, эксплуатируя суть советской системы (столбовой дороги мародерства), успел набить карманы и едва ли захочет стать рабом рыночных отношений.

Новая экономика не должна начинаться и чувством отчуждения большинства населения по отношению к приватизации. Рабочему Путиловского завода, возможно, психологически трудно представить себя „под хозяином“, будь тот даже самим Путиловым.

Итак, социально равный старт подразумевает как социально-равные для всех предпринимательские возможности, так и равные социально-психологические позиции. Станным образом нелегкий путь к этому подсказывает Конституция Союза (пока действующая), которая провозглашает общенародную собственность. Это подразумевает, что приватизация состоит в фактической передаче собственности в руки народа.

Не ново, что технически приватизация может быть произведена превращением государственной собственности в акционерную, с подчинением управленческого аппарата собранию акционеров. Эта панацея не исключает, однако, стратегий с катастрофическими социально-экономическими последствиями.

Чтобы осуществить социально-равный старт, необходимо соблюдение равенства всех перед законом, то есть приватизация по простой формуле равного распределения, независимой от заслуг, должности, стажа работы, образования, зарплаты и всего прочего, отличающего одного индивидуума от другого. Скажем, одна треть акций раздается всем поровну, одна треть предназначается для продажи на бирже и одна треть для последующей продажи работникам предприятия по льготной цене. Средства, получаемые предприятием от продажи акций, идут в фонд развития предприятия. Частный владелец акций может продать их на бирже, превратив в деньги. Равенство — нейтральность распределения — сведут к минимуму социальные трения, тогда как грабеж или страсть к „признанию заслуг“ (всегда с сомнительным знаком экономического эффекта) породят их.

К условиям социально-равного старта невозможно, однако, приблизиться, если закон о приватизации не предусмотрит введение валюты, которую только и можно будет использовать для покупки акций, недвижимого имущества и земли. С момента введения валюты, в ней должны выплачиваться зарплата, пенсии, пособия и

т. д. Старые денежные знаки не должны обмениваться на валюту. Они, однако, должны сохранять хождение для покупки предметов потребления, а также валюты по естественно складывающейся на рынке цене. Недостаток валюты в обращении должен компенсироваться банковскими кредитами предприятиям и частным лицам — так что придется новую жизнь начать взаимны.



Л. АННИНСКИЙ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ

Русский язык и нерусские литературы

Курьезность моей темы по нынешним временам видна из анекдота, гуляющего, сейчас по России. — Кто такой Пушкин? — Великий русский поэт.

Бредовый и оскорбительный оттенок этого слова — порождение нынешней эпохи — эпохи „гласности“, встречных суверенитетов, национальных амбиций и всеобщего размежевания, идущего „поверх“ культуры, „сквозь“ культуру и „вразрез“ с культурой. „Русско-язычный“ — это у нас теперь не определение, это знак. Вызов. Встречный вызов.

Между тем слово это (которого в русских словарях по сей день нет, ни в толковых, ни в орфографических) появилось не теперь, а лет десять-пятнадцать тому назад, в разгар расстреклятого „застоя“. И означало оно по смыслу не совсем то, а по настроению совсем не то, что сейчас. Оно означало, вернее, обозначало тот интереснейший факт текущей истории

советской литературы, что в 70-е годы многие писатели из республик перешли на русский язык. Назову несколько имен: Чингиз Айтматов, Ион Друцэ, Василь Быков, Анар.

Напрашиваются комментарии. Во-первых, это все крупнейшие писатели, гордость и слава своих народов, что называется, „этнархи“. Во-вторых, они перешли на русский язык вовсе не из-за трудностей писания на родном языке — все они были его мастерами и успели написать: Айтматов на киргизском, Друцэ на молдавском, Быков на белорусском — произведения, вошедшие в хрестоматийный фонд этих литератур. То есть они не „пребывали“ в русском языке изначально, а именно перешли на русский в результате решения. Некоторые из них, подобно Набокову, „крейсировали“ из нерусской речи в русскую и обратно. Так Виктор Козько, уехав в Сибирь и начав писать повести из сибирской жизни, перешел на русский, а возвратившись в Белоруссию и к белорусской тематике, вернулся в белорусскую речь. В-третьих, такие „крейсерские“ рейсы из языка в язык не отменяли твердого (и важнейшего) ощущения, что, перейдя в русскую речь, эти глубоко национальные по духу писатели отнюдь не переходили в „русский дух“, а продолжали созидать в стихии русского языка духовные миры своих народов: киргизского, молдавского, белорусского, азербайджанского... Точно так же, как изначально пишущий по-русски Анатолий Ким продолжал чувствовать себя корейцем, а Тимур Пулатов — узбеком, а Олег Клиг — немцем, а Юрий Карбачиевский — евреем...

Этот феномен, обративший на себя особое внимание в 70-е годы, конечно же, требовал объяснений. Тогда-то его и назвали словом „русскоязычие“, придав слову оттенок термина. И слово это вошло в круг живого обмена идеями, причем без всякой изначально оскорбительности. Оскорбительность у этого слова появилась недавно, в эпоху гласности и „парада суверенитетов“.

Откровеннее всех мотивы такого „русскоязычия“, бо-

лее или менее общие для всех втянутых в него писателей, объяснил Олжас Сулейменов, казахский поэт (казахский по темам, по пафосу, по крови, наконец), пишущий по-русски (выросший в русской среде, а точнее, в среде лагерников и ссыльнопоселенцев), и стало быть, человек классически „русско-язычный“ (вернувшись из „лагерной России“ в родной Казахстан и уже став всесоюзно признанным поэтом, он выучил казахский язык, но, конечно, „русско-язычным“ от этого быть не перестал).

Он заявил примерно следующее:

— Русский язык для нас — стартовая площадка при выходе на мировую арену. Если казах хочет, чтобы его прочли во всем мире, его тексты должны существовать на русском языке.

Я говорю это не затем, чтобы включиться в нынешний спор о том, насильственно или не насильственно распространялся русский язык в республиках в пресловутый период „застоя“, я думаю, что лукав и ложен сам предмет такого спора, факт же спора граничит с самопровокацией. Ибо только личность решает, на каком языке ей общаться с миром и сколько сил в это вкладывать. Я говорю о другом: о том, что еще десять-пятнадцать лет назад русский язык воспринимался вовсе не только как русский национальный язык, но и как язык межнационального общения, или, если употреблять термин времен всемирно-коммунистической эйфории, как язык зональный, претендующий стать одним из мировых.

Национальному самовыражению это не противоречит. Случилось же так, что в лоне средневековой латыни выразили себя и накопили свои качества европейские национальные души — будущие нации. И не удивляет же вас, что в лоне английской речи выражает себя сейчас отнюдь не только английская душа, но и американская, и канадская, и австралийская, и индийская, и даже душа народа Ганы, а это все очень разные варианты национальной самобытности. Или возьмите испанский язык: сколько разных национальных культур сформировалось в его лоне, помимо культуры испанской, — целый латиноамериканский континент!

Отчего ж и не думать было об аналогичной роли русского языка — эта роль реально осуществлялась. Десять-пятнадцать лет назад это не вызывало сомнений. Даже еще и пять-семь лет назад.

И вот все перевернулось, все перевернулось. Русский язык — объект наладок и ненависти — в странах, освободившихся от „коммунистической тирании“, в советских республиках, борющихся за суверенитет. Формально это абсолютно справедливая, аптекарски справедливая акция: а почему, собственно, русский язык должен быть в особом положении?! — убрать его из числа обязательных дисциплин в школах и университетах, поставить его в ряд с прочими иностранными факультативами: кто хочет, пусть изучает русский, кто хочет —

испанский, или английский, или португальский, или турецкий — „все поровну, все справедливо“. Остальное — вопрос техники: русские учителя не у дел; русские учебники выбрасываются из библиотек; русские книги сжигаются за ненадобностью.

Что делать, было время, мы сжигали евангелия, сжигали „буржуазную литературу“, теперь горит то, что нам дорого. „Все справедливо“.

Самое страшное в этом процессе наведения справедливости: „низовые“ массы переносят свою ненависть к „оккупантам“ и „мигрантам“ — на Пушкина, на Толстого, на Чехова: маятник идет в обратную сторону. Интеллигенция, с самого начала разжигавшая и возглавлявшая эти национальные движения, народные фронты, увидя, какой грубостью оборачивается борьба, отшатывается от них (как отшатнулся Мераб Мамардашвили от победившего грузинского оппозиционного фронта, как отшатнулся Витаутас Петкявичюс от победившего в Литве „Саюдиса“), — национальная интеллигенция пытается сохранить, спасти культурные и духовные связи с Россией, с русской культурой. Но тектоническая мощь двинувшихся народных слоев диктует свое — откалываются края бывшей империи, рвутся связи, горят книги, кро-воточат души.

Разваливается Вавилонская башня.

Русский язык — в критическом положении.

Он в критическом положении по обоим своим традиционным функциям: и как язык межнациональный (то есть „зональный“, или, если угодно, „имперский“, один из „мировых“ языков), и как язык национальный (то есть язык русской нации и русской культуры).

Что касается первой функции, то сегодня, по трезвому осмыслению, видишь и впрямь, что в качестве универсального коммуникативного средства общения русский язык далековат от идеала. Он труден, изменчив, малоуправляем. В нем индивидуальная манера слишком превалирует над нормой. В нем мгновенные смены настроения выражаются лучше, чем константные смыслы. В нем суффиксы важнее корней слов. Это язык скорее эмоциональных состояний, чем твердых значений. Он контекстен, податлив, непредсказуем, ситуативен, коварен. В этом его прелесть, в этом и слабость. Вспомните Набокова: „моя аппаратура... каверзное зеркало, черно-бархатный задник, подразумеваемые ассоциации и традиции...“ То есть непременно: таинственная тьма, каверзность, подразумеваемые невидимые смыслы. Русский язык идеально приспособлен к таким задачам. Тот же Набоков в известном послесловии к „Лолите“, сравнивая русский и английский тексты, пишет:

„Телодвижения, ужимки, ландшафты, томленье деревьев, запахи, дожди, тающие и переливчатые оттенки природы, все нежно-человеческое (как ни странно!), а также все мужицкое, грубое, сочно-похабное, выходит по-русски не хуже, если не лучше, чем по-английски...“

Свойственные английскому языку тонкие недоговоренности, поэзия мысли, мгновенная переключка между отвлеченнейшими понятиями, роение односложных эпитетов... все, относящееся к технике, модам, спорту, естественным наукам и противоестественным страстям...“

Истинно так: русский — это все нежно-человеческое и все дико-человеческое, то есть все непредсказуемое, неуправляемое, неуловимое и неменяемое. Отсчет — от тайны.

Английский — это не просто другие качества, это другая ментальность. Это недоговоренность, однако, отсчитываемая от внутренней ясности мыслимого и проговариваемого, это переключка далекого, однако точно промеряемого, это экспрессия противоестественного, однако точно соотносимого с естественным. Отсчет — от реальности.

Джордж Оруэлл в своем знаменитом эссе об англичанах отмечает две черты английского языка, обеспечивающие ему колоссальное поле деятельности далеко за пределами Англии: простоту грамматики и простоту наращивания словарного состава. Это та изначальная ясность, которая позволяет бесконечно расширять фронт и беспредельно наращивать коммуникативные возможности, охватывая все: от Индии до Канады и от тончайшей лирической поэзии до грубого газетного заголовка. В основе — ясность, точность, фиксированность.

Прелесть русской речи — неясность, неточность, нефиксированность. Тайна непредсказуемости, „черный бархат задника“ за словами. Мистика размытости. Игра мгновенных настроений. Нестроение смыслов. Вывороты значений. Несобранные вертикали Вавилонской башни. Художественный эффект.

Лингвистически говоря: колоссальный, против нормы других языков, перевес оценочных смыслов над определительными.

Житейски говоря: игрище импровизаций.

Гульбище влияний, веяний и ответов на влияния и веяния.

Не будем выяснять, что тут первично, а что вторично: судьба ли русского народа, обреченного историей сводить несводимые концы на Евразийской равнине, сделала русский язык таким непредсказуемым, или особенности языка, сложившегося на славянской базе и колоссально обогащенного (но и расшатанного) финскими, тюркскими, латинскими, германскими и прочими воздей-

ствиями, — помогли ему стать языком огромной, многонациональной, пестрой Российской империи. Выяснять, что тут причина, а что следствие, дело гадательное. Это все равно, что спрашивать, какой характер выработался бы у татар, литовцев или поляков, претендовавших в разное время (в противовес русским) на роль объединителей этой „шестой части суши“, случись им на эту роль попасть. Скорей всего, у любого из этих народов выработался бы „русский характер“: эмоционально непредсказуемый, лишенный чувства меры, сочетающий адское терпение с адской же взрывной неужимостью. Может быть, и польский язык (или литовский, или татарский) — случись ему оказаться распятым на таких исторических „пяльцах“, — пошел бы полосами от перенапряженья, и теперь стоял бы вопрос о том, что же это такое за язык: международный ли волапюк для „межнационального общения“ или национальный язык конкретного народа, да ведь надо еще, чтобы конкретный народ не исчез, не растратил бы себя без остатка на „имперские задачи“ и чтобы он не спрашивал себя и весь мир: а кто такие русские? А есть ли они вообще? А в чем их „русскость“? А что, их „всеотзывчивость“, их способность отдавать себя и е с т ь их исчерпывающее качество? Применительно к татарам и литовцам все эти выкладки совершенно абстрактны, но применительно к русским они реальны, грозно, смертельно реальны: выходит, в том наша судьба, чтобы быть всеобщим эхом, скрещивать влияния, соединять то с этим. Запад с Востоком, темную бездну со светлой, — а где же к о р е н ь р у с с к о с т и, он есть ли? Или остался там, в Карпатах, откуда сошли когда-то славянские племена в днепровскую долину, в Восточно-Европейскую равнину, на эту плоскость, где ожидало их — с запада германское методичное давление, а с востока татарские степные набеги, а с севера — таинственное лесное финское „сиденье“?

В России теперь ходит шутка: литовец — это национальность, еврей — это клеймо, а русский — это судьба.

Что ж, с судьбой не поспоришь. Если судьба нам теперь

(нам, русским, то есть „тем, которые здесь смешались“) разгородиться и расстаться, — примем достойно и этот жребий. Не судьба русскому языку быть языком „зональным“, „межнациональным“ — значит, не судьба. Пусть будет национальным.

Драма-то в том, что и в этой сфере кризис: в сфере внутреннего бытия, где русский язык функционирует как фермент и базис национальной культуры.

Прежде всего размываются традиционный строй и состав русской речи. Напирает „новояз“, новая вульгата, рождающаяся в бюрократических коридорах русской власти и на орущих площадях русской воли, — происходит дальнейшее „смешение языков“, доходящее до стадии тотального охамления речи.

Чуткие писатели, видящие этот низовой процесс, стоят перед дилеммой: отдаться ему или упереться?

Отдаться — значит отдать язык во власть „макаронического“ полосования, которым оборачивается податливость русского языка и о котором любят рассказывать анекдоты современные западные слависты.

Будем, однако, отличать артистические находки мастеров от того размыва языковой почвы, от того смешивающегося мусора, в наносах которого они ищут свои перлы. Василий Аксенов может переименовать город Вашингтон в город Нашингтон точно так же, как Владимир Войнович может перекрестить Мюнхен в Мухин, а Александр Солженицын, соответственно масштабам своих задач, может вырабатывать для пророчеств и особый русский словарь, и даже особые правила грамматики. Чем крупнее мастер, тем больше ему дозволено богом и природой, но я веду речь о другом: о размыве русской почвы. О вульгаризации того слоя, в котором язык бытует и развивается. „Гирла“ — это что такое? Это не английский и не русский, это, как сказал бы Гоголь, черт знает что такое, и куда нас черт ведет, вряд ли ясно сейчас и самому черту.

Так что же, упереться? Но на чем? На архаике, на за-

консервированной русской деревенской речи, которой в реальности не услышишь сегодня ни в опустелой деревне, ни в переполненном городе? Русский литературный язык, зажатый между авангардными горячими „фронтами“, идущими с Запада, и замерзшей „твердыней“ беспроблемного провинциализма, находится в ситуации достаточно критической, чтобы поставить вопрос: что же дальше? Конец культуры? Перерождение языка? Сворачивание поля его действия?

Чтобы обсуждать подобные фундаментальные вопросы, сегодня приходится покидать сферу филологии, и даже шире — сферу культурологии вообще. Надо обращаться к социопсихологической реальности, сотрясаемой кризисами.

Чисто культурные ресурсы у нас по-прежнему огромны: традиции, классическое наследие, колоссальная инерция воздействия, неотменимые межнациональные связи, наконец, талантливость народа... Но будут ли эти ресурсы приведены в действие? и кем?

Кризис культуры налицо. В связи с распадом империи это прежде всего кризис контекста. Как ни странен, как временами ни искусствен был контекст „многонациональной советской литературы“, где эстонцы встречались с туркменами, а украинцы с чукчами, но этот контекст существовал, и он был не более причудлив, чем, скажем, контекст латиноамериканской культуры, смешавшей некогда еще более невообразимые испанские, индейские и негритянские элементы. Смешно, разумеется, в эпоху Гарсиа Маркеса „сепарировать“ эти элементы друг от друга, но мы-то в СССР переживаем как раз эпоху „сепарации“. Приходится отвечать на вопросы, задаваемые реальностью, и главный вопрос в том, что под вопросом контекст — контекст „советской культуры“.

Вне контекста культура существовать не может, как и язык вне диалога, а в какие контексты попадут литературы бывшего советского ареала, выпав из сферы притяжения русского языка, не ясно. То есть ясно, в какие контексты, но не ясно, чем это обернется. Чем обернется для эстонской литературы финско-скандинавский, а в потенци — гер-

манский контекст (германский прессинг — источник такого же перманентного кошмара для эстонского сознания, как и русский прессинг, и что страшнее, они еще не решили). Чем обернется для молдавской литературы контекст румынский (а в потенци — французский)? Как минимум тем, что это будет кризис молдавской литературы как молдавской.

А чем обернется исламский контекст для культуры казахов, туркмен или таджиков? Новой интеграцией? И наконец, в каком контексте окажется сама русская литература и сопредельные с ней — украинская и белорусская? Эта ситуация наиболее тонка и болезненна, ибо не ясно, чем обернется попытка восточнославянских литератур, „обреченных“ на общий контекст, разделиться и обособиться друг от друга: для любой из них любой вариант этого процесса полон драматизма.

Вот модель конфликта.

Блистательная статья белорусского публициста Владимира Орлова в одном из лучших русских журналов современности. Название журнала, — „XX век и мир“. Пафос статьи — независимость. Перед нами цепочка картинок, иллюстрирующих мечту белоруса о независимости от русских. Одна из картинок такова:

„Независимость — это когда ты будешь студентом и на лекции по высшей математике твой смуглый ровесник с Мадагаскара, который учится на деньги своей, а не твоей страны, наклонится к тебе и по-белорусски спросит, что значит слово „Имавернасць“, и ты по-французски объяснишь ему, что это слово значит“.

Картинка, конечно, яркая, но если уж Вл.Орлов так прислушивается к чувствам „смуглого ровесника с Мадагаскара“, то для полного удовольствия надо было бы поговорить с тем не по-французски, а по-мальгашски, ибо французский для мальгасийца приблизительно то же, что русский для Орлова. За все надо платить. В том числе и за лекции по теории вероятности на родном языке.

К слову, о плате. Если смуглый ровесник будет учиться на деньги „своей, а не твоей страны“, то, надо думать, и белорус должен будет платить за обучение из своего кармана, а не из „кармана страны“? Но бог с ним, с кошельком, вернемся к языку. Итак, на французский белорус Орлов перейти согласен, а на русский — нет. На мальгашский тоже нет, но по другой причине. По какой именно, нетрудно догадаться: если все начнут говорить по-своему, что ж это будет? Вавилон? „Балканизация“ языкового пространства? А может, по нынешним временам, „ливанизация“? Конец общения? Так стоит ли теорию вероятности переводить с французского на мальгашский? Нет, не стоит, убежден Орлов. А с русского на белорусский?..

Межнациональные языки все равно будут, и то, что белорус „согласен“ на французский, свидетельствует только об одном, о том, до какой степени дошло в нем отвращение к русской языковой экспансии.

Чтобы закончить насчет „зональных“ языков, Мераб Мамардашвили, с которым мы обсуждали увлекательную перспективу вавилонского смешения языков в дробящейся суверенитетами реальности, ответил, что смешения не будет, и объяснил, почти пожав плечами:

— Но это же очень просто: надо договориться, какой язык будет общим, и выучить его. Как договорились в XVII веке, что общеевропейским языком будет французский.

Ответ интеллектуала.

Интеллектуалы, конечно, договорятся, выучат. Скорее всего, все-таки английский, но, может быть, и французский. Или немецкий. Но вряд ли русский. Надо ли петь отходную? Не надо. Слава богу, судьбы культур и языков зависят не только от сознания интеллектуалов, но более всего от бытия тех пластов народа, которые должны питать культуру и ее использовать.

Возвращаясь к „русской теме“, я возвращаюсь к той реальности, которая может либо спасти, либо погрести в будущем русскую культуру.

Она возникла — великая русская культура — и осуществилась как часть всечеловеческой культуры именно потому, что „все сюда устремились“, все „захотели быть русскими“ и все стали русскими: потомок татар Тургенев, потомок эфиопов Пушкин, потомок шотландцев Лермонтов, потомок литовцев Достоевский, потомок немцев Толстой. Теперь процесс обратный, все „бегут с этого места“, „не хотят быть русскими“, вымываются, отделяются — „спасаются в одиночку“.

В основе, в фундаменте этого разбегания — трагический (для русских) процесс опустения земли. Башня кренится — над пустотой. В русской земле запустение, земля брошена, некому пахать, некому собирать, некому кормить культуру, некому кормиться культурой: пусто.

Пока в этой точке не изменится реальность, дело культуры плохо: то есть пока не вернется на землю русский человек, под вопросом и настоящее русской культуры, и ее будущее, а о мировой ее роли и говорить нечего.

Так вот, самое страшное: не хочет возвращаться на землю русский человек. Не берет землю. Уже и власть ему ее навязывает — не берет.

В чем дело? В последствиях сталинской коллективизации? Думаю, дело глубже. И страшнее (в смысле непоправимости). Это наша тысячелетняя психология: земля ничья, земля всехняя.

Какая тут связь с культурой?

Обратно-пропорциональная. И жесткая.

Чем менее охотно берет русский человек в собственность данный клочок земли, тем более охотно объявляет он своей неотъемлемой собственностью всю страну, и это столкновение абстрактных прав на землю с нежеланием конкретно делить эту землю и обрабатывать, эта связь, эта обратная зависимость любви к земле и равнодушия к куску земли — настоящая трагедия и русских, и всех повязанных с ними народов, населяющих Советский Союз.

Вот вам еще одна модель. В центре России пустует брошенная земля, некому строить дороги, некому строить дома, некому жить.

Приезжают строители из... не хочу „мусолить“ чье-то конкретное имя, а вслед за Семеном Липкиным воспользуюсь именем вымышленным: приезжают „навербованные“... гушаны. Строят дороги, строят дома. Остаются здесь дальше строить и жить. Законно? Законно. К ним сюда, в новый гушанский поселок, приезжают из Гушании родственники и знакомые, ибо там, в Гушании, — перенаселение, и работы нет, а тут русская пустошь, и работа есть, и работать некому. Хорошо. Приезжают, селятся, работают. У них вырастают дети, детям нужны детские сады, потом нужны школы, институты. Потом нужны газеты, нужно издательство, чтобы выросшие дети могли читать на родном языке. Все законно? Все.

Дальше. Нужен орган власти — управлять жизнью „малого народа“, оказавшегося в отрыве от „большого“, но, естественно, не желающего терять национальное лицо. Все законно? Все. Автономный район — автономная область — автономная республика... И это законно. И желание связей со своей исторической родиной: связей культурных, административных, государственных — законно? Так почему же, когда они, в конце концов, говорят: „Земля наша“ — это незаконно?

Где подвох? Где надо остановиться? Запретить людям переезжать, жить там, где они хотят, работать там, где работа есть? Смешно, глупо, да и жестоко. Но тогда где, как спастись от всеобщего озлобленного крика: „Это наша земля“?

Значит, в основе ложь?

Галина Старовойтова выстраивает здесь дихотомию: или суверенитет государственный, или суверенитет национальный. Первое, с ее точки зрения, химера, второе — реальность.

Может быть, и реальность, добавлю я, да что-то сильно кровавая. Колесо замыкается: там, где не берет землю л и ч-

н о с т ь, — там берет землю нация: родовой миф, проглатывающий личность. И уже нет выхода: начинают высчитывать, кто когда поселится на „святой земле“ и для кого она более свята: турки здесь просидели четыреста лет, а арабы тысячу четыреста, а евреи — три тысячи четыреста... Простите, но ведь и Авраам, из Ура Халдейского сюда пожаловав, кого-то отсюда согнал...

И, стало быть, есть только один путь избавить от безумия нацию: если все на себя возьмет личность.

Но что такое право личности? Это значит, владеет землей только тот, кто способен сейчас ею владеть, ее обрабатывать, за ней ухаживать. А если не способен? Ну, тогда не взыщите: придет более умелый, более сильный. А если с другим цветом кожи? Придется стерпеть и это: и то, что негры переселяются в Вашингтон, и что индусы в Лондон, и даже то, что японцы покупают Голливуд. Свобода так свобода: терпите.

Американцы, кажется, и терпят.

Мы, русские, не терпим. У нас в крови другое. Земля — ничья, она общая. Владеть ею можно только „всем миром“, тотально. Это не диктат „сверху“ — это диктат „по кругу“: образ жизни.

Как это проецируется в культуру, в язык?

Простейшим образом.

Если имеет право каждый, то никаких гандикапов никакому языку не будет: говори и пиши на каком хочешь. Если ты в Америке хочешь быть итальянцем — пожалуйста, твое право: говори. Посмотрим, кто тебя поймет. Нет, ради бога: живи в итальянском квартале, в „Little Italy“; но если ты выходишь в а м е р и к а н с к у ю действительность, то дальше опять-таки твое личное дело, как быть: можешь говорить на плохом английском, а можешь и на хорошем, твое дело, что ты выберешь.

А в России — разве личность выбирает что бы то ни было? Община выбирает, общество, государство. Русские — это судьба: всех несет потоком и всех поток спасает от

ответственности. И никакого „свободного соревнования“ языков — война. Война суверенитетов, война государственных языков, война культурных наследий; слово — национальное оружие; культурное наследие — национальная собственность; Нобелевская премия — доход в копилку национального престижа.

Увы, мы живем в такой реальности, и другой у нас пока нет. И потому, как во всякой „драке“, я отказываюсь предсказывать исход той ситуации, в которой находится сейчас русский язык и те „нерусские души“, которые себя в нем выражали, а теперь от него яростно отбиваются.

От ситуации и не надо зависеть. Есть старое присловье: черт свое, поп свое. Есть старое правило русской интеллигенции: они свое дело делают, ты — свое. Башни рушатся, Вавилоны возводятся и рассыпаются, люди остаются. При любом исходе любого дела миссия интеллигента неотменима: искать смысл в том, что произошло.

Вот и будем искать.

Хотя если бы „что-то произошло“ с русским языком, то это означало бы лично для меня конец моей осмысленной деятельности.

Тогда смысл произошедшего пришлось бы искать другим.

И башни достраивать тоже.



Мих.ЛОЙ

РУССКО-ЕВРЕЙСКИЙ СИМБИОЗ

С тех пор, как я прочитал „Архипелаг ГУЛАГ“, одна мысль буквально не дает мне покоя. Как могло случиться, что в совершенно, казалось бы, мирное время русские люди так безжалостно могли уничтожать русских людей?

Можно понять еще, если бы это происходило в условиях гражданской войны: там обе стороны вооружены и обе убивают. Раньше нам говорили только о белом терроре, теперь обнародуются все новые ужасные подробности террора красного, а о белом молчат. Мне же кажется, что любая гражданская война ставит моральный знак равенства между сторонами. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с такими замечательными романами, как „В тупике“, „Тихий Дон“, „По ком звонит колокол“ или „Шуаны“.

Не меняет дела, по-моему, и злодейское убийство в Екатеринбурге царской семьи. Ведь очень много ни в чем не повинных семей погибло в то время. А разве Бог ранжирует невинную кровь? Вряд ли. Судя по количеству деятелей литера-

туры и искусства, буквально набросившихся на эту тему, истина, скорее всего, заключается в кризисе жанра...

Может, поискать аналоги в зарубежной истории? Например, Варфоломеевская ночь. В течение одной летней ночи французы католики вырезали тысячи таких же французов, но протестантов-гугенотов. Впечатляет, что и говорить. Недаром сам Иван Грозный, говорят, был в восторге. Но это отнюдь не расправа с безответными жертвами: гугеноты были воинами, да еще какими, их просто взяли врасплох, ночью. В общем, незачем пересказывать „Королеву Марго" или „Юность короля Генриха Четвертого", что кому более по вкусу. К тому же в глазах парижан гугеноты не были и вполне французами, поскольку исповедовали немецкую веру.

Идем дальше. Гитлер — десять миллионов замученных. Но немцев-то среди них было совсем немного, как я читал, один на 300, не больше. Остается недавний геноцид в Кампучии, когда полпотовцами было убито более миллиона безоружных соотечественников. Это сравнение больше подходит, но кажется, что и тут не обошлось без влияния могущественной заграницы, а может, и прямого указания...

Ежедневное же деловитое убийство русских людей русскими людьми в ГУЛАГЕ, причем без всякого иностранного вмешательства, похоже, напоминает только отношения в дикой природе, где хищники преспокойно убивают и поедают других животных.

Если прибавить сюда жертвы коллективизации и раскулачивания — миллионы крестьян, погибших от лютого голода и холода, то получается какой-то самогеноцид. И возникает неизбежно вопрос: почему у нас, именно у нас, так получилось? И ведь происходит, если разобраться, и поныне. Смотришь по телеку „600 секунд" — с какой жестокостью обращаются русские люди друг с другом и в наши дни. Дело не только в разгуле всяческого насилия, организованной и неорганизованной преступности. Налицо и спокойное, деловитое зверство. Например, молодые патронажные сестры районного отделения „Красного Креста" раскурочивают благо-

творительные посылки из-за рубежа для вверенных их попечению несчастных стариков и старух. Ведомства и предприятия преспокойно вывозят за рубеж остродефицитные продукты питания, там продают их за бесценок и привозят для себя видео- и прочие магнитофоны, старые „Тойоты" и т. п. Разве не прямая аналогия с урками, поедающими те несчастные продукты, которые выделялись в лагерях „врагам народа", и курочащими их посылки?

Хищника, поедающего другое животное, не интересует и не может интересовать судьба детей своей жертвы, обреченных на голодную смерть, если они еще не умеют сами добывать корм. Но человек?! Неужто, такой у нас национальный характер? Видно, подумал я, и на этот раз мне не обойтись без моего постоянного научного эксперта профессора Нудника. Нудник — не фамилия, а прозвище подлинного старого профессора, который говорит дельно, но так нудно и медленно, что его ни один пенсионер, кроме меня, на бульваре Карбышева, в пенсионерском Гайд-Парке, выдержать не может. Я же терплю потому, что очень хочу знать...

Сегодня на бульваре пусто и тихо. Я совсем забыл, что нынче день выдачи недельных продовольственных заказов для ветеранов войны и прочего „льготного контингента". Все, очевидно, томятся в льготных очередях. Ничего, пойду после обеда. Профессор здесь сидит, как всегда, на крайней скамейке и, по обыкновению, читает вчерашние „Известия" (вечером читать, говорит, мешает телевизор). Сердечно поздравившись с ним, я спросил его мнение по вопросу, с которого и начал этот рассказ.

— С точки зрения современной науки (так обычно начинает свои монологи профессор Нудник), национальный характер как определенное сочетание природных генетических черт людей, связанных происхождением от общих предков, несомненно, определяет в значительной степени поведение этой общности людей в том или ином конкретном случае, на том или ином этапе истории.

О русском же национальном характере, продолжал он, как

известно, написаны сотни, если не тысячи, сочинений, и я бы не хотел, да и не под силу мне, честно говоря, обобщать эту сложнейшую проблему. Решусь подчеркнуть только одну, надо сказать, давным-давно подмеченную черту русского, как теперь любят выражаться, менталитета. Эта черта — резкая, часто даже полярная (заметьте — полярная) переменчивость настроения.

Вообще-то раз и навсегда закрепленный в сознании психологический стержень или центр — понятие весьма относительное. Посмотрите хотя бы на таких, казалось бы, устойчивых в психологическом отношении немцев во время войны и ныне. Но что-то подобное, более или менее устойчивое, в характере народа есть. Поэтому, вероятно, после массовых психозов, подобных гитлеровскому, немецкое народное сознание возвращается упорно на круги своя, как ванька-встанька, имеющий постоянный центр тяжести. И в принципе возможно предвидеть, что от того или другого человека и народа можно, а чего нельзя ожидать. Не то в России. От одного и того же человека здесь можно ждать прямо противоположного поведения.

Иван Алексеевич Бунин в недавно изданных у нас „Окаянных днях“, подчеркивая эту психологическую шаткость русского человека, приводит старинную народную поговорку: „Из нас как из древа — и дубина, и икона“. Четче, по-моему, не скажешь.

Повторяю, эта черта русского менталитета подмечена давным-давно. Думается, наиболее точно — Пушкиным. Помните в „Дубровском“ то место, когда кузнец Архип сжигает заживо людей и через минуту, рискуя жизнью, лезет на крышу горящего дома, чтобы спасти кошку. Интересно, что Пушкин описывает этот случай без всякой сенсационности. Да и вся досоветская критика, насколько я могу судить, принимала этот поступок как обычное для России явление. Советское же литературоведение (помню по средней школе) рассматривало этот феномен с позиций классово-борьбы: Архип сжег не просто людей, а классовых врагов, и поэтому —

не говоря уже о спасении кошки — проявил социальную доблесть.

Мы с вами, продолжал профессор, довольно давно живем на свете, воевали, многое пережили, встречали людей разных, как говорил поэт, племен, наречий, состояний. Скажите честно, видели ли вы кого-нибудь добрее и лучше русского человека? Нет? Я тоже. А хуже? Тоже нет. И я. Воистину нет предела ни добру, ни злу, которые может сотворить эта душа. Возьмите великую войну. Сколько подлинного героизма! К сожалению, писатели того времени, угождая партократии, некоторые подвиги просто придумали, на иные навели, как говорил другой поэт, хрестоматийный глянec. Но кем бы то ни были на самом деле, скажем, Матросов или двадцать восемь панфиловцев, нет сомнений, что русские пехотинцы действительно закрывали своими телами амбразуры или товарищей, бросались с гранатами под танки. А это уже акт добровольного выбора, а не приказа или воинского профессионализма.

Мы теперь знаем немецких асов, сбивших не десятки, как Покрышкин и Кожедуб (хотя это не умаляет в моих глазах их подвиги, но шок был большой, когда узнал), а сотни (наших) самолетов. Но уверен, что не нашлось в высокопрофессиональном вермахте солдата, добровольно бросившегося под „тридцатьчетверку“.

Но и подобного предательства свет не видел! Миллион (!) военнопленных (это 40 процентов от оставшихся в живых) служил в немецких военных формированиях, поднял оружие против своей страны.

Кто они — изменники Родины или борцы против сталинского тоталитаризма? Раньше ответ был однозначным — изменники! Теперь почти столь же однозначно — борцы! Конечно, это были борцы — главным образом против колхозного строя. Ведь в те годы зверская коллективизация еще определяла жизнь и судьбу основной массы русских людей. Будут после войны колхозы или нет — в этом состоял, как говорится, гамлетовский вопрос наших окопов. Доводилось даже

слышать солдатские байки о том, что ликвидацию колхозов после войны неформально обещал сам Жуков (не беспокойтесь, дескать, войдите хорошо...). Между прочим, не сыграла ли эта байка свою роль в послевоенной жуковской опале?

Все это так, но и от измены никуда не денешься: цена уничтожения сталинизма, за что и подняли эти люди оружие против своих, — ни больше, не меньше — уничтожение государственной независимости Родины. Неужели кто-либо из них не понимал, что, воюя за немцев, он в случае их победы превращался из сталинского крепостного в гитлеровского — пусть и заслуженного — раба, унтерменша?

(Тут я вспомнил, как недавно, получая в сберкассе пенсию, попросил наблюдающего очередь сравнительно молодого бородача пропустить меня к окошку, показал красное удостоверение инвалида войны. Он как-то полусерьезно сказал: „Зря вы так хорошо воевали, видите, чем все обернулось?“ Ошеломленный, но не вполне потерявший логику, я промямлил что-то вроде: „Если бы мы воевали хуже, уж вы-то были бы немецким рабом“. Он только равнодушно махнул рукой (может, примерно так думали и дошедшие до предела от голода пленные солдаты, записываясь к Власову).

— Однако мы заговорились, — сказал профессор, — а время уже обеденное, и тема сложнейшая. Если вы не возражаете, договорим завтра с утра.

Я не возражал.

КТО СТРОГАЕТ ДРЕВО...

Назавтра мы встретились с профессором Нудником, как пелось в популярном фокстроте моей юности, „на том же месте, в тот же час“.

— Что ж, вернемся к нашим баранам, — сказал профессор. — Мы начали вчера с „Окаянных дней“ Бунина, с того места, где Иван Алексеевич говорит об особой, часто полярной переменчивости настроения как черте русского менталитета. Но вот вопрос: от чего все-таки зависит, будет из древа

икона или дубина? Бунин отвечает: от того, кто это древо обрабатывает, — Сергей Радонежский или Емелька Пугачев. Все верно. Говоря языком социологии, поведение и настроение масс формируется лидерами, таков всеобщий механизм социальной жизни, и ничего здесь не поделаешь.

Итак, лидеры, вожди, цари... А их, продолжая бунинское сравнение, „строгание“ народного древа от чего зависит? От классовой принадлежности, идеологии, может быть, пола, состояния здоровья, физической консистенции? Все это уже нами проходило и, надо сказать, в морально-психологических аспектах народной жизни мало что прояснило.

Ныне выдвигается еще один коррелянт — национальная принадлежность лидеров, фактор не из новых, но с новым, говоря по-эстрадному, рефреном.

„Военно-исторический журнал“, например (№ 12 за прошлый год, я его купил специально после телеинтервью бойкого и как-то не по-генеральски развязного главного редактора, но, с другой стороны, что с него взять, если он надумился публиковать на страницах своего сугубо патристического журнала гитлеровскую „Майн кампф“), прямо пишет, что все беды нашей революции произошли оттого, что у кормила власти стояли нерусские люди.

Что же, давайте будем разбираться с этим, как любят говорить бюрократы. Так вот, генерал-редактор не может не знать, что нерусские люди стояли во главе России аж с 1762 года, после смерти Елизаветы Петровны.

Сколько русской крови текло в жилах последнего царя? Как известно, его прапрабабка императрица Екатерина II была чистокровной немкой. Так вот, если ее сын Павел был (что скорее всего) от любовника Сергея Салтыкова, тогда у Николая II была 1/32 часть русской крови. Не понимаете? Следите за моей мыслью: Павел I как сын Салтыкова, имея русского отца и немецкую мать, был русским на 1/2; все последующие цари — его потомки — были женаты на немках (Александр III — на датчанке). Поэтому сын Павла Николай I имел 1/4, внук — Александр II - 1/8, правнук — Александр III -

1/16, праправнук Николай II — 1/32 часть русской крови. Все верно. (Между прочим, граф Витте пишет в своих мемуарах, что Александр III очень обрадовался, узнав от историков о большой вероятности „салтыковского“ варианта, дававшего ему хоть каплю русской крови.) Если же отцом Павла был законный муж Екатерины император Петр III (полунемец), тогда последний царь имел всего 1/64 часть русской крови. Ну, а если другой любовник — польский посол (впоследствии король) Станислав Понятовский (такой вариант не отбрасывал сам Павел), тогда вообще ни капли русской крови последний русский царь не имел.

Это Романовы. Но и последние Рюриковичи имели предостаточно „дегтя“. У самого Ивана Грозного было не более 1/4 русской крови: одна бабушка — гречанка, другая — сербка, дедушка с материнской стороны — русско-литовец.

Нам с вами вовсе не нужно ни исторических архивов, ни библиотек, чтобы проверить умозрительно, в какую сторону культивировали народный русский характер правители различного национального происхождения, ну, скажем, от Ивана Грозного до Брежнева. Дело в том, что все они — неограниченные монархи, самодержцы, как бы формально не назывались их должности — император, предсовнаркома, генсек, в какого бы бога — Христа или Маркса — не верили (может, помните, Николай II при переписи населения на вопрос о роде занятий ответил: хозяин земли русской).

Восьмимесячный демократический эпизод Временного правительства, как и правления более или менее краткосрочных самодержцев можно, естественно, не учитывать.

Так вот, вырисовываются три этнические группы властителей нашей страны более чем за полтысячи лет: русская, немецкая и, скажем, восточная. Первая — Романовы до Елизаветы (условно, не вдаваясь в подробности происхождения ее матери Марты Скавронской — императрицы Екатерины I), а также советские руководители послесталинской эпохи Хрущев и Брежнев; вторая — Романовы от Петра III до Николая II. Третья группа весьма сложна по своему составу. Здесь

Иван IV с его византийскими и балканскими примесями, Сталин, конечно, независимо от того, правил он самостоятельно или как медиум, загипнотизированный экстрасенсом Кагановичем (так об этом пишут ныне некоторые известные писатели). Долгое время невозможно было точно определить этнос основателя Советского государства. Информация тщательно скрывалась, особенно еврейское происхождение деда по матери Израиля Бланка, который вместе с чувашско-калмыцкими предками отца однозначно вводит Ленина в восточную группу российских правителей.

Итак, целевая функция любой этнической группы правителей была одна и та же — империя. Независимо от века, техники и производственных, как говорится, отношений. Очень тонко подметил Бердяев в своей книге об истоках русского коммунизма: делегаты первых конгрессов Коминтерна на самом деле уже служили новой Российской империи. Если раньше коминтерновцы об этом еще не догадывались, то их младшие товарищи, вроде Зорге, Клаузена, Радо и многих, многих других, уже прочно осели в картотеках ОГПУ-НКВД.

А тех правителей, которые объективно ослабляли империю (Петр III, Павел I, Александр II, Николай II, Хрущев) — вне всякой зависимости от причин, по которым это происходило (проигранная война или искреннее стремление к народному благу), — свергали или даже убивали. Причем вовсе не обязательно дворцовые заговорщики, а и революционеры (как убийцы Александра II и его внука). Смысл не менялся, ибо и сами революционеры, возглавив государство, обращались в образцовых строителей империи (как Ленин, а кто сомневается, что таким же был бы, скажем, Пестель или Нечаев, доведись им победить).

Этническая принадлежность правителей не отразилась и не могла отразиться на основных методах строительства великой военной империи. Создать соответствующую этим задачам военную организацию в аграрной стране можно только при условии, что крестьянин будет несвободным. Варианты: содержать воинов-дворян; призываться принуди-

тельно в качестве рекрута в царскую армию; принудительно же быть приписанным к промышленному предприятию (петровские мануфактуры); являться одновременно и солдатом и крестьянином (военные поселения); сдавать государству под угрозой смерти весь амбарный урожай (продразверстка); наконец, стать государственным крепостным с огородом для пропитания (колхозный строй). Все эти идентичные по сути варианты закрепощения людей „империи для” добросовестно осуществляли все этнические группы российских самодержцев: и русская (Алексей Михайлович с его Соборным уложением, окончательно установившим крепостное право, его сын Петр с крепостными мануфактурами и рекрутским набором), и немецкая (Александр и Николай Павловичи с их военными поселениями), и восточная (Ленин с продразверсткой и Сталин с коллективизацией).

Закрепощая людей во имя имперских амбиций, правители — и русские, и немецкие, и восточные — строга́ли (снова вспомним Бунина) народное древо явно к Дубине, а не к Иконе, щедро наполняли народный резервуар Зла. Как видим, не руководители революции принесли в страну насилие, несвободу. Но особая вина не только у них, но у всей восточной группы правителей, несомненно, есть. И состоит эта вина в явном переборе, допущенном при формировании своей власти, своей империи. А это — потоки крови, геноцид, уничтожение целых групп населения.

Было два главных, как говорят медики, пароксизма геноцида — опричнина Ивана Грозного в 1567-1572 годах и (почти через полтысячелетия) наиболее кровавое в мирное время десятилетие сталинщины — 1929-1939 годы, куда вошло раскулачивание, коллективизация и ее дитя — страшный голод начала 30-х годов, две первые, самые тяжелые индустриальные пятилетки и, наконец, террор после убийства Кирова, особенно в 1937 и 1938 годах.

И недоумение историков вызывает то, что англичане называют оверкиллинг — лишние убийства. Оказалось, что Грозный за свою „опричную пятилетку” уничтожил едва ли не

полтора процента населения Великой Руси (если верно, что только при разгроме Новгорода погибло 60 тысяч, как говорит Псковская летопись).

Сталин в свое десятилетие „великого перелома” уложил в землю, как полагает ряд демографов, целых 10 процентов — 17 из 170 миллионов населения страны (не говоря о качественных потерях генофонда).

Конечно, интенсивность сталинщины намного превзошла интенсивность средневековой опричнины: 4,5 тысячи ежедневно против „всего” 55 человек, но и это оказалось не рекордным в истории: гитлеровский геноцид достиг в 1939-1945 годах среднесуточной интенсивности в 5 тысяч человек.

Вопрос заключается в следующем: неужели Грозному или Сталину нельзя было обойтись меньшим числом жертв? Мне кажется, ответ следует искать именно в восточном происхождении того и другого.

Что касается Грозного, то уже давно было подмечено, что он пытался устроить на Руси царство восточного типа, нечто вроде Порты, как это и рекомендовал ему один из политологов того времени, Иван Посошков. А власть Сталина просто не имеет аналогов в мировой истории (включая Древний Восток). Да и геополитические достижения этих властителей восточного происхождения надо признать рекордными во всей нашей истории: Грозный присоединил к еще сравнительно небольшому Московскому княжеству Поволжье и Сибирь, едва не завоевал Прибалтику, а деспотия Сталина вобрала — в том или ином режиме — полтора десятка бывших независимых государств мира — от Средиземного до Японского и Китайского морей.

Известно, что и Грозный, и Сталин относились к населению завоеванных чужеземных территорий намного менее жестоко, чем к своему. Может, именно в этом заключена, как говорят, „сермяжная правда” геноцидов, супертерроров: бей своих, чтобы чужие боялись.

Так что наиболее мирными хозяевами русской земли были цари немецкого происхождения. Не то, что геноцида, самого

завалящего террора не устроили. Если вешали кого, то именно террористов. Искренне и сознательно стремились вести народ к Добру — на основе известной программы „православие, самодержавие, народность“, но из крепостной деревни, как ни старались немцы на престоле пресекать крепостнические излишества, постоянно торчали длинные уши насилию, Зла, пронизывавшего весь жизненный уклад.

Снова мысленно откроем „Дубровского“. Гарем Троекурова состоял из 16 (не 15 или 17, а именно 16, видимо, списано с натуры) крепостных девиц. В серале закадычного пушкинского друга и соседа Алексея Вульфа, владельца Тригорского, было 10 особ. Да и сам Александр Сергеевич, как известно, от соблазна прижить крепостного ребенка не удержался.

Когда империя потерпела поражение в Крымской войне, и крепостное право в ходе тогдашней перестройки пришлось отменить, немцы цари не нашли более эффективной нравственной программы. Ослабление же империи объективно поставило вопрос о замене этой группы хозяев земли русской. Перестраивая империю, цари сами породили внутренних врагов своих — революционеров, один из отрядов которых и сменил их в 1917 году во главе государства. Мало того, открывая дорогу Злу в виде революционного террора и правительственного контртеррора, властители еще и позаботились о серьезнейшем усилении своих врагов за счет еврейского населения России.

Однако давайте эту сложную тему лучше обсудим следующий раз, что называется, на свежую голову.

Так мы и сделали.

А ПЕТР ПЕРВЫЙ-ТО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, БЫЛ ПРАВ

Назавтра мы с профессором Нудником снова встретились „на том же месте, в тот же час“, и профессор продолжил свой рассказ.

— Я уверен, — сказал он, — что абсолютное большинство

наших людей думает, будто евреи жили на Великой Руси всегда, во всяком случае с очень давних пор. На самом же деле — примерно 220 лет. В Московской Руси их „не прописывали“. Еще Петр I категорически отказался пускать евреев на Русь, невзирая на упущенную экономическую выгоду, о которой ему говорили на Западе. Не верил почему-то мудрый царь в возможность русско-еврейского симбиоза („Вы знаете евреев, а я знаю русских“ — так, вроде, отвечал он западным ходатаям).

Прародительница немецких царей на русском троне Екатерина II получила еврейское население, уже несколько столетий проживающее на отошедшей к России части Польши, при разделе этого государства в начале 70-х годов XVIII века между Россией, Австрией и Пруссией. Если бы великая императрица знала, что этим актом она подписывает смертный приговор своему праправнуку...

(Кто бы в Москве ни дал указание о расстреле царской семьи, непосредственное решение приняло екатеринбургское большевистское руководство во главе с евреем Голощекиным, а командовал казнью и лично застрелил царя еврей Юровский.)

Итак, основная масса еврейского населения появилась в Российской империи только в конце XVIII века. А основная масса русского народа (именно русского; на Украине и в Белоруссии евреи жили давно) их до этого никогда не видела. Да что там восемнадцатый век! Разве вам лично не доводилось встречать во время войны русских людей из глубинки, которые впервые в жизни увидели евреев воочию — из эвакуированных или попавших в те же воинские части — и не скрывали своего удивления, что внешне по крайней мере евреи, в общем, похожи на обычных людей. (Я кивнул головой: конечно, доводилось, в пехотной школе.)

Тем не менее, продолжал профессор, предубеждение по отношению к евреям в XVIII веке просто не могло не существовать у русских людей. Это легко понять: ведь если кому-то запрещалось жить в стране, то не за добрые же дела.

Злые же дела евреев здесь, в Московской Руси, могли быть связаны исключительно со священной историей, с ролью их как „врагов Христа“. Известно ведь, что никто так искренне, по-буквальному, что ли, не веровал в Новый завет, как русские.

Естественно, ни о какой немедленной эмансипации еврейского населения не могло быть и речи, даже если бы немецкие государи на российском престоле очень этого хотели. Но они и не хотели: все, что грозило сплочению народа во имя имперских целей, не годилось.

Смысл установленной Екатериной и усовершенствованной ее преемниками дискриминации евреев состоял в недопущении их в пределы Великороссии (т. н. черта оседлости, воспрещающая поселение евреев, кроме некоторых категорий народа, за пределами Украины, Белоруссии и Бессарабии); всяческом сдерживании их социальной активности (в частности, процентная норма в учебных заведениях: в черте оседлости — 10, вне ее — 5, в столицах — 3 процента учащихся, что, забегая вперед, скажем, выше негласной нормы сталинско-брежневской эпохи), особые налоги и т. д.

В то время как на Западе полная эмансипация евреев наступила в десятилетия, последующие за революцией 1848 года (любопытно при этом, что самые выдающиеся государственные деятели всех времен были, как правило, противниками дискриминации — Карл Великий, Сулейман Великолепный, Кромвель, Наполеон и др.), в России равноправие дала еврейскому населению страны только февральская революция.

Как вы знаете, по закону Ньютона, действие равно противодействию. Если евреи соседних империй — Австро-Венгерской и Германской — в своем большинстве были искренне преданы своим кайзерам, то русские евреи — независимо от рода занятий и места жительства — как правило, были настроены антимоноархически. Я уже не говорю о поколениях еврейской молодежи, просто ушедшей в революцию. Ничего не стоит, не правда ли, привести, что называется, с ходу

10 еврейских фамилий среди руководящего звена всех русских революционных партий. Читайте: Натансон, Гершуни, Гоц, Камков, Цедербаум (Мартов), Либер, Бронштейн (Троцкий), Розенфельд (Каменев), Радомысльский (Зиновьев), Волин. Здесь все — и народники с эсерами, и меньшевики, и большевики, и анархисты. А можно, подумав, назвать еще 10 и 20. (Но „сермяжная правда“ такова: если среди меньшевиков евреи составляли 80 процентов, то среди большевиков — всего 20.)

А пошли бы они в революцию, будучи на положении западного еврейства? Ведь французские евреи, несмотря на все неприятности, связанные с делом Дрейфуса, не ушли в массовом порядке в революцию.

Мало того, цари избрали в борьбе с еврейскими революционерами самую худшую, на мой взгляд, тактику — мщение невинным. В отместку революционерам правительство устраивало, главным образом в черте оседлости, еврейские погромы, которые не только усиливали приток новых поколений в революцию, но и породили еврейскую эмиграцию в Америку и российский политический сионизм — движение за создание еврейского государства в Палестине. Может, вы знаете, что еще до первой мировой войны из России эмигрировал в Палестину ряд видных сионистов во главе с Жаботинским, которые внесли очень значительный вклад в дело создания государства Израиль. Как все в истории связано в один тугой узел!

Конечно, сионистский поток еврейской интеллигентной молодежи по интенсивности никак не мог сравниться с революционным. Но результаты! В этом плане интересно сравнить жизнь двух современников — оба известные журналисты и выдающиеся ораторы — Владимира Жаботинского и Льва Бронштейна (Троцкого). В свое время сравнивать их было, мало сказать, некорректно, было просто смешно: с одной стороны, главный стратег мировой революции, второй человек после Ленина, а с другой — деятель скромного полуподпольного еврейского движения в подмандатной Палестине. Но теперь ведь известен финал.

А в финале вот что. У Жаботинского — процветающее современное государство, а у Троцкого — по сути, ничего. Множество книг, несколько сотен, ну, пусть, тысяч последователей, да время от времени оживляющийся интерес в печати, в основном в связи с обстоятельствами его злодейского убийства, организованного Сталиным. Для фанатичного стратега мировой революции — это нуль.

Но мы отвлеклись. Если февраль дал еврейскому населению России гражданское равноправие, то Октябрь — участие в государственном управлении. Я вовсе не имею в виду большевистских лидеров еврейского происхождения, хотя их удельный вес среди советской первоначальной элиты был немалым: 24 процента в составе ЦК, избранного на VI съезде партии (август 1917) и 10 процентов в первом Совнаркоме. Проблема в другом: русская интеллигенция в основном не приняла революцию, и, таким образом, создался определенный вакуум в управленческих, как теперь любят выражаться, структурах. Вакуум, надо сказать, немалый. Если из двух миллионов эмигрантов после гражданской войны (это теперь именуется „первой волной“) хотя бы половина принадлежала к служилой интеллигенции, то для такой страны, как Россия, где большинство населения было неграмотно или малограмотно, это означало подлинную управленческую катастрофу. Прибавим сюда еще эмиграцию внутреннюю — нежелание служить большевикам.

Никакой альтернативы русской служилой интеллигенции в виде большой группы более или менее грамотных людей, кроме еврейского населения, не существовало. И оно воспользовалось создавшимся вакуумом.

Переместившиеся из черты оседлости в столицы, губернские города люди заняли места в спешно формируемых бесчисленных конторах по распределению, плану, снабжению, сбыту, учету, производству и прочая и прочая. Как это происходило, можно узнать из литературы — от Эренбурга до Ильфа и Петрова. Заполненная в значительной степени грамотными и не совсем грамотными евреями новая админи-

стративная система, несмотря на свою специфическую громоздкость и неповоротливость, в немалой степени сохранившись до наших дней, стабилизировала управление новым государством.

Вы понимаете, конечно, что это не больше, чем схема, но в общем итоге все верно: в 30-х годах примерно 40 процентов советских евреев проживало в шести городах — Москве, Ленинграде, Одессе, Киеве, Харькове, Днепропетровске, а среди студентов вузов евреи составляли более 14 процентов (среди всего населения — менее 2-х). Но занятость еврейского населения в новой администрации вовсе не означала его расцвет, как может показаться на первый взгляд. Более того, расцвет не успел наступить, как фактически начался закат. Он был связан с происшедшим в 20-е годы расколом партии. Стоит ли специально говорить о том, насколько велика была еврейская прослойка не только среди лидеров, но и рядовых оппозиционеров. Среди сталинистов самым крупным партокротом еврейского происхождения был и остался Каганович, которому по авторитету и интеллектуальному уровню было как от земли до неба до таких оппозиционеров-евреев, как Троцкий, Каменев, Радек, Сокольников, Иоффе, Лашевич, и многих других. С идейным разгромом оппозиции еврейская прослойка в верхнем звене партократии стала существенно сокращаться. Ее удельный вес в составе ЦК от съезда к съезду постепенно падал: если VII съезд в 1918 году избрал в высший орган партии 32 процента евреев, то XVII (1934) — „съезд победителей“ — 13. Закатилась звезда тех самых талантливых и самых заслуженных перед революцией евреев, которым Тору заменил — совершенно искренне заменил — „Капитал“.

Ни в коем случае не следует как-то преуменьшать огромное зло, причиненное ими стране, но и умалчивать о том, что их отличало от Сталина, тоже не следует. Достаточно, что они отрицали саму возможность построения социализма в одной „отдельно взятой“ стране, то есть отрицали самое страшное — коллективизацию (насилие над крестьянством ограничивалось, по ним, контрибуцией).

После их ухода из большой политики наступил черед тех, в душе которых место Торы — с той же степенью искренности и любви — заняли „Вопросы ленинизма”. Эти были поглосе, преданы Сталину душой и телом. Они приняли, эти служивые, самое активное участие в сталинском „великом переломе”. Ирония же истории заключалась в том, что этот кровавый перелом, в который служивые евреи, повторяю, внесли немалый вклад, означал вторую стадию заката советского еврейства. Страшный поток террора конца 30-х годов безвозвратно унес практически всех евреев-партократов, чекистов и военачальников, а также множество крупных и средних технократов. А на их место евреев уже не назначали.

Если сомневаетесь, сравните стенографические отчеты XVII и XVIII съездов. Хотя по удельному весу евреев в Центральном Комитете они отличались не очень (соответственно 13 и 10 процентов), но в составе делегатов разница столь велика, как будто за 5 лет — с 1934 по 1939-й — произошла еврейская эмиграция.

Видимо, у Сталина — в тех же имперских, царских целях — еще в начале преобразований был замысел использовать „великий перелом” для избавления от еврейского элемента в высшем и даже в значительной степени среднем звене управления. А может, замысел был еще более великодержавным. Я давно обратил внимание на национальный состав группы Тухачевского, осужденной 11 июня 1937 года на смерть. Так вот, настоящих „коренных”, русских фамилий здесь не было. О Тухачевском всегда можно было сказать как о потомке смоленской шляхты — обрусевших поляков. Далее — два еврея (Якир и Фельдман), два литовца (Уборевич и Путна), латыш Эйдемман, эстонец Корк, украинец Примаков — украинец не между прочим, а стопроцентный украинский интеллигент, воспитанный в семье национального классика Михаила Коцюбинского, командир корпуса „червонных” (не красных, а именно „червонных”) казаков. Не было ли это началом курса на интенсивную русификацию генералитета?

Если да, то это Сталину удалось полностью. Вы знакомы, вероятно, с книгой Штеменко о генштабе в годы войны (я кивнул: конечно, — подарили к 40-летию Победы)? Так вот, там фигурирует свыше 200 фамилий командующих объединениями (фронт, армия, флот) и родами войск — в общем, высшей элиты Отечественной войны. Среди них единственный „чистый” (может, были скрытые или полукровки) еврей (Крейзер) и еще один „вроде еврей” (караим Колпакчи), три армянина (Баграмян, Худяков, Исаков), два грузина (Леселидзе и Чичибадзе), а единственный латыш превращен в русского (Берзин в Берзарина, это первый комендант Берлина). Да, чуть было не запамятовал поляка Рокоссовского, но надо учитывать, что он уже успел побывать в преисподней ГУЛАГА. Другое дело, что за эту русификацию заплатил русский народ потоками своей крови.

Но вернемся к нашей теме.

Третий этап заката начался почти без перерыва. Наступил черед основной массы евреев, тех простых, для которых роль Торы играл „Краткий курс истории ВКП(б)”. Когда бы ни сформировалась окончательно у Вождя и Учителя идея увидеть Советский Союз „юденфрай” (свободным от евреев), наподобие гитлеровской Германии, сделать это можно было, естественно, только путем геноцида. Ретроспектива показывает, что пристрелка к нему началась еще в годы войны, когда была фактически восстановлена в новых, сугубо лицемерных формах неравноправность еврейского населения в стране. На первых порах она вылилась в ограничение приема в вузы и на целый ряд должностей. (В ЦК избранном на XIX съезде в 1952 году, евреев было уже полтора процента). Особое лицемерие (когда бьют и плакать не дают) заключалось в том, что внешне дискриминация была, в отличие от царской или гитлеровской, прикрыта идеологией интернационализма. За разговор о том, что евреев как-то притесняют, можно было не только лишиться партбилета, но и загреметь на 10 лет в лагеря, а затем до конца жизни — в ссылку.

Гласной прелюдией к геноциду стала, как известно, кам-

лания против космополитов, которая легализовала массовый антисемитизм и окончилась расстрелом группы виднейших деятелей еврейской культуры летом 1952 года.

Этап депортации и массового уничтожения еврейского населения стартовал, если помните, с дела врачей в январе 1953 года. Все уже было готово, но, как говорят, сжалился Бог... Геноцид не получился, но и равноправие не наступило.

В хрущевско-брежневскую пору принадлежность к еврейству стала играть роль обычной для феодализма сословной неполноправности. По сути, открыто была восстановлена процентная норма, причем не только в высших учебных заведениях (даже более урезанная, чем при царе), но и в госаппарате и научно-исследовательских институтах. В обстановке подобного сословного устройства было воспитано целое поколение советских людей. Любой человек любой коренной национальности, что называется, с младых ногтей, четко осознавал, что, просто по рождению, находится выше любого еврея на общественной лестнице. Одно дело — стоять последним в очереди и совсем другое, когда за тобой стоит еще кто-то. Мы еще не разобрались по сути, насколько сословная неполноправность евреев стабилизировала нашу тоталитарную систему. Ведь в выигрыше были все (кроме самих евреев, конечно).

(Тут я вспомнил подслушанный случайно разговор детей. Было это где-то в середине 70-х годов на причале Серебряный бор-2. Я дождался катера в Троице-Лыково рядом с ожидавшей того же группой школьников класса пятого, не старше. Пока мальчики у края дебаркадера вели обычные для этого возраста идиотские милитаристские разговоры (что будет, если в причал попадет торпеда...), девочки, окружив учительницу, занимались обычным женским делом — обсуждали мужчин-одноклассников. И одна девчушка сказала про кого-то из них: „Он еврей, но пишется русским“. Поскольку учительница выразила сомнение (фактическое, не моральное), девочка повторила: „Я точно знаю: он еврей, но пишется русским“. Мне этот невольно подслушанный раз-

говор оказался неплохой иллюстрацией к рассказу профессора: дети, принимая неполноправность целого народа как должное, явно осуждали тех париев, которые обманным путем („записан русским“) пытались свою приниженность преодолеть. Что же удивительного в том, что, когда государство стало отходить от сословно-национального устройства, многие люди, привыкшие к неполноправности евреев, искренне возмутились. И недалеко от причала Троице-Лыково, как раз напротив того места, где я когда-то подслушал разговор школьников, появилась надпись — коричневым по выкрашенной белой краской большой трубе — „Жиды, убирайтесь из России“, — именно так, через одно „с“, из чего можно заключить, что она сделана рукой нового пятиклассника).

Тем временем профессор продолжал:

— Я знал человека, который никак не мог соединиться с любимой женщиной. Сначала не давала развод жена, а когда он овдовел, стала противиться новому браку дочка. Когда же дочку через какое-то время удалось уломать, жесткую позицию заняла взрослая уже внучка. Короче, вся жизнь у этих людей ушла на преодоление идиотских, казалось бы, препятствий, а когда соединились, наконец, оба уже были пожилыми. Эта нехитрая и грустная история напоминает мне в общих чертах историю еврейского населения в России. Когда с перестройкой отпал в значительной степени антисемитизм государственный, сильно поднял голову антисемитизм массовый, общественный. В образе „Памяти“ и других антисемитских организаций фактически возобновил свою деятельность „Союз русского народа“. Снова сильно запахло погромом. Причем не на Украине, которая в доперестроечные времена была, если можно так сказать, эпицентром антисемитизма и в которой он еще в средние века имел социальные корни, связанные с ролью еврейского населения в экономике польской шляхты, жестоко угнетавшей украинских крестьян, а именно в России, в Москве. Если на Украине, где во времена Хмельниччины произошло страшнейшее избиение евреев, где жертвы погромов в годы гражданской

войны исчислялись сотнями тысяч, ныне происходят митинги украинско-еврейского братания, то, например, митинг на Манежной площади в Москве в день Советской Армии „блистал” не одним вполне антисемитским лозунгом.

Не только в подземных переходах продается, но и в фойе российского съезда писателей продавалась свободно махровая антисемитская литература царского времени.

Самое, конечно, опасное — это соединение профессиональных, так сказать, бытовых антисемитов и партократии в одно движение, кем-то остроумно названное национал-большевизмом.

Новый объединенный великорусский антисемитизм требует суда над евреями. За участие в сталинщине, за мифическое спаивание русских (кем, когда?) — словом, за все.

Чего больше: не так давно писатель В.Распутин — тогда член Президентского совета — на полном серьезе потребовал суда над еврейским народом за убийство Бога.

Суд не суд, но подвести итоги нужно. Кто же кому остался должен? Я думаю, никто никому. Ничья (ремиз)!

Конечно, бессмысленно, если не кощунственно, сравнивать жертвы обеих сторон в количественном виде. Но если даже опуститься до этого, как делают некоторые национал-большевистские издания, то удельная убыль еврейского населения за все 220 лет без малого его жизни в России (царские, белогвардейские и прочие погромы, сталинский террор, Бабы Яры и гетто 1941 года, которые ведь не могли состояться при хотя бы сколько-нибудь сочувственном отношении большинства местного коренного населения к жертвам гитлеровского геноцида) никак по крайней мере не меньше удельного веса жертв сталинского геноцида 30-х годов, в организации которого партократы, чекисты, различные управленцы еврейской национальности действительно приняли активное участие (интересно, что никто не возлагает на **всех грузин** ответственность за преступления главного организатора геноцида).

Итак, ничья. И до свидания — симбиоз за 220 лет не полу-

чился. При открытых (или даже полуоткрытых) дверях на Запад взлет юдофобии в стране мог окончиться и кончается на наших глазах массовой эмиграцией, которую и перестройка оказалась затормозить не в состоянии. Мне кажется, что если дело пойдет нынешними темпами, то через несколько лет живой советский еврей станет музейным экспонатом, которого будут за деньги показывать туристам.

Недавно „Новый мир” опубликовал переписку двух замечательных русских писателей начала века — принципиального еврея Гершензона и принципиального же (хотя и непоследовательного, по уверениям современной критики) антисемита Розанова. В содержащейся в их письмах интереснейшей и ныне полемике по „еврейскому вопросу” Розанов приводит аргумент, который можно, думается, сделать эпиграфом ко всем перипетиям русско-еврейского неудачного симбиоза. Для вящей силы, что ли, он даже записывает это в виде стихотворного рефрена:

Мы хотим одного...
А жида хотят другого.

Вот и все! Не совпадают потребности и интересы — не больше, не меньше! Из этой антиномии не вырваться. Разве все последующие (и предыдущие даже) антиеврейские аргументы не выглядят вариантами этой действительно глубочайшей мысли? В таком разе смешанный брак — пусть самый счастливый — не больше чем разновидность запретного плода — одного из самых вкусных, как известно, человеческих лакомств. А утечка мозгов в результате еврейской эмиграции — суть не несчастье, а благо и т. д. и т. п.

Если властители страны не смогли за два с лишним столетия добиться более или менее стойкого симбиоза русских и евреев, то дело не в этносе самодержцев, как это получается по методике „Военно-исторического журнала”. Дело в принципиальной невозможности соединения подлинной еврейской эмансипации и потребностей империи. Ведь даже

явные юдофилы, как Ленин, и те ничего лучше полной ассимиляции для евреев не придумали. Из-за опасений за мощь империи властителей, сделавших шаги к либерализации еврейской проблемы (ранние Александры — Первый и Второй), не поддержало общество. Министры Александра III мечтали о всеобщем исходе евреев на Запад (как и Брежнев много лет спустя).

Николай II ссылался на „внутренний голос” — вроде так было написано в его отрицательной резолюции на докладной записке великого государственного деятеля, хотя и дикого антисемита, Столыпина, предлагавшего определенные меры в сторону эмансипации евреев. Только Сталин откровенно указал на русский народ. Как передают, он сделал это устами Молотова, который в ответ на рассказ Михозлса и Фефера о том, что американские евреи, к которым они ездили во время войны от имени Еврейского антифашистского комитета, просят правительство СССР официально опровергнуть слухи об усилении в России антисемитизма, сказал, что нельзя сейчас взваливать еще один груз на плечи русского солдата.

Молотов знал, что говорил. Груз действительно был тяжелым.

В общем, все началось с искренней веры в события священной истории, с образа „Христовых врагов”. А снятие образа врага (древний стереотип со временем оброс густой бытовой и политической бородой) оказалось несовместимо с имперским сознанием. Империя, естественно, была важнее всего.

Не сняла образ „Христовых врагов” и церковь, хотя еще в 60-х годах созванный Ватиканом Вселенский собор официально освободил еврейский народ от обвинения в гибели Спасителя. Решения этого собора для нашей патриархии, конечно, не обязательны, но и дискуссии ведь никакой не было —

ни в специальной, ни в атеистической литературе.

Нет, не стоило, по-моему, Екатерине Великой присоеди-

нить польские земли, не зная, что делать с евреями. Но опять же империя оказалась важнее.

Теперь сами сделайте вывод, подвинуло ли все это русский национальный характер к Добру или породило (несмотря на ассимиляцию, смешанные браки, Пастернака и Мандельштама) большое Зло. Петр Великий-то оказался прав!



Андрей КОЛЕСНИКОВ

ЛЕВИАФАН И ВЕНЕРА

Об отношении государства к женщинам легкого поведения. Советские проститутки в социологическом аспекте.

Материал для этой статьи, по странному капризу судьбы, я собирал незадолго до государственного переворота в СССР, во время него и уже после печальных событий. Возможно, в эти дни многие проститутки были на баррикадах. Как говорится, „свобода приходит нагая“. И в это же время один сторонник чрезвычайного положения просто нехорошо посмеялся, узнав о том, что я занят проблемой государственной политики по отношению к проституткам: „Давить их надо, вот и все...“ Примечательно, что незадолго до путча Борис Карлович Пуго, министр внутренних дел, учредил приказом № 192 „милицию нравов“. Так или иначе, мне показалось, что настал тот момент, когда возможен серьезный разговор о проституции. Именно после переворота я поверг в крайнее изумление некоторых должностных лиц, задавая им диссонирующее с общей ситуацией вопросы.

НОВЫЙ ДЕКАМЕРОН

Пусть читатель не ждет рассказа в стиле „журналист получил задание... переспать с проституткой“. На этот счет я, впрочем, тоже допрашивал людей, на собственной шкуре убедившихся в дискомфорте нашего сексуального сервиса. Моя же статья — своего рода социологический очерк о проституции в Советском Союзе.

Как известно, Фридрих Энгельс связывал существование проституции с тяжелыми условиями жизни при капитализме и — самым парадоксальным образом — с укладом буржуазной семьи. Однако среди советских проституткок наряду с теми, кто действительно влачил жалкое существование и, подобно Сонечке Мармеладовой, вынужден был торговать своим телом, много женщин из вполне обеспеченных, иной раз даже из „элитарных“ семей.

Нужно понимать психологию советской женщины, которая с молодых ногтей тайно ждет избавления от „этой“ жизни. Ее не очень-то волнует проблема демократии и деспотизма (хотя в любви к Борису Николаевичу, кажется, просматриваются и эротические мотивы). Ей ближе к сердцу возможность „красивой жизни“ — „здесь“ ли, „там“ ли, — но что она определенно знает: путь к такой жизни лежит отнюдь не через желудок мужчины.

Вообще говоря, проституция, в глубине души многими женщинами таким открытым образом не называемая, на самом деле в их глазах, необычайно романтическая профессия. Жажда удовольствий, долгие годы противостоявшая ханжеской пуританской морали тоталитаризма, была одним из самых сильных импульсов в обществе бесконечной серости и унылости во всем.

Я далек от той мысли, что, к примеру, в 50-е годы в СССР проституткок не было. Может быть, их было меньше. Но, очевидно, только потому, что на них сильнее „давили“. Время гласности дало название этому явлению. Простое его название, наделение именем породило и проблему проституции, по-прежнему решаемую полицейскими средствами.

В Институте социологии АН СССР мне рассказали, что в 70-е годы в рамках исследований по проблеме подготовки молодежи к труду (заметьте, даже тогда, когда социология хоть и тайными, полузакрытыми путями развивалась, специальных работ по проституции не проводилось) выяснилось весьма пикантное обстоятельство: по словам анонимных респондентов — по сути дела, девочек-подростков — „если б не родители”, многие из них пошли бы „в проститутки”.

В начале 80-х проводились исследования в Москворецком районе столицы (это там, где Павелецкий вокзал, отнюдь не самый жуткий из заплыванных московских вокзалов): среди привокзальных проституток более 60% состояли в комсомоле, каждая третья проститутка пребывала еще в нежном возрасте — от 14 до 17 лет.

Уже в совсем недавнее время были опрошены московские школьники и учащиеся ПТУ по поводу профессий, позволяющих иметь высокие доходы. Был предложен список из двадцати пунктов. По своему „рейтингу” профессия проститутки занимает 9 - 11 места, делит их с должностями директора и продавца магазина. Были „обставлены” профессии дипломата, таксиста, автослесаря, мясника.

Среди советских проституток минимальный процент тех, кто идет на эту жизнь только в силу крайней материальной нужды. Здесь непременно присутствует и момент удовольствия и социального протеста.

Да, по сюжетам одной только Москвы можно было бы составить „Новый Декамерон”, которому позавидовал бы Боккаччо, а маркиз де Сад перевернулся в гробу. Взять только специализацию проституток: вокзальные, „плечевые” (на автодорогах), гостиничные (в любом городе Советского Союза), ресторанные, рыночные, валютные.

Существует в советской стране и некая доля процента настоящих „гейш”. Чуть большее число составляют, естественно, нигде не регистрируемые актрисы, киношницы, молодые певицы, чье карьерное продвижение целиком зависит от членов разнообразных комиссий и администраторов „от

культуры”. Такие „богемные” проститутки, как заметил один социолог, „не бесталанны, но и не талантливы”. И уж эти-то наверняка не квалифицируют себя как проституток.

Есть у меня данные и о том, что пышным цветом расцвела в госучреждениях „служебная” проституция, причем на вершине бюрократической иерархии, например, в аппарате кабинета министров.

Я уж не говорю о вынужденной проституции в высших учебных заведениях. Почему-то чаще всего факты студенческой проституции, обусловленные некоторыми обстоятельствами учебного процесса, наблюдались в юридических вузах — на юрфаке МГУ и особенно во Всесоюзном юридическом заочном институте (ныне Московский юридический институт).

Так что отдельные виды проституции в последнее время уместно было бы просто назвать „платным сексом”. Именно это обстоятельство дало основание социологу Сергею Голоду провести грань между женщинами, ведущими неупорядоченную половую жизнь (развратницы, путаны), и проститутками (газета „СПИДинфо”). Ходит даже такой анекдот: женщина при знакомстве с мужчиной интересуется его профессией. Он: „Угадайте! На „и” начинается, на „р” кончается...” Она: „Инженер”. Он: „Правильно. А Ваша профессия?” Она: „На „б” начинается, на мягкий знак кончается”. Мужчина задумывается в смущении. Она: „Библиотекарь. А то, о чем вы подумали, — это мое хобби”.

Сейчас в Москве прогремели сообщения о фильме Тофика Шахвердиева „Умереть от любви”, в котором документально рассказывается о некоей благополучной супружеской чете: полное согласие, дети и... муж продает свою жену, как картошку, на рынке, у „Националя”. Героиня фильма говорит чрезвычайно характерные для советской проститутки слова: „Я не представляю, что бы я делала, если бы не было иностранцев. Я постоянно влюблена. Мне нужен мужчина так или иначе. Так пусть это будет иностранец”. Что ж, есть-таки в нашей „совковой” проституции тяга какого-то клептоманического свойства ко всему иностранному, в том числе и дол-

ларовому зарубежному фаллосу. Все эти факты говорят о том, что у нас проституция не только социальная, но и биологическая, то есть социобиологическая проблема. И в среде проституток происходит именно такого рода отбор: остаются „на боевом посту” те, кому это нравится.

К тому же проституция — это карьера. Вот о чем рассказал в советской прессе продавец собственной жены Петр Юрковецкий: ... для многих это своего рода карьера — ну как же, в центре, мафия, то да се. А девчонки — тем более по сравнению с родным селом — они чувствуют себя на вершине славы. И подруги им завидуют”.

ПРОСТИТУЦИЯ КАК ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

Это не мое определение. Эта емкая дефиниция принадлежит главному ученому секретарю Советской социологической ассоциации Эдуарду Фетисову. В нашей с ним беседе он назвал проституцию и социальной болезнью, и вызовом обществу, и девиантом. Все это близкие по значению, но все-таки разные понятия, которые ему удалось свести в единую формулу.

Действительно, в проституции мы обнаруживаем и отсутствие культуры (то есть нравственного закона, говорящего, что продавать свое тело за деньги нехорошо), и печальное положение молодежи в нашей стране, молодежи деморализованной и почти неспособной к выбору профессии (в чем, естественно, виноваты семья, государство, система социализации). Проституция, по крайней мере в советских условиях, — это измеритель уровня жизни. Сколько среди проституток преступниц, забулдыг, чудовищ в человеческом облике, которые и в подлинно человеческой-то среде никогда не жили.

Женщина в этой недочеловеческой среде — всегда потенциальная жертва. Поэтому абсолютная лояльность такой женщины установленным в люмпенизированном окружении правилам игры есть мало-мальская гарантия безопасности.

На панель чаще всего идут те из девиц, которые в 12-14 лет начинают половую жизнь, участвуют в „деятельности” подростковых преступных группировок и т. д. и т. п.: как говорил в свое время Райкин, „пить, курить, говорить начал одновременно”.

Совсем недавно группа социологов провела обследование юных правонарушительниц, содержащихся в воспитательно-трудовых колониях. Из тысячи обследованных девиц 20% имели венерические заболевания, 25% — гинекологические, у 3% были дети. Группа риска по СПИДу (проститутки, лесбиянки, наркоманки) составила 35% (исследование специалистов ВНИИ МВД СССР).

Социологические исследования показали, что так называемые „общие девочки”, из которых и рекрутируется основной „отряд” незлитных проституток, — „это наиболее презираемый подростками разряд девиц от уверенных в себе... явно ищущих новых сексуальных впечатлений и заручительства самых авторитетных участников группы, до запуганных, подавленных существ, выполняющих любые указания „группировщиков” и их влиятельных подруг и не способных самостоятельно изменить сложившуюся вокруг себя жизненную ситуацию. Например, в 80% казанских молодежных групп систематически имеют место факты насильственного принуждения малолетних девушек к вступлению в половые отношения, причем в одной трети случаев их возраст не превышает 14-15 лет” (Ю.Антонян, Л.Перцова, Л.Саблина. Опасные девицы. — Социологические исследования, 1991, № 7, с. 97).

Атмосфера тотального насилия нагнетается и добровольными борцами с так называемыми лицами девиантного (отклоняющегося) поведения. В условиях отсутствия государственного контроля за проституцией эту функцию взяли на себя накачанные мальчики, сублимирующиеся в спортсекциях по атлетической гимнастике и реализующие свою половую функцию в избиении проституток. Тот же маркиз де Сад нашел бы в психологии „люберов” из Подмоскovie,

„ништяков" из Оренбурга, членов „Отряда активных действий" из Ленинграда темы не на один роман: столь утончен садизм тех, кто избивает проституток (а заодно и наркоманов, хиппи, бродяг, гомосексуалистов)!

Кто же может обезопасить проституток? Только члены их групп, если они занимаются вместе с ними грабежами, хулиганством, а иногда и групповыми изнасилованиями, или сутенеры, которые тоже иногда осуществляют „чуткое руководство" посредством кулака. А кто должен обезопасить проституток? „Милиция нравов"?

В свое время я работал в Верховном суде РСФСР и по приговорам судов Сибири и Дальнего Востока, Тувы и Якутии знаю, что такое люмпен-проститутка. Это преступник, античеловек, продукт ужасающих условий жизни в этих регионах Союза, где чуть ли не все преступления с невиданной легкостью совершаются после бутылки портвейна „Агдам". Сколько проституток держали жертв насильников за руки и за ноги во время изнасилований, заканчивающихся, к примеру, разрывом прямой кишки потерпевших или заталкиванием бутылок во влагалище! Сколь часто ради забавы „матери" помогают своим дочерям в детском возрасте познать мужчину! Или вот пример, который привел Сергей Голод: в небольшом украинском городе 14-летняя девушка имела в течение года около сорока мужчин и половину из них заразила гонореей. Школьница не знала таксы и отдавалась за рубль, поскольку мама давала ей именно такую сумму на завтрак.

Но поднимаемся с провинциального дна на сияющие вершины проституции: перенесемся в Москву. И в столице та же картина, может быть, в менее опасных и отталкивающих формах. Жертвами здесь уже могут стать не только проститутки, которых, вполне возможно, по словам Юрковецкого, „трахнут, простите, втроем бесплатно, а могут и избить", но и клиенты. Петр Юрковецкий: ...придя на Тверскую вечером с определенной целью, вы вступаете в довольно сложную игру, и если вам повезет, вам помогут испытать пару оргазмов, не отберут все, что есть с собой, не отравят клофелином и не дадут по башке".

Мой собственный знакомый довольно дешево отделался, сняв проститутку у „Националя": его не избили, но сама она, невинное замерзшее дитя, ускользнула с деньгами.

Как правило, на „хатах" этих проституток и собираются насильники, чаще всего лица кавказских национальностей, сплоченные в мафиозные группы с неопределенного рода занятиями — в основном „занятие" выражается в многочасовом стоянии у ворот дорогих ресторанов. Здесь они проворачивают свои темные дела, а по ночам отлавливают девиц. Все это заканчивается изнасилованиями на квартирах проституток. Милиция чаще всего за недостатком доказательств даже не возбуждает уголовных дел, хотя, конечно, знает, что может происходить в „отдельных благоустроенных" квартирах этих девиц.

Проституция — зеркало советского общества, и социология подтверждает эту формулу. Вряд ли сравнительное исследование проституток двух крупных портовых городов (Гамбурга и Одессы) позволяет выявить принципиальные отличия либерального и тоталитарного общества, но и оно дает пищу для размышлений.

В проблемах и материального, и нравственного свойства мы могли бы искать причины более „юного" возраста советских проституток. Не от хорошей жизни девушки из Одессы еще до достижения 18 лет выходят на панель — а таких 3,3% от общего числа опрошенных. Доля женщин, начавших заниматься проституцией в возрасте от 18 до 20 лет, составляет 9,5%, от 21 до 25 лет — 32,4% (против 14% в Гамбурге), от 26 до 36 — 24,9% (в Гамбурге — 25,5%), старше 41 года — 13,3% (Гамбург—21,1%).

Вывод о том, что проституция в СССР становится способом получения изысканных удовольствий, подтверждается уровнем образования одесских проституток. Хотя в Гамбурге проституток с высшим образованием все-таки больше — 8-10%, они оплачиваются по высшему разряду и уклоняются от обязательного полицейского контроля (в Одессе девиц с высшим образованием — 4,1%, бросивших институт — 3%).

Из общего числа советских проституток — 61,7% окончили 10 классов. При этом большинство одесских проституток относилось к категории высокооплачиваемых и умеющих „красиво жить“, но были среди них и просто бродяги: 16,2% имели собственные дома со всеми удобствами, 24,4% — комфортабельные кооперативные квартиры, 6,8% — отдельные квартиры с минимальным набором удобств, 19,9% опрошенных жили в коммунальных квартирах, 3,7% — в общежитиях, 7% — в полуподвальных помещениях и бараках, 8,3% — не имели постоянного жилья. По собственным оценкам проституток Одессы 8,8% опрошенных жили хорошо и были самостоятельными женщинами.

Наибольший процент советских проституток — 34 — выходцы из рабочей среды, 31,8% — из семей служащих, 23,2% опрошенных просто не смогли ответить на вопрос о социальном происхождении (что тоже весьма характерно), всего 11% — выходцы из крестьян. Столь малый процент „крестьянок“ свидетельствует не столько о том, что кондовое и домотканое крестьянство — пуританский класс (в этом убежден только Василий Иванович Белов и прочие почвенники), сколько о том, что проституция представляет собой просто следствие неустроенности той части девушек из деревни, которые приехали „завоевывать“ город. В Германии доля проституток из крестьян меньше.

Большинство советских проституток в прошлом или к моменту опроса были замужем, 8,5% — состояли в браке, 3,6% жили с мужьями раздельно, 5,7% — разведены, 4% — овдовели, 33,8% — замужем не были.

Четвертая часть опрошенных в Одессе имела детей, причем 10% из общего числа — троих детей и более. Многие из них — заботливые матери: и в СССР, и в Германии проститутки стремятся дать детям образование (в Германии у проституток меньше детей). Интересно, что 28,2% советских проституток тратили заработанные деньги только на детей. Большинство было озабочено такой статьей расходов, как продукты питания — 64,7%, всего 2,6% „транжирили“ деньги —

тратили их в основном на одежду и косметику, 7,5% откладывали деньги на сберкнижку.

Большая часть проституток получила ординарное профессиональное образование, 91,9% раньше имели профессию, постоянное место и недолгое время работали. Многие были заняты неквалифицированным и низкооплачиваемым трудом. Так же и в Германии: проститутки подрабатывали в качестве прислуги и подсобных рабочих*.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ „ПРОСТИТУЦИОННАЯ“ ПОЛИТИКА

Такой политики, пожалуй, и нет. А всякие попытки рассуждать об этом заходят в тупик. Вроде бы милицейский контроль нужен, но это насилие, а на пионерско-воспитательные меры девушки не реагируют — великий фаллос, водруженный на постамент и, словно зенитная установка, устремленный в небо, вызывает у них куда больше интереса.

Единственное, что по сию пору придумало государство, — статья 164² Кодекса об административных правонарушениях. Занятие проституцией — это административный деликт, относящийся к разряду правонарушений, посягающих на общественный порядок и расположенный в Кодексе между статьей об азартных играх и статьей о приставании к иностранным гражданам с целью приобретения вещей. Часть первая статьи, введенной в Кодекс в мае 1987 года, когда перестройка развернула свои знамена, карает за „однообразное“ занятие проституцией штрафом до 100 рублей. Повторный в течение года после наложения взыскания платный секс с женщиной карается штрафом до 200 рублей. То есть — переспала, получила деньги от частного лица, отдай те же деньги государству. Ну и что дальше? Как отбить у штрафумых охоту к романтической профессии „интердевочки“?

* Эти уникальные материалы, подготовленные немецкими социологами, любезно предоставлены мне Институтом социологии АН СССР.

Тут, пожалуй, никакие социологи не помогут. После многодневных звонков в МВД я наконец нашел человека под названием начальник отдела по профилактике правонарушений в сфере общественной нравственности Управления профилактической службы МВД СССР. Министр застрелился после переворота. В день, когда мы должны были встретиться с начальником отдела А.И.Суховым, на эту должность был назначен другой человек. Так что моя встреча с Анатолием Бакаевым оказалась первым интервью прессы с „главным по проституткам“.

— Анатолий Александрович, каково назначение Вашего отдела?

— Со времен царской России никогда специально проституцией не занимались. И пока никто толком не знает, как вести эту работу. У меня уже раздаются звонки из аналогичных подразделений в союзных республиках — просят помочь со структурой, с определением функциональных обязанностей. Раньше функции борьбы с проституцией были возложены на аппарат уголовного розыска. Проституция — это очень сложный состав правонарушения. Где объект правонарушений, где пострадавший? Факт совершения этого правонарушения очень трудно доказать. Поэтому к ответственности привлекаются немногие. За 1990 год всего по Союзу по Кодексу об административных правонарушениях было привлечено 1400 проститутков, за первое полугодие 91-го года — 1160, всего по стране органам внутренних дел известно о 4000 проститутках.

— Но ведь это минимальный процент от общего числа проститутков!

— Да, диспропорция огромная. Я даже не берусь определить процент латентной проституции. Поначалу, когда журналисты активно брали интервью у проститутков, те не скрывали своей профессии. Сейчас же они предпочитают говорить, что с клиентами у них „любовь“.

— Это правда, что приказом министра внутренних дел создана „милиция нравов“?

— Есть приказ, который принят во исполнение известного „антипорнографического“ постановления Верховного Совета СССР. Но он не имеет никакого отношения к „милиции нравов“. Главная наша функция — координация деятельности подразделений союзных республик, методическая и практическая помощь им.

Первый шаг, который я бы предпринял, — это создание рабочей группы из сотрудников соответствующих подразделений союзных республик. И тогда мы бы определились: сформировали бы межрегиональный координационный совет и занялись изучением, обобщением советского опыта. Нет никакой необходимости изобретать велосипед, поэтому надо бы ознакомиться с опытом зарубежных стран.

— Хорошо, но какова Ваша личная позиция относительно государственной политики в этой области?

— Это явление должно быть изучено в правовом аспекте. Силовыми методами искоренить проституцию невозможно. Сколько будет живо человечество, столько будет существовать проституция. С другой стороны, нет никаких оснований открывать публичные дома. Главное — оградить подрастающее поколение, несовершеннолетних девочек от вовлечения их в проституцию. Ничего хорошего проституция не приносит — это и болезни, и преждевременное старение, и моральные травмы.

— Считаете ли Вы, что проститутками должны заниматься и другие, государственные органы?

— Необходимо разрабатывать систему профилактических мер. Я имею в виду не только проституцию, но и распространение порнографии и т. д. Эта государственная программа невыполнима без привлечения к работе министерств труда, культуры, здравоохранения.

— Как Вы думаете, есть ли какой-то смысл в создании профсоюза проститутков?

— Я слышал о таких предложениях только от журналистов. Думаю, что это было бы просто смешно: давайте организуем профсоюз, соревнование, Доску почета, наставничество.

— Борьба с проституцией трудно, ведь она „укоренена“ в нашем обществе...

— Никогда не соглашусь с тем, что женщина идет на панель от нужды и голода. Недавно мы проводили исследования в разных регионах страны, в том числе и в Ленинграде, опрашивали девочек в приемниках-распределителях. Многие из них получали деньги за сожительство с мужчинами, но никто не шел на это от голода. Причин, порождающих проституцию, очень много. Тут и генетическое влечение к сожительству с разными мужчинами — уже потом приходит мысль получать деньги и корысть, берущая верх над совестью. Меньше всего проституток, которые вступают в половую связь в силу служебной зависимости. Такие женщины есть и в госучреждениях, но особенно в кооперативах, совместных предприятиях, в комиссионных коммерческих магазинах. Это действительно вынужденная проституция.

И еще: проституция — следствие плохого воспитания. Среди проституток много обитательниц детдомов, сирот, девочек, росших в неблагополучных семьях. Сыграло, конечно, роль и то, что утратила свою воспитательную функцию церковь. Впрочем, в России проституция не может приобрести широкие масштабы — у нас нет для этого национальной, исторической, моральной почвы.

— А как все-таки борются с проституцией на практике, на уровне, скажем, района?

— В сущности, с проституцией как таковой никогда не боролись. Проституток наказывали, как правило, за сопутствующие правонарушения — спекуляцию, незаконные валютные операции, фарцовку. Кстати, если взять расследование, то проституцию труднее доказать, чем кражу.

Можно, конечно, навести какой-то порядок в гостиницах и на улицах, но все это, скорее, полумеры. Будущее и приоритет, вероятно, принадлежат профилактической работе наряду с мерами запретительными. Нужна против этого явления пропаганда, необходимо общение с проститутками, вовлечение их в полезную и способную заинтересовать их де-

ятельность. И, наконец, по возможности, устранение причин проституции. Возьмите жилищную проблему. Простой пример: нет у женщины квартиры, попросту негде жить — в жизни все бывает. Но это лишь в тех случаях, когда причины устранимы, и главное, если такую опустившуюся женщину еще можно исправить.

— Планируются ли какие-либо изменения в законодательстве?

— Пока все в зачатке. Нужны исследования, хоть какая-то научная основа. Лишь после этого можно внести изменения и поправки в уголовное и административное законодательство.

— Считаете ли Вы, что необходима правовая защита проституток?

— Какой-то особой защиты проституток, равно как и преступников, быть не может. Что бы мы ни говорили, а проституция это все-таки негативное явление.

...Такой вот состоялся разговор. Как видим, государство, да и то только в лице его полицейских структур, занимается проституцией лишь в первом приближении. Общество эта проблема трогает почти исключительно в ее бульварно-журналистском виде, а перестроечная пресса лишь поддает этой проблеме романтики. Не достигнув совершеннолетия, девочки покупаются на беззащитную рекламу везде — в кино, по телевидению, из бульварной прессы. Иным — по причинам детской их инфантильности — и в голову не приходит, что проституция — это попросту неприличное занятие. В Греции „штат“ иктионов, домов терпимости, набирался только из рабынь, свободных женщин за проституцию строго наказывали. Ведь проституция на самом деле несовместима с внутренней свободой. И она вполне совместима с несвободой внешней, с „полицией нравов“, о вреде которой писали очень и очень многие, включая, например, знаменитую Клару Цеткин.

Возможно, близится то время, когда наше государство, до недавних пор способное лишь на подавление личности, а на самом деле импотентное, наконец, избавится от своего ханжеского подхода к жизни и открыто и демократично займется лечением этой застарелой социальной болезни. Преуспеет ли — это другой вопрос, но и начало, основанное на готовности видеть жизнь такой, как она есть, будет далеко не маловажным.



Елена ГЕССЕН

ЭССЕ О ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ

На первом съезде советских писателей в 1934 году случился незначительный эпизод, сам по себе не имевший никакого отношения к литературе, однако оставшийся в памяти присутствовавших и не раз всплывавший в их воспоминаниях. Среди других делегаций — пионеров, комсомольцев, колхозников — съезд пришли приветствовать представители метростроевцев. И тут заранее отработанный ритуал приветствия дал осечку: Борис Пастернак, сидевший, как ни странно, в президиуме, вскочил с места, бросился к женщине, на плече у которой лежал тяжелый отбойный молоток, и принялся этот молоток у нее отбирать. Правда, ему не удался этот почти диверсионный порыв: женщина молоток отдавать не собиралась, и некоторое время они оба — поэт и рабочая — боролись за обладание инструментом. Пастернак поступил так, как он единственно и мог поступить в этом случае: поэт, писавший про себя „с малых детских лет я ранен женской долей“, не мог не броситься на помощь женщине. Рабочая тоже вела себя так, как ей надлежало — абсолютно

адекватно тому образу советской женщины, который был ей предначертан: она просто не желала, чтобы ей кто-либо помогал, и в схватке с поэтом, устремление которого показалось ей едва ли не оскорбительным, рьяно отстаивала свои новообретенные права.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА?

Не знаю, читала ли метростроевская работница роман Федора Гладкова „Цемент“, где героиня, которой „старая домашняя жизнь казалась обидно ничтожной и унижительной“, не менее яростно отстаивает свое право быть во всем наравне с мужчиной — в быту, в работе, в любви, избавляясь от вековых женских обязанностей матери и жены. Впрочем, для того, чтобы проникнуться этими идеями, вовсе не обязательно было что-либо читать: они, как говорится, витали в воздухе, просто в романе постулаты воспитания новой женщины были сформулированы с афористической четкостью. „Цемент“ заложил основы того аскетического мировоззрения, которое на долгие годы определило бытие советской женщины. Это — примат работы над семьей, это — необходимость быть сильной и обходиться минимумом чувств и эмоций. Последние и вовсе объявляются пережитком проклятого прошлого: например, ревность, в восприятии героини, „это такая эксплуатация человека человеком, которую можно сравнить только с людоедством“. „Люди подождут, — рассуждает героиня, — а дело требует постоянного внимания“, и: „Пускай сердце у нас будет каменное, а не банная мочалка“.

Всем известно, чего достигла советская женщина в борьбе против „домашнего рабства“, за право стать наравне с мужчиной. Достигла всего, чего якобы хотела, и даже значительно больше. В литературе, отражавшей перипетию этой борьбы и воспевавшей завоевания и победы, женской прозе, естественно, места не было и быть не могло. Хотя, конечно, имелись прозаики-женщины, и даже очень неплохие, например, Вера Панова или И. Грекова. Однако само понятие женской прозы,

если и выплывало где-то на свет божий, то неизбежно с негативным оттенком, с поминанием Чарской и Вербицкой — писательниц, кстати, необычайно популярных до революции. Спрос на книги Вербицкой, например, превышал спрос на Льва Толстого и Чехова, а после выхода ее шеститомного романа „Ключи счастья“ в 1910 году один из критиков и вовсе задался странным, на наш взгляд, вопросом: „Лев Николаевич Толстой или Анастасия Алексеевна Вербицкая? Кому из них володеть мыслью и княжить в сердце современного русского читателя?“

В советской литературе вопрос этот был решен однозначно: если в 20-е годы прозвучал призыв к воспитанию в своей среде „красного Льва Толстого“, то уж „красной Вербицкой“, разумеется, быть не могло, а „володеть мыслью“ были призваны писатели типа Гладкова или, в лучшем случае, Фадеева.

Редкие упоминания имен Вербицкой или Чарской непременно сопровождались эпитетами „дамское рукоделье“, „сентиментальщина“ — и женщина-прозаик более всего должна была страшиться сравнения с этими жупелами. А самым большим комплиментом звучало: „У такой-то мужской склад ума, мужская логика, мужское перо“ — то есть женщина-литератор непременно подтягивалась под уровень писателя-мужчины. Отчасти было это, верно, связано еще и с русской традицией: вспомним ахматовское „Он говорил о лете и о том, что быть поэтом женщине нелепость“. Цветаева, как известно, терпеть не могла, когда ее называли „поэтесса“ — только поэт.

Но что это вообще такое — „женская проза“? Имеет ли это понятие право на существование? Вот ведь и Белинский писал, что „в умственной деятельности нет ни званий, ни полов, есть сила, и сила эта — талант“. И если женская проза все же существует — а на этом нынче настаивает все большее число прозаиков-женщин, — то какое содержание вкладывается в это определение: то ли под эту рубрику зачисляются скопом все произведения женщин, то ли это проза женщин — о женщинах же? А кроме того, если есть „женская проза“, то, по

логике вещей, должна быть и „мужская“: иначе меня, чего доброго, не замедлят обвинить в феминизме.

В западном литературоведении эти вопросы решены давно, хотя и не к всеобщему удовлетворению. В советском — понятие „женская проза“ и, соответственно, разговоры о ней возникли лишь в последние годы, когда одна за другой вышли три антологии „новой женской прозы“ и впервые возникла возможность рассуждать о женской прозе, осознающей себя таковой и заявляющей об этом, не пытаясь придать себе мужественности, подладиться под „мужское перо“.

„Залп грянул оглушительно“, — иронически прокомментировал это явление критик „Литгазеты“ Павел Басинский. „В последнее время ощущается подъем новой „женской“ волны в литературе“, — в более спокойном тоне замечает составитель антологии „Чистенькая жизнь“, который, хоть и взялся за эту работу, в существовании женской прозы, похоже, сомневается. Иначе зачем бы он написал такое: „На каком-то „ниже среднего“ уровне, конечно, происходит разделение „женской“ и „мужской“ прозы. Если же планка художественности поднимается выше, то ясно видно: существует только одна литература — настоящая“.

Ему возражают авторы другой антологии „Не помнящая зла“. Ставя аналогичный вопрос: „Стоит ли вообще делить художественное творчество на мужское-женское, не лучше ли следовать привычной шкале оценок: хорошо — плохо?“ — они тут же и отвечают на него: „Мы говорим вполне утвердительно: женская проза есть... поскольку есть мир женщины, отличный от мира мужчины. Мы вовсе не намерены отрекаться от своего пола, а тем более, извиняться за его „слабости“. Делать это так же глупо и безнадежно, как отказываться от наследственности, исторической почвы и судьбы“.

В чем же видят авторы главную особенность сегодняшней женской прозы? Послушаем, что они говорят дальше. „Мир чувств, главным носителем которого женщина всегда продолжала оставаться, со временем получал драматическую

множественность преломлений и отражений в реальности. Покинув детскую, а нередко и дом вообще, женщина переступила порог государственного учреждения, превратилась в истовую участницу собраний, получила право занимать командные посты... Век взял в свой оборот энергию, ранее текущую по иному руслу, — энергию женского естества. Может быть, именно поэтому она смогла стать энергией слова“.

Авторы сборника настаивают на наличии у женщины-прозаика особого „стереоскопического“ взгляда на мир, особого, глубоко своеобразного осмысления реальности.

БЫТ, БЫТИЕ, ЭРОС

В современной женской прозе можно весьма условно наметить три основных направления — натуралистическое, фантастическое, эротическое, — возглавляемые „старейшинами цеха“: это Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая, Валерия Нарбикова.

Недавно в какой-то статье мелькнула реплика Петрушевской, брошенная в частном разговоре: „Неужели я опаснее Солженицына?“ — удивлялась писательница, обреченная на десятилетия немоты. Стоит задуматься над этим полувопросом-полуутверждением. Всем понятно, почему не печатали Солженицына, но в рассказах Петрушевской распад общества, его раковая опухоль, показан в локальном варианте — на судьбе ничем не выделяющихся, обычных, рядовых граждан, и распад этот совершается на молекулярном уровне. Если продолжить эту аналогию дальше, то вспоминаются слова Лидии Чуковской, адресованные Солженицыну: „Вашим голосом заговорила сама немота“ — в какой-то мере это применимо и к Петрушевской. Ее голосом заговорила толпа, улица, которая „корчится безъязыкая“, которой „нечем кричать и разговаривать“.

К Петрушевской можно с полным основанием отнести слова одного советского исследователя, относящиеся к Достоевскому: „Намеренно терпкими и тяжелыми образами ца-

рапая сердце, он разрушает существующий эстетический канон и переступает границы искусства. Болевой эффект, заменяя ожидаемый читателем эстетический эффект, порождает протест в его душе; энергию этого протеста автор как бы „переадресовывает“ впечатлениям окружающей жизни”.

„Царапая сердце, болевой эффект” — слова эти как нельзя более точно передают впечатления от прозы Петрушевской. Что до энергии протеста, то читатель зачастую переадресовывает ее не столько окружающей жизни, сколько самому автору, обвиняя его в клевете на действительность, в преувеличении, искажении и очернении (как это, кстати, случилось и с Достоевским). После публикации рассказа „Свой круг” редакция „Нового мира” получила больше тысячи писем, в которых оскорбленные читатели доказывали — это не про нас, мы не такие.

Впрочем, Петрушевская и сама — лучше и точнее всяких критиков — дает определение своего метода. „Мы хорошо себя чувствуем в нашей толпе, — пишет она, — вольготно, свободно, можно даже не стоять, можно расслабиться, как в невесомости, если не стукнут, не выматерят, не толкнут, не наступят на ногу, если не вырвет рядом стоящую пэтэушницу, неопытную, которая напилась дряни... Никто сюда по своей воле не стремился, всех затолкала в толпу необходимость. Судьба. Здесь мы родились... Но когда притерпишься с годами, присмотришься, познакомишься, окажется, что толпы нет. Есть люди. Каждый сам по себе человек со своей историей и жизнью своего рода, со своим космосом, каждый достоин любви, все были нежными младенцами, все станут немощными стариками”. Вот об этих людях — каждом самом по себе и одновременно зажатом, качающемся в общей толпе, — она и рассказывает.

Ее сюжеты вырастают из сора, из житейской мути, из самых незначительных мелочей и ничего, казалось бы, не значащих подробностей. Здесь она явно ученица Чехова, который, по словам Эйхенбаума, ставил свои диагнозы „на основе самых незаметных, мелких признаков. Он открывал следы и

последствия болезни в мелочах быта и поведения, в походке и интонации — там, где иной глаз нашел бы все совершенно благополучным или не заслуживающим внимания”. Перед нами — сама обыденность, прикинувшаяся сюжетом: у каждого из нас в запасе десятки подобных историй и едва ли не про каждого можно рассказать нечто похожее. Ненарочитость, фрагментарность здесь возведены в художественный принцип: читатель не вводится в повествование, а бросается в него с маху — не успел он оглянуться, а уже в первых же строках едва ли не все узнал о герое. „Кто скажет, как живет тихая, пьющая женщина со своим ребенком, никому не видимая в своей однокомнатной квартире? Как она каждый вечер, как бы ни была пьяной, складывает вещички своей дочери для детского сада, чтобы утром все было под рукой”. Это начало рассказа „Страна” — и следующие полторы страницы представляют собой лишь вариации на тему, уже целиком заданную в этих первых строках. Или такое — вовсе неожиданное — начало: „Какова же дальнейшая судьба героев нашего романа?” („Бессмертная любовь”). Каких героев, какого романа — ничего неизвестно. Логика начал у Петрушевской имитирует логику живого разговора, в котором отступления от стержневой темы, кружения вокруг нее не менее важны, чем развитие самой темы. Разбитая на множество крошечных зеркальных осколков, перед нами проходит каждодневная жизнь наугад выхваченного сектора большого города, во всей ее суматошности и неупорядоченности, разностильности и разноголосице, и нечто цельное может сложиться из этой калейдоскопичной пестроты лишь путем активного читательского соучастия, зато работа эта с лихвой вознаграждается: результатом такой операции становится „неповторимое зрелище, естественное, правдивое до озноба, с невыдуманными подробностями”.

Поэтика Петрушевской — это поэтика коммунальной кухни, с ее соглядатайством и пересудами, всеведением и жестокостью, но и с состраданием — порой понимаемым весьма своеобразно, и истинным милосердием (как в рассказе

„Скрипка”, где беременные женщины в больничной палате не просто разоблачают нищую и бездомную самозванку Лелю, выдающую себя за скрипачку и замужнюю даму, но и от всего сердца снабжают ее добрыми советами и подкармливают витаминами).

Если художественный мир Петрушевской, быть может, даже несколько нарочито снижен, то у Татьяны Толстой мир этот искусственно, романтически приподнят. Ее героини существуют как бы на скрещении быта и бытия, все они обладают даром мечты, романтически преобразующей самую бездарную реальность, и, хотя мечта эта оказывается чаще всего несбыточной, а то и вовсе смешной, самое ее присутствие в их бледной жизни придает смысл и цвет их существованию. „Неудачники Татьяны Толстой неустанно утепляют свой воздушный замок, — пишет Фазиль Искандер, — осторожно льют керосин в лампу Аладдина, починают башмачки Золушки, ухитряются уплотнить грамофонный голос знаменитой когда-то певицы до состояния телесности и уединяются с ним, уплотнив. Но в последний миг все срывается, потому что в дверь колотит кулаком не то осточертевшая подруга жизни, не то сама жизнь”.

Обаяние прозы Толстой — в мастерском владении словом, в исключительном метафорическом даре, которым она владеет в совершенстве, хотя иногда и чуть-чуть злоупотребляет им, так что не всегда успеваешь за прихотливыми изгибами ее ассоциаций. Но самое, пожалуй, грустное, то, что, похоже, говорить о Толстой как о писательнице (а говорится о ней очень много: она в одночасье завоевала и советского читателя, и западный рынок, американские слависты изучают ее творчество вдоль и поперек, посвящая ей бесчисленные доклады на конференциях) — так вот, говорить о Толстой как о писательнице, пожалуй, уместно уже в прошедшем времени: последние года три она ничего не печатает, углубившись в публицистическую деятельность.

С появлением Валерии Нарбиковой связано возникновение и развитие эротической темы в сегодняшней женской

прозе, да, пожалуй, в какой-то мере и в русской прозе вообще. Молодой писательнице пришлось проделывать путь чуть ли не по целине, лишь отчасти вскопанной усилиями писателей-эмигрантов (да и мужчин к тому же).

Набоков писал когда-то о том, что „русская литература советского периода — сама чистота. Невозможно представить себе русского, который бы написал, к примеру, „Любовник леди Чаттерлей”. И в самом деле, с этой задачей не справиться, пожалуй, и самому смелому воображению, хотя Мариэтта Шагинян еще на первом съезде писателей вещала: „Кажется, будто сейчас только одни мы во всем мире обладаем ключом любви, только одни мы знаем тайну эроса, связующего людей разной кожи и расы, разных наций и языков, иначе сказать, только одни мы во всем мире вынашиваем в нашем искусстве идею нового человечества”. Итог опять же всем известен: идея нового человечества воплотилась в облике гомо советикуса, а из обладания „ключом любви” и „тайной эроса” возникла самая ханжеская литература в мире. Как не без ехидства заметил один критик, в советском романе героини гуляют под дождем, а потом вдруг, ни с того ни с сего у них рождаются дети.

Для советской литературы доперестроечного периода характерен этаким наивный эротизм, который распространяется не только на живых героев, но и на предметы неодушевленные. Любовь и работа сосуществуют в мужском мире на равных. „Семь часов — мой роковой час, — говорит героиня „Битвы в пути” Галины Николаевой, где изображался адюльтер по-советски. — Семь утра — час свидания с конструкцией, семь вечера — час свидания с тобой”. „К обеим он спешил нетерпеливо, — продолжает автор. — По утрам он осторожно, почти ласково прикасался к тяжелым, темно-красным металлическим скобам. А вечерами он стискивал хрупкие плечи Тины”.

Имя Валерии Нарбиковой появилось впервые в журнале „Юность” в 1988 году и сразу стало известным, а повесть „Равновесие света дневных и ночных звезд” получила премию журнала за год. Предваряя первую публикацию, Андрей

Битов писал о том, что Нарбикова — представитель немого поколения, которое не печатали „просто за то, что они — другие. Иначе видят, иначе думают”. И вот это „иначе” оказывается очень трудно преодолимым. Битов, человек, обладающий литературным вкусом, признается, что ему понадобилось несколько лет, чтобы ощутить не только литературный талант Нарбиковой, но и ее мир, и ее боль. „Характеризовать новый художественный мир прежним набором критических клише — задача мне непосильная, — пишет он. — Могу только сказать, что на самом деле мир этот удивительно, обольстительно прозрачен и нежен... естествен и абсолютно не нарочен (в чем мы непременно начинаем подозревать всякую непохожесть). Ее стиль ей присущ, как дыхание. Соотношения пространства и времени в ощущениях и переживаниях героев, то есть поэтика Нарбиковой, и новы, и убедительны для меня. О красоте и пронзительной лирической силе многих страниц ее прозы способен судить всякий, наделенный хотя бы и традиционным литературным вкусом человек. Труднее постичь ее сюжет, ее архитектонику, ее замысел в целом. Но и это вполне возможно”.

В повестях Нарбиковой сюжет, в общем, сведен к минимуму: он почти всегда одинаков — это любовное взаимодействие некоего треугольника (либо квадрата): чаще всего женщина и двое мужчин, иногда — две женщины и один мужчина, реже — две пары. На самом деле, расклад, в общем-то, неважен. Как подметила критика, сюжеты у Нарбиковой чисто лингвистические: „Пушкин — вводное слово”, — замечает один из ее героев. „Для Нарбиковой все слова вводные, — откликается критик, поясняя тут же — то есть вводящие с собой новые ассоциации, параллели, представления, целые религиозные и философские системы”. Об этом свидетельствуют и названия ее текстов: „Около — эколо”, „Пробег — про бег”. В непринужденной игре словами, порой доходящей до истинной виртуозности, в насыщенных ассоциациями самого разного рода (литературными, музыкальными, житейскими) разговорах героев с легкостью узнается ритм сегод-

няшней речи определенного круга, скажем, московской около- или литературной богемы, хотя разговор редко выходит за рамки обрывочного и не слишком связного обсуждения любовных коллизий. В текстах Нарбиковой происходит сопряжение Эроса и Логоса — почти что по Сократу, который в своем „Пире” объявил Эроса величайшим богом (ибо любовь связует и соединяет все части мира в единое бытие — иначе бы они распались) и подчинил ему даже Логос. „И море, и Гомер — все движется любовью” — эти слова поэта можно было бы поставить эпиграфом к повестям Нарбиковой.

АНТИГЕРОИЧЕСКАЯ ГЕРОИНЯ

Какой же видят свою героиню представительницы женской прозы?

Прежде всего, это женщина-амазонка. В традиционной прозе женщина жила, действовала, работала, любила, заводила семью среди мужского мира, растворенная в нем, слитая с ним, непосредственно взаимодействуя с мужчиной, пусть даже иной раз оказываясь в чем-то выше него (как героини И. Грековой, умные, ироничные, образованные). Не то в новой женской прозе: здесь женщина вступает — активно либо пассивно — в открытый антагонизм с мужским миром. Мужчины обретаются где-то на периферии, в качестве статистов, на правах непрошенных гостей, у них и собственного голоса чаще всего нету. Даже когда это любовная история, для которой как-никак потребны двое, тон в ней задает женщина, она — активное начало, она действует, борется, страдает, отвергает, соглашается, совершает поступки; мужчина же существует как бы в сослагательном наклонении, он не более чем манекен, который можно крутить в разные стороны и вставлять в разные строчки.

Неприкаянность нынешних героинь женской прозы, их полная несовместимость с окружающим миром определяют сюжет и тональность большинства произведений. Петрушев-

ская, к примеру, определяет свою героиню как обыкновенную женщину „с каким-то своим бытом одиночки“, которая учится — в основном безуспешно — „одиноко идти среди враждебного мира“, барахтается, сопротивляется, но, в конце концов, свыкается „с ориентацией на враждебность окружающего мира“ и иного способа жить просто не знает.

„Девочка“ Нины Садур, оказавшись ночью одна среди пустого города, всей кожей чувствует, как смыкается вокруг нее кольцо смертельной опасности, ничем, в общем-то, не определенной и не оправданной („Девочка и ночь“).

Светлана Василенко заявляет: „В современном мире трагической фигурой, через которую проходят непосредственно все боли мира, считаю женщину. О ней пишу“. Пишет Василенко о безответной любви, выбирая фоном и местом действия поселок, где обитают расконвоированные зэки: убожество, ужас обстановки и высота подлинной извечной трагедии составляют контраст, на котором держится энергия повести („Шамара“), пишет жестко, горестно и правдиво и о больничной палате, где лежат женщины, решившиеся на аборт („Ген смерти“).

Напрасно было бы искать в новой женской прозе традиционные произведения о „семейном счастье“: если это семья — то непременно развалившаяся, несостоявшаяся, если дом — то безликий и безличный „и не знающий, что дом“: „Дом чужой, муж чужой... дома нет. Нет семьи...“ — вздыхает героиня Ларисы Ванеевой („Венецианские зеркала“).

Похоже, что и сами героини забредают в эту прозу „по праву наиболее неудавшейся судьбы“, если воспользоваться выражением Ирины Полянской. Наиболее крайнее воплощение получает эта тенденция в повести Елены Тарасовой „Не помнящая зла“, где изображена женщина-урод, пораженная страшной и непонятной болезнью: она мучится своим уродством, тяготится им, мечтает об избавлении, которое видится ей то в самоубийстве, то в освобождении от души, достигаемом полным отказом от какой бы то ни было деятельности, в переходе в животное существование. Кста-

ти, о деятельности: новая женская проза решительно покончила с соцреалистической традицией показывать женщин в труде — если героини где-то и работают, то никакого значения ни для них самих, ни для развития действия это в большинстве случаев не имеет. А если в рассказе и возникает место работы, чаще всего именуемое „конторой“, то исключительно в качестве некоего поля непрестанной битвы, где опять же ломаются копья, разбиваются сердца, рушатся судьбы. Особенно часто происходит это у Петрушевской („Смотровая площадка“, „Элегия“, „Приключения Веры“).

Альтернативу бестолковому и безотрадному существованию можно усмотреть единственно у Олеси Николаевой. Ее героини, чаще всего московские дамочки из окололитературных кругов, тоже бездарно и бесцельно мечутся по огромному городу („Маленькие сценки большой жизни“), либо по случайности забредают в монастырь („Инвалид детства“), который для них не более чем этнографически окрашенный кусочек чужого и потому любопытного, но и отталкивающего их мира (для того, чтобы в нем задержаться, зацепиться или по крайней мере хоть чуточку сориентироваться, потребна душевная работа, на которую они оказываются неспособны). Однако самому автору ясно то, что пока недоступно ее персонажам: спасение — в вере, и это знание мягким светом освещает даже темные уголки ее прозы.

Стоит, впрочем, заметить, что женская проза ни в коей мере не может претендовать на патент первооткрывательницы ни по показу ужасов жизни, ни по безрадостности атмосферы. Едва ли не вся советская литература сейчас как бы балансирует между двумя полюсами, которые лучше всего определить словами героев того же Достоевского: „Я хочу, чтобы не лгать. На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы... Проживем два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!“ — заявляет мертвец из рассказа „Бобок“. Ему словно возражает человек из подполья: „В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия: вы из самого мелкого тщеславия несете вашу правду

на показ, на позор, на рынок". Такое безжалостное, а на самом деле деловитое и совершаемое часто без всякой художественной надобности, вполне конъюнктурно, срывание всех и всяческих покровов — „заголимся и обнажимся!" — получило наименование „чернуха", и женская проза склонна к этому не меньше любой другой. Но ведь провести границы между дозволенным внешне и разрешенным внутренне иной раз оказывается очень трудно — и в женской прозе неизбежно отражается та ситуация, в которой сейчас находится страна.

Каким-то парадоксальным образом это срывание всех и всяческих покровов обнаружило вдруг „странное сродство" женских текстов с бесспорно антифеминистскими сочинениями „деревенщиков": я имею в виду прежде всего роман Василия Белова „Все впереди", где автор на полном серьезе доказывал, что отчуждение женщины от семьи грозит разрушением общества. „Чтобы уничтожить Россию, — рассуждает беловский герой, — не обязательно бросать на нее атомную бомбу: достаточно поссорить женщин с мужчинами, детей с отцами". Разумеется, современная женская проза занимает полярно противоположные позиции по сравнению с тем же Беловым, для которого главный ужас и основная опасность воплощены в сексуальном воспитании бедной советской женщины, у которой — не без помощи мирового сионизма — кисточкой ищут эрогенные зоны. „Сексологи пошли по Руси, сексологи!" — в ужасе восклицает его герой (сам, кстати, врач). Однако это странное сближение приходит в голову, когда читаешь новую женскую прозу, потому что запечатлевает она именно этот процесс распада общества — этим-то и оказывается связанной со временем и историей. Недаром даже в повести Ирины Полянской „Предлагаемые обстоятельства", где описывается, казалось бы, наиболее банальная ситуация — рассказ дочери о бросившем их отце, — советский критик отыскивает конфликт сегодняшнего дня: „Семейная драма? Как бы не так! Все мы стоим сегодня у самого края черного провала — дыры, куда вдруг (для

нас вдруг) провалилось все, что по праву прямого наследования должно было Принадлежать, Принадлежать и Защищать. Не промотали, нет — кануло. Вместе с прочим великодержавным добром сгнуло и великанское чудозрение наших отцов".

На смену этому утопическому, „великанскому чудозрению" приходит трезвый, иронический, все подмечающий и ничего не прощающий взгляд. Тот самый „стереоскопический", о котором и писали авторы предисловия к антологии „Не помнящая зла".

Издательство EFFECT PUBLISHING, Нью-Йорк

Григорий МАРК

"ГРАВЕР"

Григорий Марк — ленинградский поэт, до сих пор не напечатанный на Родине ни единой строчки, — стал широко известен читателям русского зарубежья по своим публикациям в журналах „Континент", „Грани", „Новый журнал", „Время и мы", „Стрелец", газете „Русская мысль".

„Искусство для Григория Марка, — писала газета „Новое русское слово", — одна из высших форм служения Богу, бесконечный полет просветленной талантом души". Новый сборник содержит исключительно яркие лирические стихотворения и миниатюры, которые представляют интерес для всех тех, кто любит и ценит настоящую, серьезную поэзию и внимательно следит за появлением в ней новых крупных имен.

Книга вскоре поступит на прилавки московских книжных магазинов.



ТОСКА ПО НЕСОСТОЯВШЕМУСЯ ПРОШЛОМУ

Беседа Брониславы Тароциной с писателем Зиновием Зиником

Для человека мыслящего эмиграция внешняя начинается с эмиграции внутренней. Как это происходило у вас?

Вы, видимо, пытаетесь выяснить, почему я покинул Советский Союз. Я не знаю. Я написал, задавшись тем же вопросом, шесть романов, несколько повестей и ряд эссе и всякий раз приходил к новой формулировке ответа. Пока не понял, что это один из тех вопросов, которые и есть ответ. Точнее, ответ — в самой постановке вопроса. Человек, задающийся вопросом об отъезде, об эмиграции, — уже уехавший. У меня было вполне счастливое московское детство, я был своим у себя во дворе в Марьиной Роще, я даже успел увидеть Сталина на трибуне Мавзолея. Конечно, можно вспомнить детские травмы. Возможно, я никогда не мог простить себе, что однажды в пионерском лагере решил бежать: набрал сухарей, пролез ночью в дыру в заборе, побродил за забором по

темному лесу, испугался и вернулся обратно в палату; и вот, когда подрос, решил бежать из большого пионерского лагеря по-настоящему и навсегда. Возможно, у меня так и не возникло никакой „зоологической ненависти ко всему советскому“, даже когда я дорос до понимания того, на чем зиждется партийная власть. Скорее, я стал испытывать любопытство, страх и отвращение; при этом я догадывался, что все эти злодеи способны на вполне порядочные поступки, как только чуть-чуть ослабеваает страх, что они тоже живут двойной жизнью, как и я. Двойственность же моей московской жизни связана с кругом друзей покойного Павла Улитина, прозаика, „русского Джойса“ (его еще предстоит открыть читающей публике), ставшего в конце 60-х моим старшим товарищем и литературным наставником. Они в свое время собирались в кафе „Артистическое“. Это была дверь в стене, другой мир, существующий параллельно советскому. Дело даже не в том, что среди них, прошедших сталинские тюрьмы и ссылки, были люди, вроде Павла Улитина, свободно владевшие несколькими иностранными языками и рассуждавшие о европейской литературе как о дневнике собственной души; само их прошлое — с иными именами, необычным словарем и загадочными концепциями — было для меня „заграницей“. Они и были для меня Европой, и, уезжая позже из России навсегда, я, возможно, всего лишь пытался эмигрировать в их опыт тюрьмы и изгнания — в их прошлое. Хотел, так сказать, узаконить свое советское состояние двойственности эмигрантской двойственностью жизни в другом языке. Возможно и так. Но с годами я все больше и больше склоняюсь к мысли, что решил тогда в свои 30 лет эмигрировать по той же причине, по какой люди всех стран мира покидают насиженные места: а именно, уходят от убожества собственной жизни, от постылой общности, предсказуемости судьбы, в моем случае —

советской судьбы, каковой она мне когда представлялась. Короче, мне захотелось совсем иной жизни. Я эмигрировал, попросту говоря, потому что хотел стать иностранцем. Иностранцем по отношению к собственному прошлому.

Это вполне романтическая идея, сродни подростковой тяги к самоубийству. Ведь каждый человек на каком-то этапе должен пережить состояние смерти — не той, которая нам суждена в конце пути, а смерти как осознания своего окончательного одиночества, когда до тебя доходит, что в этом мире никто никому не в состоянии ничем помочь. Одно из таких смертельных мгновений — эмиграция. Потом снова начинаешь дышать и жить.

Мы не можем без переклестов. Всегда живем по Ильфу и Петрову: „Сначала 15 лет ругали, потом 15 лет будут хвалить”. Сегодня мы чрезмерно идеализируем литературную эмиграцию. Дело не только в том, что любое слово, сказанное „там”, теперь для нашей периодики гораздо важнее мудрых речей пророков в своем отечестве. А дело в том, что ореол страдания и святости затмевает реальную жизнь эмигрантов со всеми ее дрызгами, склоками и сведениями счетов. Где, на ваш взгляд, проходит граница между правдой и иллюзией?

Насчет ореола страдания, я боюсь, вопрос ваш не по адресу. Я оказался вне Москвы по разным сложным эмоционально-идейным соображениям, а не потому что мне грозила тюрьма и ссылка (хотя на меня и было заведено дело), не потому что меня изгнали, выбросили из страны. При всем добровольно-принудительном характере эмиграции, я увольнялся из советского прошлого „по собственному желанию”. Если быть скрупулезным, меня и эмигрантом называть не следует. И не только из-за моего британского гражданства. Эмигрант — от французского *émigré* — тот, кто был изгнан или бежал от кровавого террора за границу и ждет возвращения на родину при первой же возможности. Я же уезжал навсегда и возвращаться не собираюсь. Все мои публикации в Москве (например, в журнале „Театр”) были довольно случайными. Мне и в голову не приходило соваться со своей прозой в калашный ряд советской литературы. У меня не было к ней ненависти, но и зависти тоже не было: она, как и вся советская власть, существовала параллельно, как нечто вред-

ное и скучное. Все мои опубликованные романы написаны здесь и связаны с моей здешней жизнью: без моего опыта эмиграции они бы не появились на свет.

Короче, мне нечего было делить в эмиграции с теми, кто (с полным основанием или без такового) считал себя посланниками советской литературы, русской культуры в изгнании. Но я могу их понять: они оказались выброшенными, так сказать, на тот свет и оказались в роли призраков — тело здесь, а душа в другом месте. Дело не в самих склоках и сведениях счетов — кто и где их не сводит? — а как эти счета воспринимаются со стороны и самими участниками.

Судя по первым моим впечатлениям, литературная атмосфера в Москве уже слегка напоминает эмигрантскую конца 70-х годов — когда появились десятки издательств, и уже не ясно, кто главный, а иногда даже не понятно, кто где проживает — здесь или там. Посмотрите на современную английскую литературу: все ведущие имена, за редким исключением, давно постоянно живут на юге Франции, в Италии, Испании или еще где — где климат лучше, или жизнь дешевле на фунты и доллары. Кому здесь придет в голову выделять их в особую эмигрантскую категорию своеобразных лишенцев. Для меня Англия, видимо, и стала тем, чем для английского писателя — Испания, скажем. Да и в России есть хорошая тургеневская традиция. Он же не даром назвал свою драму „Месяц в деревне”. Все остальное время надо проводить не в деревне, а где-то еще. Например, за границей. Месяц в деревне, одиннадцать месяцев за границей.

Однако наше отношение к пребыванию вне России далеко не тургеневское. Советскому человеку (а я бывший советский человек) ближе в этом смысле Достоевский. Я не буду рассуждать про чисто советскую ненависть или, наоборот, восхищение перед теми, кто нарушил главное правило советской жизни „Не лезь!” и эмигрировал. Но по собственному опыту могу сказать, что даже среди моих друзей, из тех, кто остался в страшные годы в Москве и выжил, всегда ощущалось чисто российское отношение к эмиграции. Вне зависи-

мости от советских табу, в России, как в библейском Израиле, всегда подразумевалось, что пребывание на родине — святой долг и человек, этот святой долг нарушающий, если не враг народа, то по крайней мере враг самому себе. Жить за границей — грех. Я сейчас не буду спорить, насколько такое отношение правомерно и положительно для воспитания будущих поколений. Но твердо могу сказать, что Россия — не библейский Израиль, как бы того не желали ее пророки. Не бывает двух библейских Израилей. Однако подсознательное ощущение пребывания вне родины, переезда за границу как некоего греховного поступка сохраняется даже в умах самых свободомыслящих из моих друзей. Только выражается это отношение в иных, чем прежде, формах; противопоставляют холодный рационализм Запада иррациональной внутренней свободе России, западный материализм — российской культуре, холодный индивидуализм — духовному единству общины, эмигрантские склоки — дружескому застолью.

Пока живет это отношение к пересечению государственных границ и иностранному паспорту как к библейским табу, критический российский ум будет метаться в определениях: кто же они такие, покинувшие Россию в трудную для нее пору, — крысы, бежавшие с корабля? или же смельчаки, пробившие брешь в тюремной стене? А те, кто, в свою очередь, уехал, метались в своем отношении к тем, кто остался: кто они — крысы, отсиживающиеся по углам? или те, чьи имена напишут на обломках самовластья? Падение „железного занавеса“ заглушило по крайней мере эту риторику, когда российские люди делили себя на эти две крысиные категории. Пока будет существовать клетка — в любом смысле — останется и это крысиное отношение друг к другу.

Как говорится у нас, с большим опозданием мы открываем материк под названием „русское зарубежье“. Однако география его определяется пока только Парижем и Нью-Йорком (с заездом в Вермонт). Лондонской эмиграции как бы не существует в нашем сознании. Как вы сможете объяснить сей факт?

В России не любят тех, кто стоит в стороне и иронизирует из своего угла по поводу происходящего вокруг, кто, короче, „строит из себя“ и отделяется от коллектива. Но именно так и выглядят англичанин и Англия с российской точки зрения: потребность в духовной соборности и исповедальности претит англичанам, несмотря на, казалось бы, поразительное умение действовать сообща, одной, так сказать, деревней. Эта все та же британская островная тенденция к отделенности. Тут все существует само по себе, а не ради и во имя. Это, несомненно, сказывается и на отношении к литературе: литература тут — дело приватное, твое личное дело. Разница скажем, между Францией и Англией — как между парижским кафе и лондонским пабом: в кафе приходят, чтобы посмотреть на других, открытые террасы, и посетители сидят лицом к улице; а английский паб — это закрытое помещение, окна зашторены, и люди сидят лицом друг к другу — эта направленность вовнутрь, интроспекция, претит и галльской публичности, эксгибиционизму, и американской краткосрочной перевозбужденности, и идолопоклонству в отношении национальных гениев. У пришельцев, в свою очередь, возникает впечатление, что в Англии не интересуются иностранной литературой, в частности русской. Это ложное впечатление. Здесь образованный читатель интересуется русской литературой не больше и не меньше, чем в любой другой части Европы; о ней просто не кричат на каждом углу. Может, это и вредно для литературного процесса, не знаю. Безразличие зато подразумевает хотя бы то, что тебя оставляют в покое наедине с пишущей машинкой и не тащат на общественные работы в области слова. Что же касается нас, поселившихся в Англии, то мы, как все новообращенные на свете, перенимаем с годами обычаи и замашки туземного населения и носим маску ироничных снобов: чтоб зря не приставали. Российские эмигранты, принявшие гражданство стран, где они поселились, отличаются друг от друга не меньше, чем, скажем, украинцы от русских или белорусы от прибалтов. К нам и отношение в России, как к туркменам из англичан: посели-

лись там, на непонятном диккенсовском острове, и занимаются непонятно чем. С американцами легче, потому что понятнее. Но поверьте, это тоже лишь видимость понятности. Англия отпугивает российского человека своей видимой чуждостью: она опровергает ту точку зрения, что все на свете, в общем-то, одинаково. Российский человек тут же все начинает сравнивать со своим родным околотком. В странах с одной идеей, скажем, вроде Франции, где есть пирамидальная иерархия и все ходы можно рассчитать заранее, подобная околоточная логика, может, и действует, хотя и приводит к нелепым выводам. Но в Англии ярлыки не клеятся и все формулировки оказываются через минуту недействительными. Это удручает. А в таком случае лучше сделать вид, что Англии, с ее путаной литературой и левосторонним движением, вообще не существует. Так, разве что Шекспир и Биг Бен.

Именно это меня, наоборот, и привлекало. В отличие от Парижа или Нью-Йорка, где сразу чувствуешь себя как дома, Лондон не соответствует ни своему открыточному, ни литературному образу. Я, московский еврей, тут буду, казалось бы, вечным иностранцем. Но для этого я эмигрировал: чтобы оказаться в совершенно чуждой для себя ситуации и вдруг открыть в себе дотоле неведомую близость с этим, казалось бы, враждебным окружением.

Ваши книги открывают нам совершенно иную Англию нежели та, что мы знаем по литературе — классической и современной. Поскольку вы — один из немногих писателей, которых переводят на английский, как относятся к такому взгляду на себя сами островитяне?

Для публики, читающей переводы — немногочисленной и элитарной, как и следовало ожидать, — я до последнего времени был, думаю, любопытным курьезом. Так я себя ощущал тут многие годы — впрочем, человеку пишущему доверять в самооценках нельзя. Ведь я тут единственный романист, пишущий на русском и об Англии. Есть такой совершенно уникальный и малоизвестный в России роман Джозефа Конрада „Глазами Запада“ про русских эмигрантов в Женеве глазами

англичанина. Так вот мои романы для англичан можно было бы назвать „Глазами Востока“. Каждому любопытна точка зрения на себя самого в необычном ракурсе — это один из способов ощутить, осознать себя, почувствовать, что еще жив. Все мы мечтаем поглядеть на себя со стороны — эмиграция, кстати сказать, один из возможных способов попасть в Зазеркалье. Однако любопытство к иному, к чуждому, переводному — тут тоже островное, то есть направленное внутрь себя. Все экзотическое британцев завораживает, в том смысле, что сулит некое переоткрывательство самого себя в некоем кривом зеркале. То есть если тобой тут крайне интересуются, то не столько из-за значительности твоей персоны, а поскольку в твоём опыте другие могут разглядеть свою собственную уникальность. Здесь ценится отличие — отсюда, кстати, иллюзия разобщенности. Но оттого и такая толерантность на этом острове. Собственно, целая империя была построена на этом ощущении переоткрывательства самого себя. Поскольку и тема и ситуации в моих романах — эмигрантские, то есть попытка взглянуть на себя со стороны, романы эти вполне в английской традиции. В последние же годы, в связи с тем, что о России за месяцы стало известно широкой публике больше, чем за все столетие, мои эмигрантские курьезы обрели некую видимость эпичности: во всяком случае детали, которые казались страшной выдумкой, были, как выяснилось, фактологией: например, периодические вспышки каннибализма в России или же наличие Жан-Жака Руссо в русском переводе. Может быть, в результате этих перемен телевидение Би-Би-Си и решило экранизировать мой недавний роман „Русофобка и фунгофил“.

Иногда мне казалось, что поиски стиля, формы довлеют над вами. Порой создавалось впечатление, что вы делаете усилие над собой, уходя в мир фантазмагии, метафоры и гротеска. А вы — реалист, и, на мой взгляд, это самый большой комплимент, который можно сделать писателю. И почему непременно нужно завернуть детективный сюжет покруче? Боятесь романских просторов?

Поиски стиля и формы действительно довлеют надо мной; как может быть иначе? Ведь стиль и форма и есть суть сочинения романа; как любят повторять мои друзья-поэты: „Форма есть душа вещей“. Так называемый „реализм“ — это еще один стиль, еще одна из возможных форм, и ее бесстильность, естественность — лишь кажущаяся. Так что формулировка вопроса, мягко говоря, неточная. Ваше беспокойство, беспокойство читателя начинается тогда, когда вместо самого стиля и формы он ощущает ее поиски, то есть не до конца продуманное, бесформенное сочетание стилей. Но иногда даже такая эклектика — сама по себе стиль. Я думаю, все зависит от того, что хочешь сочинить. В моем романе „Перемещенное лицо“ сюжет вырастает постепенно, изнутри, в результате того, что герой, сидя в иерусалимской трущобе, пытается восстановить разбросанный, растерзанный личный архив и переписку с Москвой, этот перепутанный архив — разрозненность его памяти, его биографии, и тут неизбежны стилевые накладки, некая мозаика, складывающаяся в довольно неприятную истину о самом себе. В моих „английских“, романах, вроде „Русофобки и фунгофила“ или „Русской службы“, фантазмагория и сюжетная закрученность — иного порядка. Герои этих романов одержимы одной маниакальной идеей, будь то кулинария у „фунгофила“ или же как у героя „Русской службы“ — идея увидеть лица, скрывающиеся за голосами зарубежных „русских служб“. Эти идеи наталкиваются на пустоту, на невидимые препятствия, на страшную враждебность новой территории, вслед за эмиграцией героев. Эти идеи претерпевают чудовищную трансформацию: человеку легче поверить в нечто новое, пускай, чудовищное и патологическое, но не остаться вообще идеологически, так сказать, голым и беззащитным. Чтобы сохранить свое идеологическое лицо, свою духовную респектабельность, мои герои и пускаются (точнее, я их запускаю) в фантазмагорические перипетии. Эмиграция учит тому, что меняется все — и одновременно ничего не меняется, то есть происходит некая трансформация идей и обстоятельств, постоянное

преодоление тупика; эта трансформация, метаморфоза героя и есть для меня жанр романа. Это романы о той эпохе, когда поступки диктовались твоим отношением к общественным доктринам и идеологии (необязательно официальной), когда мотивы заговоров и конспирации (от КГБ до жидомасонов) стали подпольным (подсознательным, подтекстовым) мотивом ежедневного существования. Позволяя себе несколько спекулятивные исторические параллелизмы, Москва 70-80-х годов во многом сходна с Лондоном начала XVIII века, когда литературное и религиозно-идеологическое мышления были неразрывны и приводили к доносам, заговорам, тюрьме и эмиграции. Это была эпоха расцвета в Англии жанра готического романа ужасов. Поэтому одно из своих эссе об эмигрантском мышлении я и назвал „Готический роман ужасов эмиграции“.

Навязанность идеологического мышления в обществе, его административный дух привели к некой инстинктивной идеофобии, к страху и отвращению к идеям и идеологиям вообще. Сюжет же, явная логика (пусть запутанная и нелогичная) хода событий, подразумевает существование „Бога“ (вершителя судеб героев), наличие общей, своего рода партийной идеи бытия. Это, отчасти, объясняет, почему советская проза (официальная и инакомыслящая) так чуждается сюжета, ясной конструкции — и впадает в исповедальность и эпичность. Я совершенно не в состоянии переварить эту вязкость и дурную бесконечность выяснения, кто виноват и что делать. Подобная стилистика была уместна в эпоху Вордсворда или Сталина, когда все жили в непоколебимой уверенности, что на будущее тысячелетие никаких перемен не предвидится.

Российский вариант бытия вы формулируете таким образом: слова диктуют поступки. А что диктует теперь ваши поступки?

Чувства, я думаю. Не то чтобы раньше слова диктовали поступки: это, пожалуй, было полемическим преувеличением — имелась в виду постоянная оглядка на идею, идеологию, доктрину. Скорее, мои шаги в жизни были результатом

столкновения слова и дела, точнее, безделия. Мы говорили одно, а поступали по-другому не только в заурядно-лицемерном смысле; дело еще и в том, что мы путали наши идеи, наши слова и вытекающие из них поступки, решения. Я мог, скажем, воображать, что уезжаю из Москвы навсегда потому, что ненавижу тоталитаризм: поскольку это было самое доступное объяснение отъезда — у всех на языке. Есть и более тонкое противопоставление, классическое противоречие между мыслью и словом: подразумеваем одно, а говорим другое. А сейчас вот я дошел до того этапа, когда мои литературные поступки диктуются противоречием третьего порядка: между мыслью и чувством. Дело в том, что мне сорок пять лет, из них пятнадцать я прожил в Англии. То есть я на треть — англичанин. То есть я начинаю ощущать Англию как часть самого себя, третью часть. Но думать и писать прозу я продолжаю на русском. Я как бы все время подразумеваю, таким образом, моих московских друзей в качестве читателя, а для такого читателя здешняя лондонская жизнь — занимательная и слегка абсурдная экзотика. Описание на другом языке, иными (московскими, скажем) глазами всегда поэтому пародийно, иронично, комично. Англичанам это пародийное смещение, искажение привычного занимательно. Но моя лондонская жизнь уже давно потеряла для меня лично оттенок пародийности, относительности, временной комичной абсурдности. Отсюда противоречие: между чувством и мыслью и, следовательно, словами. Вопрос в том, можно ли описать на ином языке то, что как раз и увлекает тебя тем, что на иной язык не переводится, — всем тем, из-за чего я и решил поселиться в Англии.

Вы тонкий и ироничный аналитик, хорошо знаете, что такое ностальгия для эмиграции и первой, и второй и третьей волны. А что такое ваша ностальгия, если только это можно описать словами?

Первое, что нужно сказать: ностальгия у меня не в единственном числе. У меня их много: в отношении ностальгии я не моногамен. Как только появляется одна ностальгия, сле-

дует сразу завести себе какую-нибудь еще. Ностальгия — это и есть тоска по ушедшей любви, зачастую по любви несостоявшейся. А точнее, это тоска по несостоявшемуся прошлому. А в состоянии влюбленности мозги у нас становятся цыплячьими: для цыпленка первый увиденный предмет и есть мать, а стул это или человек — совершенно неважно, он отпечатывается в мозгах на всю жизнь, и цыпленок будет следовать за этим предметом как за курицей. Такое же впечатление производила первая, увиденная за „железным занавесом“ страна — в глазах советского эмигранта 70-х годов. Я готов был влюбляться в страны за кордоном, потому что уезжал не с тем, чтобы переждать эпидемию советской чумы в России и вернуться: я уезжал навсегда, и ставка была на безответную любовь к новой географии бытия. Хотите пример?

Я прилетел в Иерусалим ночью, ничего не понял в темноте, а наутро в окне — мечеть на выжженном пригорке и муэдзин заывает. И я прослезился от восторга: вот она, свобода! вот она, демократия! С тех пор выжженный пригорок с мечетью вызывает у меня ощущение невероятной свободы, освобождения, выхода за тюремные ворота, пересечения советской границы. Иногда мне кажется, что мои предки были мусульманами. Но это я говорю сейчас, с островной английской дистанции. Логика тут никакой — на то она и ностальгия. В Иерусалиме я тосковал по Москве, и не по Москве вообще, а по некоему узкому кругу друзей, московскому разговору, дружескому застолью. Я тосковал по тому ощущению общности, уникальности, отделенности от всего остального мира — некой избранности, продиктованной фальшивой, но бесподобной атмосферой жертвенности: вокруг враги, но мы не сдаемся и пьем „за успех нашего безнадежного дела“. В его ностальгическом варианте подобного дружеского круга и московского застолья никогда, возможно, и не существовало, так что ностальгия — это создающее начало, нельзя написать романа без ностальгии. Идеальная ностальгия и есть еще не написанный роман или роман, который никогда и не будет написан. О Москве дружеского застолья, например. А

когда я переехал в Лондон, у меня началась та самая, цыплячья ностальгия по Иерусалиму, и эта новая ностальгия если не вытеснила, то по крайней мере уравновесила ностальгию по Москве. У человека, выясняется, не одно прошлое — их много, и по каждому из этих прошлых надо испытывать ностальгию, всех их надо любить как детей, даже незаконных.

Но ностальгию можно развить и без таких радикальных перемен в личной биографии и географии. Вот Есенин покинул родные места юношей, а потом всю жизнь метался: „Нет любви ни к деревне, ни к городу”. В прошлом году я переехал обратно в тот район, где прожил свои первые четыре лондонских года. И вдруг обнаружил, что тоскую по тому району на юге Лондона, где прожил промежуточные 9 лет. Настоящий подвиг — это ностальгировать по месту, времени и людям, с кем живешь в настоящем, в данный момент и в данном месте. Такие счастливые, высокие моменты и вправду бывают. Когда эмигрируешь, так сказать, в себе — от себя преждего. Такое бывает с целыми странами. Такое я увидел в Москве октября 1990 года. По возвращении из Москвы такое ощущение, что русский язык надо опять восстанавливать: так говорят на каком-то „брифинге”. Все улицы переименовали, бюсты Ленина смотрят на тебя как памятники архитектуры дореволюционного прошлого — вот-вот по ним долбанут серпом и молотом.

Итак, вы ощущаете себя писателем третьей русской революции. Что вам дала эмиграция-революция, до которой, по вашему признанию, вы были никем?

Как всякая революция, эмиграция — лишь видимость перемен. Но *видимость* — слово многозначное: видимость, то есть наглядность перемен, — это не так уж мало. Ты меняешь шило на мыло. То есть находишь новый словарь, как бы переводишь свою жизнь на иной язык: всякий перевод на иностранный язык помогает увидеть в себе вещи, ранее не замечавшиеся. Они становятся *видимыми*. Для меня, человека пишущего, это хлеб насущный — поменять шило на мыло, найти новый язык. Моя отчужденность, внутренняя эмигра-

ция стала буквальной — я оказался в иной стране с иным языком. Ситуация душевная обрела, так сказать, телесность, форму, сюжет. Прошлое обретает стройность и законченность. Эмиграция как жизненный поступок создает иллюзию готового романа. Отсюда такое человеческое отчаяние, когда романа не получается; отсюда такая авторская паника, когда не получается жизни вдали от знакомых мест.

В этом смысле я и говорю, что эмиграция — это литературный прием. Это самоузнавание через смену идей, клятв, словаря жизни есть моя литературная тема, ее бы, естественно, не было, если б я не эмигрировал. Если же углубиться в софистику, кто кем был и кто кем стал до и после революции-эмиграции, то я хотел бы тут процитировать моего кузена: „Кое-кто был в Москве никем, — сказал он, — а я *даже никем не был*”. Вот именно: не быть даже никем — это и означает быть всем. А эмиграция как раз и дает возможность перестать быть всем и стать, наконец, никем. Так что песню можно петь и на иные слова: тот, кто был всем, тот стал никем. Ты теряешь все доспехи, регалии и награды прошлой жизни. Ты гол перед Богом. Уходят и все внешние, и ложные оправдания собственной ничтожности. Более того, ты теряешь ощущение уникальности: жизнь в уютной (своей привычностью) тюремной камере, каковой была советская страна, кажется неповторимой, жизнь в изоляции создает впечатление, что за тюремными стенами никого нет, что ты — центр Вселенной и единственный хранитель культурного наследия человечества. А тут, оказывается, и это было иллюзией: за кордоном есть все, включая советскую жизнь в миниатюре; точнее, советская система — это все дурное, что можно найти и собрать воедино в общественной жизни Европы и Америки. Так что если подводить моральные итоги, то первое, что обретаешь, оставив свою родину, — это ощущение собственной никчемности и эфемерности бытия. Потом начинаешь вживаться в иную историю, иной язык, даешь присягу королеве и начинаешь открывать в себе, скажем, еврея и коммуниста или франкмасона и гомосексуалиста и т. д. и т. п.

Но вот это первое ощущение „голизны“ перед Богом — оно не проходит. И если не сломался в тот первый период, уже ничего не страшно.

Свобода, цитирую вас, это право на выпадение из исторического процесса. Вы выбрали свободу. Можете ли вы себя сегодня назвать свободным человеком?

Выпав из истории своей страны — исторического процесса, человек немедленно впутывается в свою личную историю. Для этого не обязательно эмигрировать — по крайней мере в буквальном смысле. Просто в России выжить физически в одиночку практически невозможно, и оттого такая коллективизация и политизация жизни, что кажется: одна дорога — в эмиграцию. „Исторический процесс“ как понятие само по себе и есть несвобода: это нечто чуждое тебе, но навязанное тебе как свое, напряленное, как колпак, когда ты чувствуешь, что пляшешь под чужую дудку — не твоих личных, а общих категорий, неких исторических сил, судеб твоей страны, духовных устремлений твоей нации и т. д. и т. п. Суть дела в том, что все эти судьбы и устремления — они вовсе не твоей страны и нации, а тех, кто объявил себя твоей страной и твоей нацией и навязывает их тебе в готовом виде, более того, принуждает тебя за эти судьбы и устремления умирать. От этих вот посредников — между тобой и Богом, идеей и личной жизнью — эмиграция, в частности, и помогает избавиться. Я не против религиозной, национальной, патриотической или какой-либо еще общей идеи как таковой, а против посредников. Я в этом смысле антиклерикал. Эти посредники высоких идей пытаются быстро заприходовать твою личную жизнь, обратить, перевести ее в нечто общеупотребительное, чем можно размахивать и призывать в назидание другим. Вот тут и надо переходить на другой язык, уходить от этих посредников в кусты, в подполье, в эмиграцию. Секрет свободы в том, чтобы эмигрировать не один раз, а постоянно, перманентно эмигрировать — увилывать от окончательных формулировок собственной жизни. За это приходится рас-

плачиваться: разрывом с друзьями, с близкими, с родственниками, с правительственными органами. При этом не следует забывать пушкинское: „На всех стихиях человек тиран, предатель или узник“. Но не нам судить, кем мы оказались в данный момент исторического процесса; как только ты начинаешь догадываться, кто ты, тут-то и стоит задуматься об еще одной эмиграции в очередное никуда, чтобы стать очередным никем. Но это — идеальный посыл; на деле же все равно опять влюбляешься, забываешься, пускаешься во все тяжкие, соучаствуешь и сводишь счеты с прошлым. Ужасно.



Сергей ИВАНОВ

ИЗГНАНИЕ КАВАЛЕРА ГЛУКА

„Баку, весна надежд” — так назывался репортаж, напечатанный в одной столичной газете. Едва мне приходит на память этот свежий заголовок, как в нем сами собой начинают происходить замены, подобные перевоплощениям нарисованного провинциальным фотографом всадника в бурке и папахе. „Тбилиси, весна надежд”, „Ош, весна надежд”. Балтийские названия беспрепятственно втягиваются в завораживающе-сладострастный ритм восточного ресторана: „Вильнюс, весна надежд”, „Рига, весна надежд”. Стонет зурна, позванивает бубен, съезжает набок папаха, эхо разносит топот коня:

Мальчик веселый из Карабаха —
так называют люди меня.

„Карабах, весна надежд”.

Соцреализм неистребим, как бы ни хоронили его весельчаки из „другой прозы”. Все, что хоть раз родилось, живет

вечно, разве что для нашего утешения и посрамления сожмется иногда в неприметный комочек или примет непривычное обличье. Обличий у соцреализма, вошедшего в плоть и кровь поколений, легион: от обращенных не к палачам, а к жертвам призывов покаяться (палачей призывают тоже, но те упираются, и тогда волей-неволей остается уповать на одни жертвы) до несметных полчищ матрешек с кляксой на лбу, которые теснятся на арбатских тротуарах и кажутся верной приметой хлынувшей через край свободы и оскорблением главы государства разве что залетному университетскому советологу. Нет, господа, как был Арбат правительственной трассой, так ею и остался. Даже стал ею еще больше.

Неистребим соцреализм, неистребима его пошлость. „Город похож на притихшего, виноватого ребенка, не понимающего, что произошло”, — читаем мы в репортаже. Это о Баку после бойни! Буревестник и все его птенцы могут спать в своих гробах спокойно. Переворачиваться у них нет ни малейшей причины.

Неистребим его язык. „Незадействованные ресурсы”! Да, именно так выражается современный советский журналист, вернее, журналистка (о чем по „притихшему ребенку” нетрудно и догадаться), и выражается не где-нибудь, а в „Литературной газете” — откроем уж со вздохом этот секрет. А как вы думаете, ресурсы чего не задействованы в солнечной республике? Ни за что не догадаетесь. Ресурсы культуры!

„Культура, весна надежд”.

Неистребимо его нежелание судить о вещах менее чем поверхностно и дать волю не идеологизированной фантазии, а здоровому воображению.

Вот среди прочего корреспондентка касается „войны памятников”, в разгар которой из Бакинской республиканской библиотеки исчезла статуя Хачатура Абовяна, а где-то в Армении рухнул бюст Самеда Вургуня. „Оставалось только представить, как в страшные дни 1941 года в Москве, в Большом зале консерватории, замазываются в зна-

менитых медальонах лики великих — Баха, Бетховена... Невозможно? А здесь возможно?.."

Ну, отчего же, сударыня, невозможно? Все прочее, чему и названия то нет, возможно, а это невозможно, этого вы и представить себе не в состоянии. Разделяю ваше негодование насчет Абовяна, но апелляцию к „знаменитым медальонам" разделить не могу. Каждый, кто заглянет в Большой зал, может лицезреть следы замазывания. Иное дело, что появились они не в „страшные дни 1941 года" — тогда еще до замазывания ликов не додумались, а додумались бы все-таки замазывать из государственных соображений, пожалуй бы, не стали; появились они гораздо позже, когда о сорок первом начали уж забывать...

„Консерватория, весна надежд".

Там в нынешнем сезоне с самого Рождества гремел сплошной праздник. Состязались в пении американские студенты, читал стихи г-н Мэтлок, играли спиваковские виртуозы, из Голландии прикатил со своим прелестным оркестром Лев Маркиз. Отмечали сразу два юбилея: 125-летие Консерватории и 100-летие со дня рождения Прокофьева. Могли бы, но не вспомнили, отметить и третий — 90-летие Большого зала. Странно даже думать, что первые 35 лет у Консерватории не было этого зала, и московская публика не знала ничего иного, кроме Благородного дворянского собрания. В одном месте (сначала где-то на Волхонке) учили музыке, а в другом собирались ее слушать... Не менее, впрочем, странно сознавать, что ты впервые поднялся по лестнице Большого зала, когда ему было не 90, а всего 45, а значит, жили еще люди, присутствовавшие на его открытии.

Я перебираю в памяти все концерты, на которых я бывал с тех самых пор. Мне кажется, я помню их все до единого. Вот я девятиклассник, вся моя компания повально увлечена Ибсеном, из рук в руки переходят зеленоватые томики с ниспадающими, выписанными золотом ирисами и орхидеями на обложках. В Большом зале тоже Ибсен, Ибсен и Григ — Глумов, а вслед за ним Аксенов ставят „Пер Гюнта": шествие

троллей, танец Анитры, смерть Озе, песня Сольвейг, „Ко мне ты вернешься, полюбишь ты меня...". „Смерть Озе" сыграл в прошлом году на бис Вашингтонский оркестр... Отчего Ростропович выбрал эту вещь? Вспоминается мне, как лет 25 назад Ростропович играл с оркестром Тэриана концерт Шостаковича. Что-то у них не ладится, и все хохочут — исполнители, автор, публика... А помнит ли кто-нибудь, как лет за 20 до этого, на первом после войны исполнении „Реквиема" Верди, сидевший за органом старик Гедике — вот кто присутствовал на открытии зала! — пел вместе с хором и солистами, и по лицу его текли слезы. Клянусь, мы видели их со своей галерки так же отчетливо, как и надпись на его органе: „Дар СП. фон Дервиза". Моцартовский же „Реквием" был исполнен гораздо позже, в пятьдесят шестом, к 200-летию его создателя, и партию органа вел уже Ройзман... А как Менухин играл бетховенский концерт? Тут уже ваш покорный слуга утопал в слезах. А как мы выстаивали ночи на Стоковского, на Орманди? И как „ходили на Баршай" с его неизменным Вивальди, Генделем — шесть концерто-гроссо за вечер, да нет, за одно отделение, Баршай никогда не скупился — и с бесконечной Второй сюитой Баха... Олеша говорил, что Вертинский — целая эпоха для его поколения. Такая же целая эпоха был для нас Баршай. Кажется, мы не пропускали ни одного его концерта. И ни один оркестр, сколько их ни возникало с тех пор, как он уехал, так и не дотянул до его оркестра... Одна картинка сменяет другую. Вот Гилельс дает свой последний концерт и играет 29-ю сонату Бетховена, уносясь к тем небесным чертогам, куда ему так скоро предстояло уйти от нас навсегда. А дальше, конечно, Горовиц, с немислимыми своими пальцами, как бы загибающимися круто вверх, доказывающий нам, что ля-бемоль мажорный полонез Шопена мы до него не слышали никогда: ни его щемящей польскости, ни грозно-торжественных спиралеобразных нарастаний.

Надо ли говорить, что начинали мы с галерки, со второго амфитеатра, и входных грошовых билетов? Это уж потом, к

концу 50-х, спустились мы в первый амфитеатр, а затем, еще лет через пятнадцать, обосновались в партере. Но можно ли забыть душную верхотуру и подвиги безбилетного проникновения, поощряемые, как я теперь уверен, благоволившими к нам билетерами. Я помню их всех так же, как и все поколения публики, взрослевшие и старевшие вместе со мной, старавшиеся приохотить к музыке детей и внуков и медленно, но неотвратно скрывавшиеся из глаз. Прежде, бывало, мы с женой любили загадывать на знакомых, причем на настоящих, не шапочных, чтобы можно было раскланяться и задать два-три вежливых вопроса. Наберется десятеро, значит, „все будет хорошо“. Давно уж мы не играем в эту игру — и „настоящих“ почти не осталось, и шапочные поредели: кто умер, кто уехал, кого засосал телевизор.

Где вы, спутники первых моих походов в Большой зал? Было нас трое, три школьных приятеля — Илюша, Витя и я. Компания держалась года два и распалась сразу после школы, когда мои приятели поступили в университет, на экономический, а я в некий институт, где учили, в сущности, одному лишь русскому языку и привычке замечать отклонения от него. Приятелей моих посадили курсе на третьем, если не ошибаюсь, за любознательность. Захотелось им изучать философию более основательно, нежели предлагал им набитый трухой тогдашний учебник. Они собирались у кого-то, делали сами себе доклады — словом, обычная для тех лет история. Влепили им лет по восемь, но оттрубили они, кажется, шесть: слава Богу, Лучший друг философов загнулся. Жизнь у них потом была полна превратностей, один снова загремел, потом еще раз, другой стал священником, и оба давно уже за пределами Отечества.

Философия поглотила их после школы целиком, места их на галерке пустовали все чаще, но я о том не жалел. Музыку я слушал со своей новой подругой Т. Она была само совершенство; недостаток у нее был только один — она оказалась страстной поклонницей Гилельса. Что она находила в этом рыжем мяснике? Жила она в двух шагах от Консерватории, в

самом начале правительственной трассы, против детского читального зала, ныне всеми покинутого и ожидающего ремонта. Два шага мы растягивали до многих тысяч, кружа по ближним переулкам, наконец, подходили к ее дому. Топтун со скуластым лицом, в коричневом пальто с каракулевым воротником и в каракулевом пирожке, церемонно отвешивал нам поклон. Мы чинно вступали во двор и быстро взбегали на высокое крыльцо двухэтажного особняка. Крыльцо было замечательное: на верхней площадке вас встречала не дверь, а огромная ниша, дверь же только угадывалась в темной глубине. И мы с Т. целовались там, в этой благословенной нише, и, никем не видимые, клялись в вечной любви, а когда звезды тускнели, я провожал ее к стоящему напротив одноэтажному домику, где она жила. Там не было ни крыльца, ни прихожей; дверь со двора вела прямо в кухню коммуналки, и мы около нее не останавливались никогда.

Как-то возвращались мы с концерта и заметили, что наш топтун взглянул на нас как бы сочувственно и быстро отвернулся. Сердца наши оборвались, и не напрасно: в нише ярко горела лампочка. Я кинулся дотянуться до нее, но Т. остановила меня. „Подожди, сначала я выясню у тети Паши, кому это понадобилось“. Тетю Пашу я знал, это была дворничиха. Я бушевал, но Т. была непреклонна. Дня через два мы увиделись. „Эту лампочку повесили для Лидии Тимашук, — сказала она тихо. — Оказывается, она живет в том подъезде. Придется нам распроститься с нишей“. — „Но почему?“ — завопил я. — „Господи, какой ты глупый“.

Прошло полгода, уцелевшие врачи-убийцы вернулись домой. У Лидии Тимашук с треском отобрали орден Ленина, но лампочка продолжала гореть. Однажды я вопросительно взглянул на топтуна, выглядевшего в тот вечер весьма нарядно в своем новеньком светло-сером коверкотовом костюме, и сделал рукой вращательно-вывинчивающее движение. Не пора ли, дескать, восстановить справедливость во всем ее объеме? Топтун улыбнулся и отрицательно покачал головой. Я ничего не понимал. Может, ее берегут от мстителей?

Но кто осмелится мстить Лидии Тимашук, даже и развенчанной? Да и она ли виновата? Я понял все, совсем все, когда года через два изучал в „Вечерке” список сотрудников Кремлевки, награжденных орденами по случаю 30-летия этого почтенного учреждения. Я вообще обожаю читать всякие списки, так без всякой цели, а тут цель точно была: приписаны ли бывшие узники к родимой своей Кремлевке, кому из них какие ордена обломятся и сколько вообще евреев среди награжденных. Вполне, по тем временам, законный обывательский интерес. Удовлетворил ли я его, хоть убейте, не помню, ибо громом поразила меня одна-единственная строчка. В списке награжденных орденом Трудового Красного Знамени числилась Лидия Тимашук. Насколько мне известно, факт сей летописцами отмечен не был.

Я не верил своим глазам. Я бегал с „Вечеркой” по знакомым, но те пожимали плечами. Им было неинтересно. Они не видели в этом никакого намека на мировую катастрофу. За одно отобрали, за другое дали. А как же иначе? Это и называется торжество справедливости. Ясно, что Тимашук — безвинная жертва.

Нынешней весной я заглянул в тот двор и поднялся на крыльцо с нишей. Лампочки, конечно, не было и быть не могло: с лампочками в Москве давно туго. На окна одноэтажного домика я старался не смотреть: что проку знать, кто там живет, да и живут ли, если самой Т. уж лет десять как нет на свете. Спит она вечным сном во сырой земле Беер-Шевы, и душа ее витает там, где покрытые рыжими волосами руки играют ей ее любимое *Adagio sostenuto* из 29-й сонаты *opus 106* („*Hammerklavier*”).

Так вот, с Бетховеном, конечно, ничего не стряслось. И с Бахом тоже. Это было бы чересчур. Тут наша корреспондентка права. Но, кроме них, в медальонах были и другие, „менее великие”. Их не замазали, а просто сняли. И заменили другими. Не то чтобы „более великими”, нет, но более подходящими к обстоятельствам.

Навсегда запечатлелись они в моей благоговейной памяти

в те минуты, когда я впервые переступил порог Большого зала и, опершись о барьер амфитеатра, медленно оглядел их всех. Четырнадцать овалов в венках из золотых дубовых листьев — слева семь и справа семь. Слева, начиная от сцены, Чайковский, Бетховен, Гайдн, Шуберт, Шуман, Глюк и Рубинштейн. Справа: Глинка, Бах, Моцарт, Гендель, Мендельсон, Вагнер, Бородин. По краям столпы русской музыки, между нами — светила музыки европейской.

Написал портреты никому особенно не ведомый художник Бодаревский, талантливый копиист. Подпись его стоит на портрете Бородина, с пометкой „1901 г.”. 90 лет висит, украшая собой и весь зал и второй амфитеатр в отдельности, композитор Бородин. И 90 лет — его сосед Вагнер. Вагнер — единственный из четырнадцати, кто изображен в профиль, в своем знаменитом темном бархатном берете. Другого образа Бодаревский не нашел, да, наверное, и не искал: задумано было сделать копии с самых известных прижизненных портретов. Помню, мы с Илюшей и Витей все посмеивались, сидя поблизости: неспроста этот байрейтский лебедь повернулся всем корпусом к еврею Мендельсону, своему соседу справа, и готов испепелить его взглядом. Где мы вычитали, что Вагнер был антисемит? Кто нам это сказал? И был ли он антисемит на самом деле? Может, это были просто шуточки? Сорок шестой год, время еврейских анекдотов, все евреи еще на месте.

На той стороне, напротив Вагнера, его музыкальный антипод Глюк, автор „Орфея”, „Ифигении”. Кавалер Глюк, как говорили все в подражание Гофману, кавалер Глук, как называли его мы, потому что на белой мраморной дощечке под портретом так и было выбито золотыми буквами: „Глукъ”. Твердый знак был у всех: и у Вагнера, и у Мендельсона, но ничье имя не звучало так трогательно по-старинному: Глукъ! Мы обожали этот портрет. Кто это там сидит под нашим Глуком? Смотрите-ка, опять Маркс! Марксом мы звали скромно одетого милого старичка с длинной седой бородой и волосами до плеч. Маркса мы тоже любили. Как и Глук, он

был „наш“ Маркс. „Вовсе он не похож на Маркса, — ворчала Т., — вечно у тебя какие-то фантазии“. — „Да я и не говорю, что похож, — отвечал я. — Просто его так зовут“.

И вот в один прекрасный день, когда у патриотки Тимашук уже отняли один орден, а другим еще не наградили, а именно в день открытия сезона 1953-1954 г. г., являюсь я в Большой зал и, как выражались в старину, едва не лишаюсь чувств. На губах у Вагнера играет торжествующая улыбка. Вагнер глядит не на Мендельсона, а на Римского-Корсакова! Наконец-то его избавили от нежелательного соседства. Бородастый Римский-Корсаков, чуть-чуть наклонив голову, смотрит отрешенно сквозь очки и сочиняет „Сказание о граде Китеже“.

Рядом с ним, на месте Генделя, висит Даргомыжский, на месте Гайдна — немного растерзанный, но исключительно гениальный Мусоргский. А на месте Глука, на месте нашего любимого кавалера Глука — нет не Балакирев, не Серов, а другой иностранец — сумрачно-стеснительный Шопен! А под ним, слегка пригорюнившись, сидит на своем обычном месте неизменный наш Маркс.

Это были плоды последнего крупного сражения с безродным космополитизмом. Яростная война, длившаяся без малого четыре года, — столько, сколько воевали с немцами, — вступала в полосу относительного затишья. Погромы хивало, но не так, как при Лучшем друге композиторов. А тут в силу, очевидно, особенностей жанра, или, вернее, задачи, дело подзатянулось. Живописцам Суздальскому и Мещанинову надо было написать новые портреты так, чтобы ни по манере, ни по колориту их нельзя было отличить от замечательных творений Бодаревского. Недаром и ни одной подписи на них не найдешь. И мы должны честно признать, что со своей задачей живописцы справились превосходно. Разницы между старыми и новыми портретами никакой. Вот только провозились долго: в 53 году эта акция выглядела все-таки чуть-чуть запоздалой. А может, они сами тут ни при чем: могли быть перебои с позолотой или с мрамором.

Славно получилось; не четверо русских, а семеро, ровно половина. И ни одного еврея. То есть один еврей есть, Рубинштейн, но без него нельзя. Во-первых, брат основателя этой Консерватории. Во-вторых, он не совсем еврей, товарищи дорогие, а только наполовину, а наполовину швед или что-то в этом роде. Так что фактически он русский. В-третьих, мы должны быть объективны: все-таки еврей кое-что сделали в музыке. И потом, „Демон“, помните „Демона“? „И будешь ты царицей мира...“. То-то. Нет, мы не варвары какие-нибудь.

Ну, а зачем Шопен, спросит не искушенный в таких тонкостях читатель. Какой смысл заменять одного иностранца другим? О, тут очень большой, можно сказать, высший смысл и высочайшее иезуитство. Кто там остается, кто все эти Бетховены и Моцарты? Немцы да австрийцы. А какие немцы, наши или не наши, пойдешь разберись. Нужен бесспорный представитель братской страны, желательнее славянин и близкий нам по духу. Кого примем за основу, товарищи? Шопена? Подходит. И в шовинизме нас не обвинишь — одного иностранца заменяем другим иностранцем! И объективность — славянский вклад, он же не меньше еврейского. И польским друзьям, товарищу Беруту, подарочек. Сейчас как раз с польскими друзьями надо особенно дружить, есть такая установка.

Так и вижу, как они там, на Старой площади, прикидывают, кого кем заменить. А вы говорите невозможно, сударыня. И невозможное возможно, как сказал поэт, которого так любит цитировать ваша газета.

„Старая площадь, весна надежд“.

Но отчего же непременно славянин, когда у них и так была куча славян, продолжает допытываться читатель, вспомнивший нелепую картину Репина „Славянские композиторы“, которая с самого открытия Большого зала украшает фойе. Там вы найдете кого угодно: и Даргомыжского с Римским-Корсаковым (Николай Андреевич в форме морского офицера, молодой и стройный), и Монюшко с Шопеном, и, конечно, Огинского, чей бессмертный полонез (впережку с

танцем маленьких лебедей). Лучший друг радиослушателей велел играть каждый день по радио. Так неужели мало им было этой картины?

Мало! Кто будет наклоняться и читать табличку под картиной, где выгравировано двадцать имен? А тут крупными буквами: Шопень, Римский-Корсаковъ... И все, повторяю, в нужной пропорции: семь и семь. Согласно вкладу.

А откуда, интересно, автор узнал фамилии художников, если они нигде не обозначены, не унимается читатель. Очень просто. Однажды автор не поленился, зашел в консерваторскую библиотеку и перелистал толстую книгу „Московская консерватория“, выпущенную издательством „Музыка“ в 1966 г., к очередному, естественно, юбилею. Там на странице 190 он обнаружил сноску, в каковой бесстрастно было отмечено, что с 1901 по 1953 г. висели в Большом зале такие-то и такие-то портреты, а в 1953 г. произошла замена. И упомянуты фамилии художников, выполнявших социальный заказ. Вот только не названы для истории имена тех, кто все это затеял, и не сказано, куда девались портреты опальных композиторов. Разрезали ли кавалера Глука на кусочки или отнесли на помойку прямо в рулоне?

В этой же праздничной книге есть выдержки из „Отчета по постройке и торжественному открытию здания Консерватории“. Из них мы узнаем, что Большой зал, построенный архитектором Загорским, открыт был 7 апреля 1901 г. увертюрой Глинки к „Руслану и Людмиле“, после чего оркестр под управлением директора Консерватории Сафонова сыграл „Франческу да Римини“ Чайковского, „В Средней Азии“ Бородина, увертюру Рубинштейна, сочиненную на открытие Петербургской консерватории, и, наконец, Девятую симфонию Бетховена. Теперь таких грандиозных концертов не бывает; но ведь и случай был какой!

В своей речи Василий Ильич Сафонов не мог не упомянуть о прекрасных портретах, на которые с восхищением взирала публика. „Величайшие представители музыкального творчества, изображения которых смотрят на нас с высоты этих

стен, уже оставили этот мир, но творения их еще долго будут утешать и поучать человечество, — сказал он. — Эти изображения показывают наглядно единение нашей родины со всем образованным миром в лице выдающихся творцов симфонической, то есть наиболее отвлеченной и чистой музыки. Отныне эта музыка в нашей столице имеет приют, представляющий исключительные удобства для исполнения образцовых произведений музыкального творчества и тех великих созданий человеческого гения, исполнение которых до сих пор было недоступно... Пожелаем же нашему залу служить во славу родного искусства, пожелаем, чтобы великие люди, изображения которых украшают этот зал, служили примером многим поколениям, вдохновляя молодые силы на служение человечеству, и — кто знает? Может быть, нашей дорогой родине суждено дать миру нового Бетховена...”

Автором раздела книги, в котором цитировались эти слова и упоминалось о замене портретов, оказалась известная музыкальная дама, возглавляющая в Консерватории кафедру. Я позвонил ей и спросил, не помнит ли она, что стало со снятыми портретами и как это вообще происходило. Она ничего не помнила. „Но согласитесь, что замена произведена удачно“, — сказала она. Я спросил ее, что бы, по ее мнению, ответил Римский-Корсаков, который в 1901 г. оставял этот мир еще не собиравшись, если бы ему доложили, что вот сейчас, к открытию, вешают портрет Мендельсона — так уж вышло-с, сами знаете, ваше благородие, евреи, но не извольте беспокоиться, дайте срок, и ваш портретик повесим, и незабвенного Модеста Петровича — его, к примеру, заместо Гайдна... Что бы он ответил?

Собеседница моя промолчала, я поспешил закончить разговор.

На самом деле с Римским-Корсаковым приключилась другая история, не менее, впрочем, нелепая, и виноват в ней, правда, отчасти пишуший эти строки. Я уже говорил, что в институте учили меня одному лишь правописанию. В 1953 г. знания мои были еще свежи, так что, разглядывая новые

портреты и подписи под ними, я тотчас заметил непростительную ошибку. Для того, чтобы Шопен и Римский-Корсаков ничем не отличались от старожиллов Баха и Бетховена, им, по указанию свыше, придали по твердому знаку. Однако на большее наших патриотов не хватило. Между тем если ты уж пишешь Римского-Корсакова с твердым знаком, то будь любезен — пиши первую часть его фамилии через „и с точкой“: Римский. Так же, как написан старожил Чайковский. Новички Мусоргский и Даргомыжский этого и были тоже лишены, но им, если отвлекусь от затеи с фальсификацией, и особенно и не требовалось — фамилии их хоть и были написаны по-новому, но по крайней мере без ошибок. А тут полфамилии по одной орфографии, полфамилии по другой. Римский-Корсаковъ! Золотыми буквами! Скандал!

Служил я тогда в одном маленьком военизированном издательстве, которое среди прочего готовилось выпустить „Морской словарь“. Составил его и проиллюстрировал вместе с женой, Марией Николаевной, специалист по истории флота и художник Дмитрий Леопольдович Сулержицкий. Был он невысокого роста, с седоватой бородкой клинышком, слегка прихрамывал, опираясь на палку, и то и дело заливиисто смеялся. Помнится, при первом знакомстве я задал ему дурацкий вопрос: „Вы сын того Сулержицкого?“ — „Того самого, — с готовностью отозвался он. — Обо мне еще Чехов писал, и не один раз. Первый раз поздравлял отца с моим появлением на свет, второй — посылал мне через отца поклон, называя меня наследником и кормильцем его в старости. И оба раза в девятьсот третьем году. Я ведь уже древний старик, мне летом стукнуло пятьдесят“.

Оказался Сулержицкий большим любителем и знатоком „отвлеченной“ музыки, и раз по какому-то, уж не помню, поводу спел мне при всем честном народе рондо из Третьего бетховенского концерта. С тех пор, как слышу я первые такты этого рондо, так передо мной встает поющий тенорком Дмитрий Леопольдович, а рядом я сам с открытым от восторга и благоговения ртом. Ему первому и рассказал я про

бедного Римского-Корсакова. Д.Л. ахнул, всплеснул руками: „Нынче же позвоню Александру Васильевичу, мы с ним друзья“. Александр Васильевич был не кто иной, как сам Свешников, руководитель знаменитого в те времена хора и, главное, директор Консерватории.

Через неделю Сулержицкий заглянул ко мне в комнатку: „Все исправлено, можете смело идти в концерт“, — сказал он, посмеиваясь. Как исправлено, Д.Л. рассказывать не пожелал: „Сами увидите“. Оказалось, что Свешников нашел самый простой выход из положения — уничтожил твердый знак. Вырезанную на мраморе и позолоченную букву замазали алебастром. Ничего, что надпись стала слегка асимметричной, сдвинутой на дощечке влево, зато — грамотной. Так, по-видимому, рассуждал Свешников. Не забудем, что именно с его благословения происходила смена портретов, хоть, возможно, додумался до нее не он; косвенно на это указывает восклицание музыкальной дамы, услышанное мною в ответ на расспросы и предположения: „Нет, нет, только не он, он не мог!“ Хорошо, он не мог, но он знал и он был директор. Он мог протестовать, подать в отставку. Пусть не тогда, когда портреты заказывались, но тогда, когда они были готовы, в пятьдесят третьем. А он и пальцем не пошевелил. Поэтому-то я и не употребляю безразличного „в бытность“ („в бытность его директором“), а говорю, как было: с благословения.

Чернильная моя душа, душа грамотея *par excellence*, торжествуя, рассуждала вначале так же: пусть асимметрично, зато грамотно. И ведь это я, я исправил ошибку! Но младенческое ослепление схлынуло быстро. Чему же это я радуюсь, идиот! Грамотно, да, но асимметрично! Судьбе не угодно, чтобы все забылось, ей угодно, чтобы все стало как прежде. Ведь можно же заказать новые портреты Глука и Мендельсона, Гайдна и Генделя, если старые не сохранились... Как же я был наивен! Лишь много лет спустя я стал по-настоящему понимать, что мысль о возвращении портретов никому ни тогда, ни позже, даже в форме маниловского мечтания, и

в голову не могла прийти. Даже если у кого-нибудь и шевельнулось в душе, что состоялось осквернение музыкальной святыни, надругательство над четырьмя изгнанными (и над четырьмя призванными), над всеми, кто строил, украшал и открывал Большой зал, над русской культурой, которую решили распространять столь варварским способом, — даже если кто и ощутил нечто в таком роде, то уж наверняка постарался поскорее избавиться от этого зудящего ощущения, внушая себе, что, слава Богу, расправились не с живыми людьми, как было бы привычнее, а с портретами. И ведь, что там ни говори, нельзя не признать расправу удачной. Даргомыжский, конечно, не Гендель, но все же его все знают, все поют Мельника, а кое-кто и Старого капрала. Об остальных и говорить нечего.

Мы забываем то, что хотим забыть, говорит Фрейд.

Все той же судьбе было угодно не ограничиться одной асимметрией и посмеяться над нашими со Свешниковым хлопотами. После его ухода в Большом зале сделали ремонт, и твердый знак появился снова, сверкая свежей позолотой. Как уж это вышло, я не знаю. То ли алебастр осыпался, обнажив место для позолоты, то ли какому-нибудь геометрическому уму бросилась в глаза асимметрия, он окинул взором все надписи, заметил, что у соседа, у Вагнера, твердый знак есть и у всех прочих есть, а тут почему-то нет: непорядок! Замазан? Это какой же умник такое выдумал? Восстановить!

И восстановили. Так и висит Николай Андреевич с древней своей двойной фамилией, написанной топором. И опять никому до этого нет дела — ни директору Консерватории, ни директору Большого зала, ни высокоученым меломанам, заполняющим партер, ни выходящим на сцену музыкантам, ни потомкам бедного Николая Андреевича, которые, возможно, не бывали никогда в Большом зале, а если и бывали, ничего не заметили. Есть твердый знак, и ладно. Вон, у газеты „Коммерсантъ“ тоже есть. Имеют право.

Директору Большого зала, всеобщему любимцу, я, правда, как-то перед концертом показал на этот злосчастный твер-

дый знак. Смотрите, говорю, какая дурацкая история получается. Но тут, на наше с ним счастье, в дверях показался тогдашний американский посол г-н Хартман с супругой, дамой исполинского роста, неземной красоты и вместе с тем любительницы всего исконно русского. Г-жа Хартман была одета в новое ярко-зеленое платье и улыбалась ослепительной улыбкой, посылая воздушные поцелуи многочисленным знакомым. Взоры всех присутствующих обратились к ней, и мой собеседник меня уже не слышал. Вот и прекрасно, подумал я, незаметно ретируюсь. Прекрасно потому, что зачем я, в сущности, начал рассказывать ему эту историю с орфографией? Что он должен был ответить мне? „Ну, и что вы предлагаете?“ — спросил бы он, и мне нечего было бы сказать. Я ведь ничего не предлагаю. Все, что случилось в Большом зале, поправить невозможно. Вот отчего нет мне покоя — невозможно! Так же, как невозможно вернуть к жизни тех, на ком Лидия Тимашук и бесчисленные ее дружки заработали свои ордена и лампочки.

Еще совсем недавно, года два назад, существовала на радио четвертая программа: целыми вечерами крутили там классику, а в выходные дни — с самого утра. Не хочешь в Консерваторию — нет сил, нет времени, не достал билетов, — сиди у старинного послевоенного приемника, с глубоким объемным звуком, и слушай. Увы, нет больше четвертой программы, а есть музыкально-образовательная программа „Орфей“: играют кусочек балетной музыки, а про остальное рассказывают. Рассказывают так: „Карсавина не обладала достаточно свободным владением техники...“ Или так: „Образ человека из народа, Санчо Пансы, созданный великим Шляпиным...“ И невдомек рассказчику и редактору, что Шляпин создал образ совсем другого человека из народа — Дон Кихота. Но более всего умилил меня однажды рассказ об одной современной опере: „Пенелопа с Набережной Туманов идет встречать своего Орфея...“

Нет, уж лучше в Консерваторию! Там по крайней мере никто не говорит, только играют. И никого пока ни с кем не путают.

Кончается концерт, улица Герцена все еще перерыта. Кое-как балансируя на шатких мостках и огромных скользких трубах, пробираешься к Никитским воротам и бредешь вверх по Тверскому бульвару, мимо доронинского МХАТа. Не дай Бог, закроют Консерваторию на ремонт, куда тогда податься... Ну, а что там у этих, у доронинцев? „Макбет“, „Синяя птица“... „Синяя птица“! Милая, невозвратная пора детства... Спектакль, написано в афише, поставлен в 1908 г. К.С.Станиславским, А.А.Сулержицким и И.М.Москвиным. То есть как А.А.? Не Леопольдом Антоновичем, а Антоном Антоновичем? Сквозник-Дмухановским? О, Господи! Хорошо хоть, Дмитрий Леопольдович не дожил до этого дня.

Впрочем, как же иначе!

И исправить уже ничего невозможно. Слушать ведь не станут. Засмеют.

Помните, как там, в „Синей птице“, пели Тильтиль с Митилью, покидая царство мертвых:

Прощайте, прощайте, пора нам уходить!
Легко сказать: уходить. Куда уходить?
„Пенелопа, весна надежд!“

Вышел в свет роман Виктора Перельмана „Грехопадение Цезаря“.

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа — выходцы из среды московской богемы, — оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия — жизнь самого автора, человека острого и умного и вечно униженного из-за неустойчивости жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности — тайный недуг, который неизменно проходит через всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу „проклятых вопросов“ жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

В книге 320 страниц. Цена — \$ 16. Заказы и чеки высылать по адресу:

„Time and We“
409 High wood Avenue
Leonia, New Jersey 07605, USA

Александр Васильевич Бахрах по праву занимает особое место в литературе русской эмиграции. Прожив долгую и насыщенную событиями жизнь (1902 — 1985), он в течение полувека оставался свидетелем и летописцем замечательно интересного литературного процесса, который мало-помалу становится достоянием миллионов читателей России. Александр Васильевич Бахрах родился в Киеве, но очень скоро переехал в Петербург, где провел годы юности. Затем эмигрировал в Варшаву, откуда в 1920 году перебрался к деду в Париж. В Париже учился в Сорбонне, а с конца 20-го и по 23-й год жил в Берлине, который в те времена стал центром литературной жизни эмиграции. Затем он снова возвращается в Париж, где уже безвыездно живет до конца своих дней. А.В.Бахрах знал все европейские языки, был одним из близких друзей Бунина, переписывался с Ходасевичем, Ремизовым, Цветаевой, встречался с Есениным, Маяковским, Борисом Зайцевым, Эренбургом, Алексеем Толстым, провел многие дни жизни на Монпарнасе.

Я познакомился с Александром Васильевичем Бахрахом в Париже в 1975 году, когда собирал материал для книги о Чаянове — Бахрах одно время был секретарем Чаянова. Это был высокий, красивый, умевший великолепно держаться парижанин, оставлявший после себя яркое впечатление. Позже мы довольно долгое время переписывались, у меня и сегодня сохранилось более тридцати его писем, многие из них представляют собой интересные свидетельства эпохи.

По просьбе Ю.Иваска, я приступил к подготовке второй книги Бахраха, „По памяти, по записям“ (первая была выпущена в 1979 году издательством Аллоя). Выход второй книги предполагалось приурочить к 80-летию со дня рождения Бахраха, но в силу ряда обстоятельств она так и не появилась. В этом номере журнала „Время и мы“ публикуется ряд фрагментов из этой книги. Перед нами выступают живые образы современников Бахраха, выдающихся представителей русской литературы в изгнании. Имена многих из них знакомы читателю, о других он, возможно, слышит впервые, но в целом предлагаемая публикация не может не вызвать у него интереса. Пользуясь случаем, редакция благодарит вдову писателя Кристи Бахрах, с любезного разрешения которой публикуются эти материалы.

Григорий ПОЛЯК

Александр БАХРАХ

ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ

ГОСТЬ ДОСТОЕВСКОГО

Теперь я уже сам с трудом могу поверить, что мне довелось когда-то пожимать руку человека, который, в свою очередь, не раз пожимал ее Достоевскому. При разборе папки со старыми бумагами об этом мне напомнила случайно оброненная карточка. Это был членский билет берлинского „Дома искусств“, выданный в 1922 году, на котором в нижнем углу красовалась подпись его председателя — „Н.Минский“. Бог мой, чуть не вскрикнул я, неужели я уже так стар, что в молодости знался и даже дружил с тем, кто во всех историях русской литературы именуется „отцом русского декадентства“, кто на протяжении своей долгой жизни пожимал руку Достоевского, Тургенева, Лескова, всех едва ли он сам мог вспомнить.

Да я еще и сейчас вижу перед собой его непомерно большую на небольшом туловище голову, острые, но малоподвижные глаза, слышу его неустанное причмокивание и некое сюсюканье при виде молодых поэтесс, которых он рас-

смастривал тем внимательнее, чем моложе была представительница русского Парнаса. Весь он был тогда какой-то розово-серебрящийся, ненатурально аккуратненький, веяло от него запахом какого-то „тройного“ одеколлона. Мне он уже в те далекие дни представлялся неким „патриархом“, хотя для этой роли недоставало ему окладистой бороды. Взамен он носил лишь небольшие усы, которые, думается мне, он слегка нафабривал.

Вспоминаются многие из его рассказов и прибауток, которые он любил повторять. В литературном кругу он не мог отделаться от абстракций, от „высокого штиля“, хотел непременно сказать что-то „умное“, чтобы его слова передавались дальше. Но зато в более интимной обстановке, когда ему не приходилось выполнять функций „председательствующего“ и ради престижа принимать церемонный вид, он не гнушался рассказывать рискованные анекдоты, вспоминать свою жизнь на Монмартре в годы перед войной. А когда удавалось подцепить его на воспоминания литературного порядка, он точно преображался и оживал. Он тогда сразу отбрасывал „отвлеченности“ и делался по-настоящему интересен.

Более других запомнились мне его рассказы — собственно, они были его „коронным номером“ — о посещении журфиксов Достоевского в его квартире в Кузнечном переулке. Поначалу мне его рассказы даже казались малоправдоподобными. Как же мог человек, сидящий рядом со мной, бывать у Достоевского? Однако, прикинув, я убедился, что в год смерти Достоевского моему собеседнику было уже 26 лет, возраст, по тем временам считавшийся вполне „зрелым“.

Как-то особенно отчетливо врезался в память рассказ о том, как молодой поэт отважился читать при авторе „Карамазовых“ свои юношеские стихи, пропитанные гражданскими мотивами, скорбные и сумеречные. Волнуясь, но заранее предвкушая похвалы, потому что сам Минский был своими стихами всегда доволен, он прочел Достоевскому едва законченную им „Серенаду“, впоследствии ставшую набившим оскомину романсом:

„Тянутся по небу тучи тяжелые,
 Мрачно и сыро вокруг.
 Плача, деревья качаются голые...
 Не просыпайся, мой друг...
 Не разгоняй сновиденья веселье,
 Не размыкай своих глаз.
 Сны беззаботные,
 Сны мимолетные
 Снятся лишь раз...“

По словам Минского, едва он кончил свое напевное чтение, Достоевский повернулся к нему с язвительной усмешкой и, глядя в упор, спросил: „Молодой человек, а сколько вам лет?“ Этим все было сказано. Стихов на воскресных журфиксах Достоевского Минский никогда больше не декламировал и даже начал внутренне побаиваться взгляда кроткой Анны Григорьевны; с этого дня ее взгляд стал казаться ему насмешливым!

Не менее живыми были его рассказы о встречах с Григоровичем, Полонским, Лесковым и даже с тем, кто „над Россией простер совиные крыла“, с всесильным Победоносцевым.

Но все-таки еще более красочными были его воспоминания о парижских встречах с Тургеневым, раз и навсегда поразившим его своим барственным видом и непривычной в писательских кругах учтивостью и услужливостью. Говоря о Тургеневе, Минский неизменно вставлял слово „джентльменство“, предупреждая, что тогда это понятие еще не было в ходу.

Может быть, встречи с Тургеневым более отчетливо запечатлелись в памяти Минского из-за того, что, ознакомившись с „пробами пера“ начинающего поэта, Тургенев сразу же написал Стасюлевичу, от которого зависело их напечатание: „У Минского несомненные искры таланта, но надо ему еще потрудиться над формой. Все же в каждом стихотворении „зерно“, а это главное“. При этом Тургенев не удержался, чтобы, по своему обыкновению, не придрачиться к кое-каким стилистическим неполадкам. Минский добавлял, что поневоле тургеневскими „директивами“ пришлось ему восполь-

зоваться и с кислой улыбкой, точно извиняясь, говорил: „Позволительно ли было тогда послушаться Тургенева?“

Впрочем, все-таки более серьезная неувязка получилась у Минского с Тургеневым из-за вечера, который устраивало в Париже „Общество русских художников“, неизменным покровителем которого был автор „Отцов и детей“. Он-то и вздумал пригласить молодого поэта, проездом в Париже, выступить на вечере. Сам он на нем не появился, но чуть ли не в полном составе присутствовало „императорское российское посольство“. Тургеневу затем донесли, что вместо стихов о луне и ночной росе, как ожидали, Минский позволил себе угостить присутствующих чтением отрывка из своей поэмы „Белые ночи“, посвященного казни Каракозова. Каша для Тургенева заварилась пренеприятная. Благо, он был в приятельских отношениях с послом, князем Орловым, и дело удалось замять. Все же Минский уверял, что этого выступления Тургенев ему не простил до гробовой доски.

Особенно щеголял „отец русского декадентства“ тем, с какой якобы восторженностью Толстой принял его книгу „При свете совести“, носившую подзаголовок „Мысли и мечты о цели жизни“. В ней Минский излагал придуманную им идеалистическую философскую теорию, навеянную Кантом, которую он окрестил „мэонизм“.

Минский охотно объяснял тем, которые были готовы его слушать, что „мэон“ обозначает нечто реально не существующее, но стремление к достижению которого лежит в основе деятельности каждого человека. Теория казалась мне весьма туманной и не вполне убедительной, и не зря провозвестник загадочного „мэонизма“ сам на себя сочинил злую эпиграмму:

„Сперва блуждал во тьме он,
Потом измыслил „мэон“.
Нет, не в своем уме он!“

Каюсь, „мэонической“ книги я не читал, и ссылка Минского на восторги Толстого казалась мне преувеличенной. Однако, перелистывая недавно толстовские дневники, я наткнулся

на две записи: „Чтение книг Минского. Замечательно сильно начало — отрицание, но положительное ужасно... Нужно найти смысл в жизни и вдруг вместо этого неопределенный экстаз перед мэонами“, а несколькими днями позже: „Читал превосходно написанную книгу Минского с ужасно плохим концом“. Все мы люди, и было естественно, что Минский предпочитал ограничиться рассказами о впечатлении Толстого от чтения первой половины его книги.

Первое четырехтомное собрание сочинений Минского вышло в 1904 году, а тогда в Берлине была издана только одна его пухлая книга с программным названием „От мрака к свету“. Это было собрание его старых стихов, частично написанных под заметным влиянием Надсона, частично пропитанных скорбной позой разочарования во всем. Славы эта его антология ему не принесла. „Декадентство“, многих прельщавшее, пока оно было новинкой, казалось, как и сам седовласый поэт, неким анахронизмом. Погубило его — конечно, литературно — еще то, что он всегда был холоден и, как писал о нем Блок, „никогда не был откровенен“. Не желая отстать от поветрий моды, он постоянно вынужден был вилять и „прихрамывая“ идти за веком.

Когда я его встречал, он, собственно, был уже „поэтом“ в отставке, жившим на „проценты“ с собранного им когда-то как-никак немалого поэтического капитала. Вероятно, поэтому ему так льстило выполнять должность председателя в каком ни на есть литературном объединении. Продолжалось это, однако, недолго. Русский Берлин стал хиреть и „Дом искусств“ закрылся. Минский получил какую-то синектуру в лондонском полпредстве, а затем перебрался в Париж. Здесь он жил совершенным отшельником, никому на глаза не показываясь, всех чураясь. Он умер в 1937 году, и о его смерти не оповестили даже местные русские газеты. А ведь, если только подумать, подобного забвения он никак не заслуживал. Стоило бы только напомнить, что Ремизов писал, что за все его литературные годы он заметил сочлененность имен, их парность: когда произносишь одно, другое уже на

языке, как кислород и водород, Анаксимен и Анаксимандр. А дальше, перечисляя ряд таких пар, Ремизов указывал — „Мережковский — Минский“. Так, вероятно, оно и было. Но кто еще это может помнить?

ИЗ ЗАМЕТОК О БУНИНЕ

Мне уже не раз приходилось вспоминать различные эпизоды из жизни Бунина или передавать разговоры с ним, частично сразу же записанные мной в мою „черную тетрадь“, частично восстановленные по памяти.

Знал я Бунина примерно в продолжение тридцати лет, бывал у него на Оффенбаховой улице, когда он наезжал в Париж из излюбленного своего Прованса, но, кроме того, так случилось, что в его доме, под его крылышком, я непредвиденно и, может быть, по воле благосклонной ко мне судьбы, провел свыше четырех военных лет, а в этот период можно почти без преувеличения исчислять каждый месяц за год.

Другими словами, я почти в буквальном смысле съел с Буниным не один пуд соли (кстати сказать, тогда это был единственный продукт, который в Грассе не был дефицитным!).

Мне хотелось бы для читателей описать несколько случаев из жизни Бунина, среди тех, что глаза мои видели, несколько штрихов из его биографии, из тех, что уши мои слышали непосредственно от него самого, а иной раз добавить к этому несколько собственных соображений. Я делаю это, не считаясь ни с какой хронологической последовательностью, как случайно забрело в голову, и я заранее прошу извинить некоторую фрагментарность и „незакругленность“ этих отрывков.

* * *

Перечитывая недавно бунинскую монографию „Освобождение Толстого“, я впервые обратил внимание на то, что, комментируя толстовскую запись в одном из его дневников

(Толстой записал: „Я не умею говорить перед прощанием с людьми, которых я люблю“.), Бунин сделал характерную для него и отчасти выдающую его лаконическую, почти незаметную сноску, собственно, прямого отношения к толстовскому тексту не имеющую!

„Одна из важных черт его (толстовского) характера: он был очень застенчив,“ — приписал Бунин.

Сперва диву даешься. Толстой с его мировой славой; Толстой, на поклон к которому ездили в Ясную Поляну из всех частей света; который ниспровергал Шекспира и Бетховена; который в письме к Николаю II обращался к нему „любезный брат“ — и вдруг... застенчив. Но, оказывается, одно может ужиться с другим, и Бунин, вероятно, тем охотнее вгляделся в эту черту толстовского характера, что, по существу, и сам был застенчив, а ведь любой параллелизм с характером Толстого, с его поступками, даже с его недостатками, если только он мог их как-то учуять, был для него „слаще меда“.

Да, Бунин был по природе застенчив. Был он застенчив, несмотря на видимость агрессивности, на врожденную насмешливость, на великое множество бьющих в точку злых стрел, направленных против своих современников, иногда даже литературных друзей, на унаследованную им от отца любовь к нецензурной ругани, на то, что ему иногда в применении к себе хотелось бы употреблять некий „pluralis majestatis“.

Казалось бы, все это не с руки человеку застенчивому. Но если всмотреться попристальнее, без предвзятых мыслей, то легко можно увидеть, что многое из того, что в его поступках воспринималось как проявление arrogance, как задиристость, вызывалось именно его врожденной застенчивостью, какой-то, если хотите, робостью и стыдливостью — и да не осудит меня нелюбимый Фрейд — своего рода комплексами, в которых он, несомненно, отдавал себе отчет.

Я имею основания думать, что нередко он был неспособен принять то или иное решение, которое подсказывалось ему разумом или практическими соображениями, не в силах был

обрубить с размаха, единым ударом какие-то угнетавшие его „узлы“ именно из-за своей — толстовоподобной! — застенчивости. Но и обратно, этой же полускрытой стороной его характера можно объяснить — и я далек от мысли изрекать какие-то парадоксы — некоторые его „эскапады“, некоторые едва ли не спровоцированные им самим инциденты, в которых погода — наедине с собой — он неизменно раскаивался и их болезненно переживал.

Довольно выпуклой иллюстрацией к этому можно счесть весьма нелепый случай, подробно рассказанный Натальей Кодрянской на страницах бунинского тома „Литературного наследства“. Оговорюсь при этом, что я на этом вечере не присутствовал, но вполне ясно представляю все происходившее.

Я ссылаюсь на рассказ о том, как Кодрянкине, дружившие с Буниным и нежно опекавшие Ремизова, как-то „невзначай“ привели его в бунинский дом, в котором за долгие годы совместной парижской жизни он никогда до того не бывал. В этот вечер у Бунина собралось небольшое общество, и, увидя неожиданного гостя, Иван Алексеевич пошел к нему навстречу и, отвесив утрированно низкий поклон, произнес как бы с насмешечкой и подделываясь под народный лад: „Здорово, старче“. Ремизов растерялся, и наступило тягостное молчание, а спустя несколько неловких минут Бунин поднялся со своего насиженного кресла, удалился и к гостям больше не выходил.

На следующий день Вера Николаевна, в роль которой входило сглаживать все шероховатости, пришла к Кодрянкам с объяснениями. По ее словам, Бунин был настолько смущен и сконфужен неожиданным появлением Ремизова из-за того, что буквально за несколько минут до этого поносил „ремизовский“ язык, ругал самого Ремизова за то, что он как-то сказал, что Пушкин писал „не совсем по-русски“, за все его „сны“ и „дурачества“.

Увидав неожиданно перед собой того, кому он вот-вот устраивал „вселенскую смазь“, он так растерялся, что „бежал“ в другую комнату и отсиживался в ней. Факт, конечно,

незначительный и, тем более, несущественный, что между обоими писателями отношения скоро были восстановлены и Бунин иногда захаживал к теряющему зрение Ремизову. Но если только вдуматься: мог ли так неучтиво поступить человек не смущающийся и не застенчивый, притом достаточно опытный, чтобы найти какие-то слова, которые бы все сгладили и обратили в шутку, хотя бы неудачную?

Но, кстати сказать, аналогичных фактов можно было бы при желании подобрать целую коллекцию. Именно застенчивостью и только ею можно объяснить, что ему никогда не удавалось установить подлинно дружеские отношения ни с одним из его иностранных коллег по перу — с Рильке, с Мориаксом, с Андре Жидом, которые искренно стремились к какому-то сближению. (Я был свидетелем его редких встреч с Жидом и при случае расскажу о них, так как это целая „эпопея“.) Добавлю, что мешало такому сближению отнюдь не недостаточное знание французского языка — он почти так же стеснялся „русских французов“, таких, скажем, как Кессель или Эльза Триоле, — и для них он не находил нужных слов.

А ведь достаточно вспомнить — и это, собственно, явление того же порядка — его рассказ о том, как в ранней молодости, живя в отцовском имении, он решил во что бы то ни стало повидать Толстого, благо Толстой жил неподалеку. Чуть ли не галопом он доскакал до Ясной Поляны, но в последнюю секунду его одолела робость, и он, чуть не загнав своего коня, тем же темпом вернулся „не солоно хлебавши“ домой. А уже в зрелом возрасте ему как-то случилось встретить Толстого на одной из арбатских улочек. Толстой узнал его, но и тут разговора, о котором он так долго мечтал, не вышло. Бунин сам признавал, что так растерялся перед своим кумиром, что не нашел, что сказать, чтобы задержать внимание Толстого.

Вспоминаю другую „мелочь“, уже из военных лет „мелочь“, которая в те дни казалась катастрофой. В период сравнительно безобидной итальянской оккупации Грасса, как раз в день, когда я отлучился из дому, нарочный привез

из мэрии повестку, извещавшую, что вилла „Жанетт“ как „неприятельская“ собственность (Бунин снимал ее у англичанки) реквизируется для нужд итальянского военного командования и должна быть очищена в предельно краткий срок.

Когда я к вечеру вернулся, стенаниям, „ахам“ и „охам“ конца-краю не было. Хмурый, точно почерневший Иван Алексеевич паковал чемоданы, чествуя „дуче“ в соответствующих выражениях.

Мои уверения, что утро вечера мудренее, никак не действовали.

Я случайно знал, в каком из больших отелей обосновался итальянский штаб. До того я часто бывал в этом отеле, пока там жила одна моя приятельница, и успел перезнакомиться с рядом его служащих. На следующее утро я помчался туда ни свет ни заря и упробил одного из моих отельных „знакомцев“, прислуживавших самому командующему, устроить мне у него аудиенцию.

Важный генерал принял меня незамедлительно, и я, мешая языки, попытался ему разъяснить — какое несправедливое и набрасывающее тень на всю Италию решение было принято по отношению к всемирно известному писателю, переведенному на итальянский язык, нобелевскому лауреату. Я мог сразу же обнаружить, что генерал о Нобелевской премии имеет смутное представление, но мой „нахрап“ все же подействовал: чуть стеснясь, генерал дал мне понять, что, собственно, никакого распоряжения о реквизиции какой-то виллы он не отдавал, такого рода пустяки его вообще не касаются, а это дело рук его квартирмейстера, и ему теперь надлежит действовать дипломатично, чтобы „не раздражить гусей“, то есть чтобы реквизиция бунинской виллы была аннулирована, мол, не по его приказу, а по инициативе его подчиненного. На этих словах он протянул мне руку и, улыбаясь, буркнул что-то вроде *que sera-sera*...

Между тем на „Жанетте“ чемоданы — откуда их было такое количество! — продолжали беспорядочно наполняться,

а в передней гора наспех связанных узлов не переставала расти, пока на следующий день к вилле не подкатил военный автомобиль с бравым итальянским полковником и сопровождающим его адъютантом. Иван Алексеевич из своего окна первым увидел „гостей“, успел куда-то упрятаться и только крикнул мне: „Вы ее заварили, теперь эту кашу расхлебывайте!“

— Я приехал повидаться *con grande scrittore*, — сказал полковник, — принести ему лично наши извинения и объяснить, что произошло недоразумение — я воочию увидел, что вилла нам не подходит. Быстрее стрелы я взвился к Бунину: шутка сказать, ведь дело шло о „спасении“ насиженного гнезда. Не тут-то было: я нашел Ивана Алексеевича за какими-то ширмами в его ванной комнате трясущимся от ужаса при мысли о том, что ему предстоит вести какие-то переговоры с итальянцем. „Нет, как я покажусь ему в халате, что я ему скажу, вдруг вырвется что-нибудь о „дуче“. А тогда что? Я не Мережковский, чтобы уподоблять его Данте! Наврите сами что-нибудь вразумительное!“

Вышла небольшая неловкость, когда я стал объяснять пришедшим: что *grande scrittore* из-за всего этого инцидента с виллой так переволновался, что лежит без сил, не может встать, и мы, мол, ждем доктора.

Полковник был обескуражен, потому что оказалось, что он страстный собиратель автографов (очевидно, он был культурнее своего генерала) и ему особенно хотелось приобщить к своей коллекции автограф нобелевского лауреата — собственно, ради этого он и приехал самолично! Я попросил его заехать в другой раз, но этого другого раза не наступило — нашему полковнику вскоре стало не до автографов... Дело с реквизицией виллы кончилось благополучно, чемоданы были распакованы, узлы развязаны, но как никак Бунинская застенчивость могла легко привести к прискорбным в первую очередь для него самого результатам.

* * *

В этих „хаотичных“ заметках я привожу, казалось бы, мало важные факты, иной раз о которых и вспоминать не стоит. Но как в работе детектива всякая мелочь помогает проникнуть в суть дела, так и мне иной раз представляется, что некоторые из такого ряда „пустоватых“ записей способны лучше раскрыть человеческий облик писателя, чем некоторые ученыше трактаты.

Сперва несколько строк об Алексее Толстом, которого Бунин постоянно честил всевозможными малоизысканными именами и иначе как Алешкой не называл, но к которому все же относился с скрытой нежностью. Ценил его не только как писателя, но отчасти и как человека, хоть и насквозь знал все его проделки и измышления. „Что с Алешки взять“, — неоднократно говорил Бунин, рассказывая о Толстом всякого рода анекдоты, вроде того, как в первые годы эмиграции, когда еще думали, что вот-вот большевизму наступит конец, он продавал свое никогда не существовавшее „родовое имение“, даже не придумав заранее, где оно находится! Впрочем, многие из рассказов бунинского репертуара, посвященного автору „Сорочьих сказок“, первой, еще незрелой книге молодого автора, которую Бунин принял в редактируемый им журнал, передать невозможно. Они не для печати!

Что-то в Толстом импонировало Бунину, и, хотя их пути давно разошлись, он всегда в мыслях продолжал его видеть молодым, задорным, в енотовой шубе, с цилиндром на голове.

Бунин не очень-то оценил „Хождение по мукам“, чертыхался по поводу последней части этой тетралогии (она называлась „Хлеб“!), но зато „Петром Первым“ восторгался неподдельно. „До чего хорошо, — говаривал он с некоторым удивлением, — ведь сколько документов пришлось ему изучить, сколько архивов перерыть“.

А затем так привелось, что незадолго до начала войны два бывших приятеля невзначай столкнулись в одном из боль-

ших парижских кафе. Они дружески расцеловались и осушили по бокалу шампанского. Впрочем, их общение дальше этого фужера не пошло, и эта встреча не помешала Толстому рассказывать какому-то интервьюеру, что „Бунин ходит совсем зеленый от злости“ и что, прочтя два тома бунинских рассказов и „Жизнь Арсеньева“, он наглядно увидел, что Бунин „опустошен и его творчество становится пустой оболочкой, где ничего нет, кроме сожалений о прошлом и мизантропии“. Казалось бы, на этом их отношения должны были закончиться.

Однако в дальнейшем возникает некая загадка. В бунинском двухтомнике „Литературного наследства“, наиболее авторитетном из советских литературоведческих изданий, биограф Толстого Крестинский рассказывает, что якобы в июне 1941 года, буквально у самого порога гитлеровского нашествия, Толстой получил от Бунина открытку. Следует отметить, что эта открытка с момента отъезда Толстого из Парижа, то есть примерно за двадцать лет, была единственным эпистолярным обращением „зеленого от злости“ Бунина к Толстому.

В открытке Бунин, мол, „жаловался на трудные условия своей жизни“. Это, конечно, вполне правдоподобно: условия жизни в Грассе были подлинно нелегкими, а на жалобы Бунин редко когда скупился. Но далее, как указывает Крестинский, Бунин, не говоря о своем желании вернуться на родину прямо и во весь рот, будто сделал это в завуалированной, но столь очевидной форме, что Толстой тут же засел за писание письма „дорогому Иосифу Виссарионовичу“, запрашивая его, „может ли он подать Бунину надежду на возвращение“. Крестинский добавляет, что сохранилось три черновика послания Толстого, которое он тщательно отшлифовывал, взвешивая каждое слово и колеблясь, какую форму обращения принять и как послание закончить.

Дальше Крестинский сообщает, что „к великому сожалению, этот интереснейший для биографии Бунина документ (то есть открытка, адресованная Толстому) затерялся“...

Потеря этой открытки, согласимся с Крестинским, тем более досадна, что она бы дала ответ на то, что мне представляется неким „недоразумением“.

Ведь я в те дни буквально ежечасно общался с Буниным, подолгу с ним беседовал, и он нередко говорил со мной на довольно сокровенные темы, которых я и сейчас не считаю себя вправе касаться. Но ни разу за эти жуткие годы (как и после того, как они миновали) я не слышал от него хотя бы отдаленного намека на желание перебраться в Советский Союз. Не слыхал я от него и о том, что он с чем-то обращался к Толстому, хотя в то время выполнял при нем обязанности „почтмейстера“. Сам он никогда на почту не спускался, а каждое свое письмо считал экстренным и непременно отправлял его „экспрессом“. „Это более убедительно для получателя“, — говорил он.

Бывали, конечно, дни, когда Бунин носился с мыслью покинуть „осточертевший“ Грасс. Одно время он почему-то стал подумывать о Португалии, вообразив, что это страна с „кисельными берегами“, в которую можно добраться на ковресамолете. Затем он стал поговаривать о переезде за океан. К примеру, вот запись, сделанная мной осенью того же 41 -го года: „Вчера Иван Алексеевич поднялся ко мне, когда я уже лежал. Он сел около постели и с большой энергией и упорством стал уговаривать меня ехать в Америку, предлагая „по-настоящему“ стать его секретарем и там как-нибудь обща выкарабкаться“.

Была ли тогда выполнима его идея, трудно сказать, но она не получила дальнейшего развития не столько из-за самой сложности такого предприятия, из-за связанной с путешествием устрашавшей его бюрократической волокиты, сколько из-за решительного сопротивления Веры Николаевны, вызванного сугубо личными причинами.

Как мне представляется, недоразумение почти аналогичного рода кроется и в истолковании одной бунинской фразы в письме к его давнему другу писателю Телешову. Эта фраза, точнее постскриптум, которая уже не раз цитировалась

и так и сяк комментировалась, звучит: „Я сед, сух, но еще ядовит. Очень хочу домой...“

Это „очень хочу домой“, став известным, чуть ли не вызвало „бурю в стакане воды“. Но как следует толковать эту приписку? Буквально? А как же иначе, как по-другому, будут мне возражать.

Был скучный майский день, дождь не переставал моросить, все кругом точно застыло на мертвой точке, а войне конца-краю не виделось. Нависали материальные заботы, которые Бунин всегда был склонен преувеличивать, надоела ненасыщающая, однообразная еда, но еще больше надоели все те же физиономии, которые мелькали перед ним и, естественно, приелись. Бунин вспоминал свое недавнее житье-бытье, невесть какое, но где собеседники чередовались, а по вечерам можно было пойти в кафе или еще куда. Ему вдруг захотелось вернуться в свою насиженную, хоть и не очень уютную, квартиру, которая была именно его „домом“ — другого ведь у него никогда и не было. В эту минуту он забывал, что Париж непривычный ему город, что и там не будет у него желанного спокойствия. Зная его, трудно, почти невозможно предположить, что он мог, хотя бы на минуту, подумать о возвращении в страну, в город, на какой-то Арбат, ставшие для него совершенно чужими и чуждыми и где он никак не мог бы чувствовать себя „в своей тарелке“.

И именно с Телешовым, с его старым „Митричем“, ему захотелось, пока не поздно, поделиться разъедавшей его в этот ненастный день горечью. К Телешову — далекому другу — он всегда сохранял теплые и братские чувства, хотя — он об этом говорил — был отчасти уязвлен, как мало места этот друг уделил ему в своих „Записках“, посвященных предреволюционной литературной Москве, и пресловутым „средам“, происходившим в телешовском доме. Бунин закрывал глаза на то, что такое умолчание было лишь невольной „данью времени“. На имени, на лишней цитате можно было поскользнуться...

А ведь в письме к Телешову было еще более показательнее, чем полуабстрактное „хочу домой“, из-за которого было сло-

мано столько копий, умышленное подчеркивание слов „я еще ядовит“. Если только хорошенько вдуматься, станет ясно, что одно противопоставлялось другому. Если раскрыть скобки и под „хочу домой“ непременно подразумевать „домой в Москву“, почти парафразу из „Трех сестер“, то это восклицание никак не вяжется с „я еще ядовит“. Говорится, что „Москва слезам не верит“, и это, конечно, правда, но еще меньше тогдашняя Москва была способна дать приют и угостить тихую пристань „ядовитому человеку“. Бунин это отчетливо знал и не мог с этим не считаться, даже в минуты какой-то депрессии.

Впрочем, это не единственный случай, когда из-за одного, другого его необдуманного слова к нему пристегивали всевозможные, совершенно нелепые политические ярлыки.

О БОРИСЕ ЗАЙЦЕВЕ

Недалеки от нас дни, когда как на пример долговечности всякий раз указывали на Тициана, который будто бы с кистью в руках скончался в восьмидесятишестилетнем возрасте. А вот теперь нам, земным старожилам, то и дело приходится поминать друзей и знакомых, словно только вчера нас покинувших, но которым, будь они еще живы, пришлось бы в именинном торте задувать сто свечей.

Кажется мне, что еще совсем-совсем недавно я пил чай в садике того совсем непарижского стиля домика, в котором, одвовав, поселился у своей дочери Борис Константинович Зайцев. До того я много лет его не видел, но когда он вышел мне навстречу и мы расцеловались, по внешнему виду я едва ли мог бы определить его возраст. Да, он заметно похудел, передвигался с палкой, но разговор его был таким же „сочным“, как и полвека до того.

Мы принадлежали к разным поколениям, а между тем, хоть мы далеко не во всем сходились, у меня при общении с ним никогда не было ощущения, что говорим мы на разных языках. Как часто бывает в жизни, дружеские отношения

движутся по спирали. Пользуясь музыкальной терминологией, они идут то „крещендо“, то „диминуэндо“. Бывали периоды, когда я довольно часто встречался с Зайцевым и его женой, Верой Алексеевной, бывшей скорее его „Путеводителем по жизни“, чем его Эгерией, женщиной, ни с кем не схожей, трогательной и участливой, иногда колючей на язык. А затем от одной встречи к другой проходили годы. Память, вечная изменница, многое затушевывает, но зато и многое сохраняет из того, что могло бы показаться незначущим.

Вспоминаю берлинское зайцевское пристанище: должно быть, две комнатки, снятые у какой-то полуразоренной инфляцией квартирохозяйки, развесившей по стенам вышитые крестиком дешево-добродетельные афоризмы. Зайцевы жили здесь точно на бивуаке, и тем не менее у них всегда было уютно, приветливо и не успел еще выветриться привезенный с собой особый арбатский аромат.

А вот авторская надпись на книге „Усадьба Паниных“ напомнила мне, что для отдыха от бесчисленных корректурных гранок (Зайцев переиздавал тогда собрание своих сочинений да еще выпускал несколько новых книг) мы состязались с ним в шахматы в одном из соседних кафе.

Вспоминаю и неделю, совместно проведенную на каком-то захудалом балтийском пляже под вечно морозящим грязно-серым небом. Передо мной письмо Веры Алексеевны, зов и некое предупреждение: „Борису, — пишет она, — здесь страшно не нравится, красивых женщин нет, но если приедете, устройте“. Несмотря на малозаманчивые перспективы, я все-таки отважился и не пожалел. Было так интересно послушать из уст Зайцева рассказы о еще совсем недавних предтольездных месяцах в Москве-не Москве, о его „приказчишьей“ работе в писательской книжной лавке, о „пасти львиной“, как по долгу председателя писательского союза он именовал хождения в Кремль к „самому“ Каменеву, тогда всесильному.

Потом в памяти провал и вслед — воспоминание об одном из парижских новогодним писательских балов, когда почти

под утро Зайцев подвел меня к стойке, за которой Бунин опорожнял рюмку коньяку. Он меня с ним познакомил, и кто мог тогда предвидеть, что это знакомство окажется для меня провиденциальным? Помню также, что потом мы должны были убить несколько часов, потому что рано утром из Италии приезжало зайцевское семейство, а я обещал не оставлять Бориса Константиновича одного. На вокзал мы прибыли небритые, в смокингах, после бессонной ночи с воротничками шарманкой. Что можно было о нас подумать?

Вспоминаю затем то обиталище, которое Зайцев довольно прозрачно описал в романе „Дом в Пасси“. В книге не раз просвечивают автобиографические черты и сквозь „странный“ быт, вызывающий недоумение французских соседей, остро чувствуется присутствие России — новой, старой? — скорее, вечной.

А потом Зайцевы уже надолго осели в Булони под Парижем, в квартире, в которую нужно было подыматься в допотопном лифте, наводившем страх на людей, к нему не привыкших. Но в этой скромной квартирке все всегда было в отменном порядке, и в кабинете писателя, на его письменном столе, неизменно высилась стопка белой бумаги, которую он постепенно заполнял почти каллиграфическим почерком, и одна-две книги, необходимые ему для очередных справок. А над столом, на стенке, — портрет Данте, если не ошибаюсь, кисти Андреа дель Кастаньо.

А как не вспомнить подлинную веху в жизни Зайцева — многолюдное празднование двадцатипятилетия его литературной деятельности, ставшее в некотором роде событием в жизни всего русского зарубежья, потому что это был редчайший случай, когда поздравить юбиляра пришли „старцы“ и молодые, блондины и брюнеты, литераторы и люди, литературе чуждые, „зубры“ и либералы. Нужно учесть обстановку тех лет, чтобы оценить значимость такого сборища.

Я особо упоминаю это празднество, чтобы подчеркнуть, что творчество Зайцева в какой-то мере всех объединяло и никого не отпугивало. Хотя, собственно, он никогда не ощу-

щал себя „над схваткой“ и в чем-то всегда был упрямо непреклонен, неприспособлен к компромиссам, но умел дипломатично сторониться эмигрантской „грызни“.

В своих помыслах он всегда оставался москвичом с Кривоарбатского — вероятно, давно не существующего — переулка. Как тут не воскресить зайцевский силуэт, импрессионистически набросанный Андреем Белым в его воспоминаниях. „Зайцев, — писал Белый, — примирял очень резкие противоречия литературных платформ. Тихий, весь розово-легкий какой-то, с отчетливо иконописным лицом, с козлиною русой бородкой, совсем молодой, он казался маститым и веским — и вдруг, стиль византийский нарушив, опомнившись, свой кипарисовый профиль закинет и так иконно сидит...“ В строках Белого, даже если в них можно ощутить налет шаржа, выступает портретность, и, делая поправку на годы, события, переживания, можно, пожалуй, утверждать, что, даже когда Зайцев свою бородку сбрил, „кипарисовый“ профиль еще у него оставался и „византийский“ стиль, хоть в малую толику, им соблюдался. Маститость и вескость, естественно, с годами усиливались, но надлежит тут же добавить, что она ни в коей мере не была синонимом важности или недоступности. Может быть, в Зайцеве не было той непосредственности в отношениях, которая была свойственна Бунину или Ремизову. Он никого по плечу не хлопал, но и не терпел никакого панибратства.

Он был глубоко религиозен, религиозен по-церковному, но был искренне терпим, и, как мне кажется, жила в нем религия сердца скорее, чем религия ума или чувства. Это отчетливо сказывается в описаниях двух его путешествий: на Афон и в ладожский монастырь, что на Валааме. Он вернулся с этого островка по какому-то „ушибленный“, потрясенный виденным, сознанием того, что кротость еще где-то в этом мире затесалась. Оголенность этого небольшого монастыря, его скудость он мысленно противопоставлял природной роскоши и яркости излюбленных итальянских пейзажей, и, может быть, хоть он сам себе и не признавался, белые

ночи и холодное лето оказались ему ближе, чем „адриатические волны и Брента”, которые он не переставал лелеять.

Литературные вкусы Зайцева были шире, чем у многих его сверстников, и, к примеру, Блок ему был во многом далек, иногда даже враждебен, но Блока он не только не принимал, но по-настоящему ценил, как принимал все чудачества Белого, понимал их природу, прощал ему все его вывихи.

У Зайцева рано выработался свой стиль, свой почерк, и это сказывалось не только в злоупотреблении инверсиями, в пристрастии к многоточиям и недосказанностям, но и в целомудренном отношении к своей теме. Все или почти все, писавшие о нем, как правило, твердили о его „акварельности”. Заново перечитывая некоторые его книги, публикуемые теперь его письма, вспоминая иные разговоры, мне представляется, что в применении к нему это набившее оскомину понятие „акварельность” не всегда оправдано. Я перечитал его „Анну”, вероятно, его „капполаворо” (он так любил это итальянское словцо) и был поражен, что в повести о судьбе свиновода Матвея Мартыновича не ощутить ни одной сентиментальной нотки. Вся она, как и сама фигура Анны, написана густыми масляными красками. Да и творчество раннего Зайцева, хотя бы взять такие рассказы, как „Елисейские поля”, или еще „Актриса”, или „Смерть” (смерть не абстрактного Ивана Ильича, а вполне конкретного Павла Антоновича), можно подытожить одной его фразой: „Да, среди невзгод и скорбей жизнь дарит нам иногда незабываемые мгновения. Верно, когда придет наш конец, мы вспомним о них. И если скажем: девять десятых пропало, но одна сотая вечна — то и за нее умрем спокойно”. В этих словах отразился весь Зайцев, сказался лейтмотив всего его творчества, и такому ощущению земной жизни он всегда оставался верен. Где уж тут „акварельность”?

Отмечать столетие со дня рождения в какой-то мере двусмысленно — ведь век для каждого из нас такой неизмеримо огромный отрезок времени, что человек, родившийся в год смерти Достоевского или убийства Александра II, кажется

каким-то „ископаемым”. Но, с другой стороны, юбилейная дата — повод, чтобы помянуть „юбиляра”, как бы воскресить перед собой его физический облик, заново вспомнить проведенные с ним часы, а в данном случае — и перечитать его. Это одно всецело оправдывает „празднование” столетней годовщины.

ЕЩЕ О САШЕ ЧЕРНОМ

Может быть, психологи смогли бы ответить на вопрос, почему писатели и поэты-юмористы сплошь да рядом оказываются людьми сумрачными, нелюдимыми, завзятыми неврасцениками? В этом отношении только подтверждал правило прославленный когда-то сатирик Саша Черный. Его стихи в свое время знала наизусть вся читающая Россия; в своих речах их цитировали думские депутаты и в защитительных речах передовые присяжные поверенные, хотевшие огорошить присяжных своей „близостью” к современной литературе. А Маяковский, хоть и казавшийся ему чуждым, но многое от него позаимствовавший, в своей лаконической автобиографии обмолвился: „Поэт почитаемый — Саша Черный”. По свидетельству близких, Маяковский способен был подолгу на память декламировать сатиры Черного.

Но времена меняются... Когда я с ним познакомился, волосы его уже были обведены серебряной краской, от его былой ядовитости не оставалось и следа, а глаза его точно источали грусть. Всем его неприхотливым обиходом — распорядком его дня, его хозяйством, да если судить по кое-каким беглым впечатлениям, им самим и его музой по-диктаторски заправляла его жена — пресловутая Марья Ивановна, которую все втихомолку именовали „Машей Черной”, а люди более почтительные „Марьей Ивановной-Сашей Черной”.

Она без устали и без передышки сновала по Парижу, давала уроки, выполняла чьи-то деловые поручения, продавала книги своего мужа, выискивала для них издателей. А было это дело нелегким... Она подлинно опекала мужа —

стряпала для него, одевала его и обувала, ходила за ним как нянька и каким-то почти чудодейственным образом, только благодаря своей природной настойчивости и энергии, сколотила кое-какие деньжата, позволившие ей приобрести домишко „на курьих ножках” в одном из поселков средиземноморского побережья, облюбованном и почти колонизированном русскими парижанами.

В эти годы сам поэт, почувствовавший, что продолжать именоваться „Сашей” уже не вполне приличествует его возрасту, окраске его поредевшей шевелюры и его репутации, решил видоизменить свой псевдоним, из которого, казалось ему, он „вырос”, как из коротких штанов. „Сашу” он решил заменить „Александром”. Но измена уменьшительному имени не принесла ему удачи. „А. Черный” не звучало, и потому, собственно, не привилось.

Когда-то я спросил его: „Александр Михайлович, почему вы в свое время окрестили себя „Сашей”?” Он кисло улыбнулся (улыбка его всегда была кисловатой) и пояснил: „Почему я так придумал, сам не знаю. Это было в сумасшедшем 905-м году. В недолговечном журнальчике „Зритель” я опубликовал стихотворение, названное мной „Чепуха”. Подпись „Саша” была под ним как нельзя кстати, а стихотворение имело громкий успех. Так и пошло. Но знаете, этот „Саша” мне много горя доставил: еще в Петербурге каждый встречный-поперечный фамильярно окликал меня „Саша”, да и тут — столько времени прошло — каждый недоросль пристаёт с этим „Сашей”. А менять имя трудно и, главное, хлопотно. Между тем хоть я про себя и написал, что „я прилежнее пчелки и ленивее совы”, но правильно только то, что относится к сове!”

Не привилась перемена псевдонима, может быть, еще потому, что к этому времени Черный стал заметно сереть, писал мало и вяло, печатался еще того меньше, редко где появлялся, предавался „мерехлюндии” и общался, кажется, с одним только Куприным, старинным своим другом. Впрочем, и Куприн в те годы был малообщителен и едва разговорчив,

и вспоминать сообща те битвы, „где вместе рубились они”, им едва ли было весело, тем более что Черный всегда и везде был словно на отлете.

Кое-когда появлялся он на традиционных писательских балах, всегда в том же бесцветном, непроутоженном костюме. Молчаливый, безрадостный, он приходил словно по принуждению и сидел, не двигаясь, в каком-нибудь углу, позади буфетной стойки, за которой суежилась его супруга, продававшая всяческие снэды. Видно было, что ему тяжело и он точно „мокрой ваты наелся”, с нетерпением поджидая момент, когда прилично будет улизнуть.

Дело было не только в том, что ему было неуютно среди веселящейся толпы. Его вообще стала тяготить и подавлять атмосфера большого города, и я вспоминаю, как, однажды посетив его, когда он жил где-то в окрестностях Парижа, я едва узнал его: это был другой человек. На лоне природы, даже если это „лоно” было весьма относительным, это был уже не тот, о котором он сам когда-то сказал: „Как молью изъеден я сплином / Посыпьте меня нафталином...” Нафталин там больше не был необходим, и недаром, едва только предоставилась возможность, Черные покинули Париж и перебрались под приморские сосны теплого берега Франции.

В этом „самоизгнании” был, конечно, и трагический момент. Ведь теоретически Саша Черный ценил Париж с его сутолокой, любил прогулки по Булонскому лесу, нашел общий язык с французской детворой, но все дело было в том, что он потерял самого себя, не находил себе точки применения. Все его бывшее творчество, все, что создало ему имя, сводилось к жалиющим бытовым зарисовкам, обличающим пошлость, обывательщину, мещанство, косвенно проповедовавшим антиэстетизм. Все это было больше не к месту и перестало быть злободневным. Отчасти из-за этого его поэзия и зашла в тупик. Для гротеска не было больше материала, и усталый поэт потерял способность быть ядовитым сатириком, как не научился выступать в роли присяжного юмориста. „Пародией безчестить Алигиери” было не в его духе, было ему не под силу.

Он переиздал, значительно их переправив, две старые книги своих сатир, выпустил третий сборник — „Жажду” — с характерным для него циклом „Чужое солнце”, в котором попадаются такие посвященные неизвестному другу строки:

„Мы с тобой
 два знатных иностранца:
 В серых куртках,
 в стоптанных туфлях,
 Карусель кружится
 в ритме танца,
 И девчонки ввысь
 летят в ладьях...
 Вдосталь хлеба,
 смеха и румянца,
 Только мы — полынь
 в чужих полях...”

Это было именно то ощущение, которое этот бескомпромиссный человек изжить не сумел, а вероятнее всего, изживать не хотел. Ему казалось, что он отныне всюду и везде — прибегаю к его собственной формуле — „чужой как Брахмапутра”. Вероятно, поэтому его так притягивала детская тематика, и его „Детский остров”, несомненно, самое ценное, что появилось за его подписью за рубежом. Это подлинно ласковая, безыскусная книга для детей, не подделывающаяся под детский язык, может порадовать и взрослых. А под занавес Черный окончательно перешел на прозу и выпустил „Солдатские сказки”, написанные бойкой, в меру арготической солдатской речью, которую он запомнил надолго. Ведь — кто бы мог подумать, глядя на него, — этот тщедушный и узкоплечий человек делал записи еще в 914-м году, проведя годы первой мировой войны добровольцем на фронте.

А когда заветная мечта Саши Черного покинуть давивший на него город и осесть на собственном клочке земли, наконец, осуществилась и он перебрался на притягивавший его юг, не „получилось” у него и там. Жизнь его вскоре оборва-

лась. Возвращаясь домой с рыбалки, он услышал крики „пожар” и ринулся к своему загоревшемуся домику. Пожар почти сразу потушили, собственно, тревога была ложной, но пережитое им волнение оказалось слишком сильным. В результате сердечного приступа он, не приходя в сознание, через несколько часов скончался и был похоронен на местном кладбище. Но и там его преследовала неудача: во время оккупации немцы вздумали воздвигать какие-то прибрежные укрепления и могила Саши Черного была скрыта.

СТЕПУН... ИЗДАЛЕКА

Это было в давние времена... Ермолова, одна из наиболее прославленных актрис Малого театра, встретив Степуна на каком-то чествовании, воскликнула: „Вот кому бы на нашу сцену: лицо старинное, волосы длинные, душа восторженная”. Ермолова была трижды права, но, так как сам Степун на этом чествовании не выступал — случай исключительный! — она не могла знать, что у него нелады с буквой „л”.

Он и сам мечтал о театральной карьере, с раннего детства был влюблен в театр, ставил какие-то любительские спектакли, но именно из-за рокового дефекта в разговоре оставил мечту о театре и по окончании Московского университета пристрастился к философии и отправился в Гейдельберг, чтобы с головой окунуться в неокантианскую атмосферу.

Западная Европа, увиденная Степуном впервые, сразу пленила его своим „благообразием” и отсутствием российских бескрайностей. Особенно пришелся ему по вкусу романтический налет, еще царивший на берегах живописного Некара, его „genius loci”. Кто знает? Может быть, во всем том, что определило его духовный облик, некоторую роль сыграл „зов предков”. Праотцы Степуна были уроженцами, если не ошибаюсь, Бранденбурга. Однако свою русскость он не только не утратил, но очень ею дорожил и любил ее подчеркивать: европеец по манерам, по взглядам, он был очень русским в быту.

В своих воспоминаниях „Бывшее и несбывшееся” он с большой проникновенностью и со свойственным ему остроумием обосновал свою теорию о противопоставлении „глаза” и „точки зрения”: если иметь живые глаза и пренебрегать точкой зрения, то в отдельных случаях жизни можно увидеть то, мимо чего часто проходят, не останавливаясь, но что, по существу, является наиболее важным.

В анализе событий — а это особенно бросается в глаза при чтении его первой по времени книги „Письма прапорщика-артиллера” — он нередко как бы пользовался принципами дифференциального исчисления, придавая „бесконечно” большое значение многому из того, что обычно причисляется к величинам „бесконечно малым” и эпизодическим.

Но теперь, стараясь мысленно воскресить мои разбросанные во времени встречи со Степуном, я для освежения памяти взял в руки его сборник „Встречи” и не без некоторого удивления прочел авторскую надпись, о которой позабыл. Чуть по-детски, неряшливым почерком Степун написал: „Имя — реку — Берлин 23-го года — Мюнхен 62-го”. Мне было трудно осознать, что мое знакомство с ним длилось сорок с лишним лет, и тут же вспомнить, что вскоре после получения этой книги суждено мне было бросить цветок на его еще не засыпанную могилу.

Как ни эпизодичны были наши встречи, они значительно участились, когда мы оба обитали в Мюнхене, в университете которого он возобновил лекции по истории русской культуры. Эта кафедра была специально для него создана.

На редкость гостеприимный Степун не раз приглашал меня к себе и, зная толк в еде, любил потчевать своих гостей замысловатыми русскими блюдами, на коих его жена была мастерицей. А овдовев, он охотно приходил ко мне: бутылка бургундского, которое он особенно любил, всегда была припасена.

Но, кроме того, я любил забегать к нему, чтобы поболтать с ним, вернее, послушать его. Сам он собеседника слушал неохотно, потому что, кем бы тот ни был, собеседник не давал

ему „договориться”, а говорить он любил как никто. Закончив один период, он, не переводя дыхания, начинал следующий, и его разговор всегда уподоблялся бенгальскому огню с необычайно пестрыми, порой неожиданными взлетами и причудливыми узорами, причем вся его манера говорить была необычайно „вкусной” — другого слова и не придумаешь, — а от самого его облика исходил какой-то „уют”, в чем-то даже анахронический.

Его цветистые метафоры, его сопоставления, часто усложненные громоздкой философской терминологией — гейдельбергским наследством, — надо было уметь раскусить, а мне — профану, каюсь, это не всегда сразу удавалось. Бывало, иной раз трудно было с ним согласиться, хотя его суждения не были эксцентричными, но, точно предвидя возможные возражения, которые он иногда сам провоцировал, он своей диалектической изощренностью и своим умением тут же без разгона улетать в поднебесье, как бы обезоруживал своего оппонента.

Казалось бы, что по душевному строю, по природе такие люди, как скажем, Андрей Белый и Бунин, были от него далеки, один из-за того, что их философские воззрения никак не совпадали, другой потому, что вообще чуждался абстрактностей.

Между тем, кажется, никто с таким почти пиететом не говорил о Белом, как он, едва ли кто другой так понимал и принимал все его „провалы” и „взлеты”. На моей полке и сейчас стоит редкий мусagetовский том „Символизма” Белого, доставшийся мне из библиотеки Степуна, и я с интересом разглядываю многочисленные пометы на полях книги, сделанные Степуном, особенно обильные на полях статьи „Эмблематика смысла” и, к сожалению, часто с трудом расшифровываемые. А эту любовь к Белому Степун с какой-то трогательной задушевностью совмещал с любовью к Бунину-человеку, а не только писателю.

Недаром в свои последние годы Бунин часто Степуна вспоминал охотно, но всегда с ласковостью его передразнивал и,

среди прочего, любил цитировать фразу, застрявшую в его памяти. „Наши бесконечные чаепития были чаянием бесконечности”, — с затаенным ехидством повторял Бунин, и я был искренно убежден, что эти слова — пародия на пристрастие Степуна к словесным каламбурам, которые он вводил в свои самые серьезные выступления. Сознаюсь, я был подлинно ошарашен, когда, читая подаренную мне автором книгу, я эти самые слова увидел в ней, напечатанные „черным по белому”.

Только погодя я понял, что в этой тяге к каламбурам и парадоксам, иногда только кажущимся, прорывается у Степуна... влияние его любимого гейдельбергского ментора, знаменитейшего историка философии Виндельбанда, который внушал своим ученикам, что никогда не следует забывать о единой судьбе всех истин: они приходят как парадоксы и исчезают как банальности.

Жонглируя парадоксами, Степун заранее думал о том, как отгородиться от банальностей. Он пытался воздвигнуть некую невидимую стену, и в этом в известной мере таилась его мудрость, потому что, строго говоря, он растратил весь свой блеск и свой талант на „мелочи”: на статьи, на рецензии, на чтение лекций, когда-то на редактирование „Логоса”, хоть и самого серьезного из русских философских журналов. Но „крупного” философского труда в его литературном наследии не хватает, и его воспоминания, вероятно, самое в нем привлекательное, то, чему, пожалуй, суждено оставаться в русской художественной, а не только мемуарной литературе.

В его наследии стоит как-то особняком пухлый „Николай Переслегин” — „роман в письмах”, как указывается в подзаголовке. В нем Степун как будто отвернулся от сократовского: „Познай самого себя”. Вместо воскрешения забытого эпистолярного жанра он создал многостраничный воображаемый дневник, отягощенный самоанализом и традиционно русским, порой назойливым „выяснением отношений” между действующими лицами. Но при этом его философское воспитание не позволяло ему оставаться в сфере „земного притя-

жения”, и он то и дело улетал в метафизические дали. Роман, на который он возлагал большие надежды, оказался менее убедительным и менее привлекательным, чем упомянутые воспоминания, где сходные темы он разрабатывал в ином ключе.

В „Бывшем и несбывшемся” он сумел необычайно красочно и выпукло обрисовать свое „помещичье” отрочество, студенческие годы, вывести целую галерею представителей предреволюционной эпохи, картинно изобразить свои поездки с докладами по всем „медвежьим углам” необъятной России и, наконец, описать первые годы первой мировой войны, проведенные им на галицийском фронте. На основе личного опыта Степун сделал заключение, что эта первая война, происходившая на фоне либерального XIX века, была „неудачей добра”, тогда как вторая была „удачей зла”, едва правдоподобной по своим масштабам и последствиям.

Вот и сейчас, по прошествии стольких лет, мне все еще чудится, что Степун, сидящий в своем „вольтеровском” кресле рядом с широченным письменным столом, на котором красуется портрет Владимира Соловьева, заново пересказывает то, что он уже написал в книге воспоминаний, но все это „бывшее” в его устах оживает заново, становится еще более живописным и убедительным, чем порой в слишком закругленных и иной раз витиеватых периодах его писаний.

Впечатлению от его рассказа, несомненно, способствовали интонации рассказчика, его жесты, отчасти им по-режиссерски рассчитанные, его манера, словно рупор, подносить руку ко рту, а в патетических местах резким движением откидывать назад обрамленную копной белых волос типично актерскую голову.

Если в истории русской философской мысли нашего века рядом с Бердяевым, Булгаковым, Франком или Лосским имя Степуна блещит менее ярким светом, то — повторяю — оттого, что весь свой задор и свой научный багаж он растерял в докладах и спорах, а в последние заграничные годы — в академическом преподавании.

Он был слишком живым человеком, слишком страстным жизнелюбцем, чтобы засесть, „обложившись фолиантами“, за писание ученых, всегда чуть схоластических философских трактатов. Но как-никак он был одним из последних и блестящих учеников несравненной плеяды, создавшей ту, увы, слишком краткую эпоху русской культуры, которая получила название „серебряный век“.

ВСТРЕЧИ С МАЯКОВСКИМ

Маяковскому посвящены пирамиды монографий и груды воспоминаний. В большинстве случаев это неумеренные апологии, и редко когда — без большой объективности — голос поднимают его недоброжелатели, которые обычно перегибают палку в обратную сторону. Что же к этому может добавить человек, который не был с поэтом близок, знаком был с ним шапочно, встречался вполне эпизодически и, воздавая должное его поэтическому дару, отнюдь не включал его в число ценимых им авторов?

Но все же... Проглядывая „полуакадемическое“ издание его сочинений, в одном из последних томов я наткнулся на воспроизведение фотографии, снятой в 1923 году в Берлине. На ней точно два Аякса — Маяковский и его закадычный друг Осип Брик, человек с весьма незавидной репутацией. Оба они сидят на продавленном, бугристом диване, на котором и я проводил бесчисленное число часов. Диван этот стоял в безалаберном и необъятном ателье моего приятеля, художника Пуни, и именно у него я и познакомился с Маяковским. В тот недолгий берлинский период моей жизни я дневал и ночевал у Пуни, а Маяковский, когда наезжал в Берлин, был там постоянным гостем.

Мне особенно врезалась в память одна многолюдная вечеринка, происходившая в этом „пуническом“ поднебесном ателье. Перечислить всех присутствующих мне не под силу, но отчетливо вспоминаю, как в какой-то момент, когда все уже были навеселе, Маяковский, голосом, который застав-

лял дребезжать стаканы и рюмки, начал декламировать или, точнее, „громыхать“ свое „Солнце“: „Я крикнул солнцу: погоди, послушай, златолобо / чем так без дела заходить/ ко мне на чай зашло бы!“

Думается, что он тогда не рассчитал относительную камерность помещения и домашность сборища. По привычке, он вообразил, что читает с эстрады на каком-то митинге. Но как-никак впечатление от его чтения было огромное. В авторском исполнении его стихи, несомненно, выигрывали, хотя все-таки впечатление от них двоилось.

Отчего? Вот вслед за ним гугниво и неуверенно, словно неохотно и с усилием припоминая собственные строки, не обращая внимания на логические ударения, что-то еле слышно (особенно после раскатов Маяковского) пробурчал Пастернак, а затем выступил выученик и „последний из адъютантов“ Гумилева, Николай Оцуп. Почти не повышая голоса и лишь подчеркивая концы строк, он читал свои не в меру „скромные“ стихи. И мне — да не одному мне — почудилось, что эти „обыденные“ строки, такие далекие от вызывающего бряцания Маяковского, задушевные в своей внешней безыскусственности, чем-то его смутили. Он, может быть, бессознательно это почувствовал, что демагогические приемы далеко не каждому по душе и существует нечто более важное, чем аплодисменты: установление между поэтом и его слушателями какой-то связующей „ниточки“. А это Маяковскому в этот вечер явно не удалось. Он это сознавал, и это его, несомненно, огорчило. В том, что после этих импровизированных выступлений он как-то потух, было даже что-то трогательное. На поверхность непредвиденно всплыла та сентиментальность, которая таилась в нем, но которую, словно стыдясь ее, он считал необходимым тщательно скрывать.

Мне кажется, что и впоследствии, когда я мимолетно встречал его в Париже, эта его черта не раз меня озадачивала, потому что она так противоречила созданному им „автопортрету“. В Париже она, вероятно, проявлялась более отчетливо потому, что он находился совсем в чуждом ему горо-

де, как бы среди чужих, и ему не нужно было разыгрывать ту раз навсегда принятую им роль, которая часто его сковывала, надоедала ему и нередко становилась, так сказать, „поперек его дороги“.

Я как-то встретил его на Монпарнасе, и он затащил меня в кафе. Кажется, это был единственный случай, когда мы очутились „один на один“. „Признайтесь, — сказал он после нескольких переброшенных слов, — ведь вы мои стихи не любите“. Я хоть ему не поддакнул, но сказанного им и не отрицал. Я ожидал грома, а он посмотрел на меня с ласковостью, а может быть, и с жалостью и добавил: „Ах, знаете, мне самому многое в них давно разонравилось, да что делать... Вот я издаю теперь сборник стихов, озаглавив его „Но.с“ — это сокращение — „но“ — новые, „с“ — стихи. Вы думаете, что я не понимаю, насколько это плоско, но это, верьте мне, понравится, а это главное... Да, каждому суждено свое. Это еще какой-то римлянин сказал“.

Ссылка на старшего Плиния меня поразила больше, чем самый смысл его слов.

Хотя сам я играть не умею, но неоднократно был свидетелем его игры на бильярде, и так выходило, что его партнерами были всегда парижские русские художники, собиравшиеся для игры в кафе, обессмерченном тем, что в нем когда-то ежевечерне появлялся Верлен. Играл Маяковский не слишком хорошо, но с необычайным азартом. Со стороны можно было подумать, что от исхода партии зависит дальнейшее течение его жизни. При проигрыше, а проигрывал он постоянно, он куksился, считая проигрыш умалением своего достоинства, и все время удваивал ставки, не отпуская партнера, пока результат „побоища“ как-то не сглаживался.

У Маяковского, казалось бы, здоровяка и великана, была одна странность: он был крайне мнителен, боялся заразы, боялся болезней и носил при себе какой-то флакончик — то ли с одеколоном, то ли с какой-то профилактической жидкостью, которую он то и дело, иногда среди разговора, брызгал на себя, тер ею руки и даже перед игрой обтирал ею свой кий.

А Париж он любил нежно, любил бродить ночью по сонному городу, а когда в кармане появлялись „лишние“ франки, не чуждался иной раз заходить в злачные места. В общем, город на Сене его притягивал сильнее, чем он мог это выразить в посвященных французской столице строках, в которые часто вклинивалась неизбежная „агитка“. Не будем его за это осуждать. Мог ли он поступать иначе, если думал о возможности в этот город вернуться? Но стоит только вспомнить несколько слов из его стихов о „прощании с Парижем“: „Париж бежит, провожая меня, во всей невозможной красе“, или столь известную концовку того же стихотворения: „Я хотел бы жить и умереть в Париже...“, одобренную кой для кого комплиментарным — „Если б не было такой земли — Москва“.

А ведь именно в эти годы жизнь его не складывалась, и то, что о нем судачили, не только не соответствовало действительности, но подчас было ей противопоставлено. За браваурным фасадом была блеклая реальность, одна за другой настигали его литературные неудачи и даже легенда об его идиллической „вечной любви“ вместе с ласковыми, с каким-то „мещанским“ оттенком дружески-любовными письмами, которые он подписывал „Щен“, пририсовывая щеночка (впоследствии изданными, но затем изъятыми из продажи), на поверку оказывалась именно легендой, и уж ни в коей мере не „идиллистической“.

А в один из своих последних наездов в Париж Маяковский не на шутку влюбился — как будто безудержно и более глубоко, чем когда-либо.

Когда-то был и я знаком с объектом его влюбленности и, кстати сказать, должен быть ей премного благодарен. В тяжкие дни 40-го года, тотчас после демобилизации, без сантима в кармане, расхаживая еще в военной форме, я очутился на средиземноморском побережье, и эта самая милая Т., несмотря на сумятицу тех дней, пришла мне на помощь, организовав небольшую группу, которую я должен был обучать искусству бриджа, хотя ни учителю, ни его ученикам было не до карт. Но такой жест не забывается.

Как бы то ни было, то, что писал вечно увлекающийся Виктор Шкловский, что, мол, Маяковский и предмет его увлечения „были так похожи друг на друга, так подходили друг к другу, что люди в кафе благодарно улыбались при их виде”, — очередная гипербола. Нет сомнения, что кареокая Т. была на редкость эффектна и привлекательна, но, как мне видится из отдаления, монументальный Маяковский, если как поэт и мог импонировать избалованной женщине, то едва ли она отвечала ему взаимностью. А после того, что Маяковский стал грозить: „Я все равно тебя когда-нибудь возьму / Одну или вдвоем с Парижем”, — в выездных визах из Советского Союза ему было отказано, и ходили упорные слухи, что тут постарались его „близкие”, которым не улыбалась мысль, что их „Володя” сочетается законным браком с эмигранткой. А эмигрантка вскоре вышла замуж за французского графа, быстро с ним разошлась, совершила тот же обряд вторично и по сей день благоденствует в Нью-Йорке, едва ли отдавая себе отчет, что в цепи причин, приведших Маяковского к роковому шагу, какую-то, хотя бы микроскопическую, роль сыграла и она.

Теперь в Москве существует площадь Маяковского, станция метро его имени, в центре города высится бронзовый его памятник. Все это возникло посмертно и только мешает осознать, что при жизни это был „неприкаянный” человек, глубоко несчастный и свою внутреннюю застенчивость маскировавший показной арrogантностью, наигранным нахальством и словесной грубостью.

В нашем сознании все эти псевдопочести и тяжеловесные бронзы отъединяют человека от поэта, а ведь на поверку оказалось, что, в сущности, „над родной страной он прошел стороной, как проходит косой дождь...”, не больше.

ДЬЯВОЛ ОДЕРЖИМОСТИ И МУЗА ТАЛАНТА

В 1991 году галерея „Сомерстаун” (находится в небольшом городке Сомерс, расположенном к северу от Нью-Йорка) показала экспозицию живописных работ Дмитрия Карабчиевского. Здесь было выставлено всего двадцать две работы художника, развешили их отлично — свободно и в хорошем освещении, но за полгода до этого мне довелось увидеть сотни его полотен, ребром составленных в стеллажи на квартире Диминого отца — моего давнего друга и товарища по перу Юрия Карабчиевского. Объем сделанного молодым художником сам по себе говорит об одной из необходимейших сторон настоящего творчества — способности трудиться, грубо говоря — „вкалывать”, проводя дни и дни, месяцами и годами, за письменным столом, за клавиатурой или перед треногой мольберта. Тут происходит непрерывное соитие дьявола одержимости с музой таланта. Самому же художнику с его ремеслом остается лишь акт рождения. Все это у Дмитрия Карабчиевского есть: одержимость, талант, ремесло живописца и графика (учил его Борис Биргер). Он из тех художников, у кого воочию видно само импульсивное движение кисти, видно, как густое, плотное масло сходит с кисти на холст и как в этом деянии лепится форма. В его мазках, часто имеющих „третье измерение”, то

есть заметно выступающих над плоскостью картины, можно усмотреть некий художественный экстремизм, направленный на резко определенное решение живописных задач. Соответственно этому эмоциональному экстремизму цвет нередко выбирается на основе сильно контрастных сопоставлений — интенсивно-красного с зеленым, красного с ярко-желтым или чистым синим; фигура, предмет в этих цветовых контрастах приобретает обостренную выразительность; композиционные решения — обычно простые, без отклонений от традиционных приемов — держатся крепко тоже благодаря этой силе верно расставленных цветовых акцентов. В некоторых из картин Карабчиевский использует смешанный стиль письма: крупные цветовые пятна сочетаются в них с техникой отдельных небольших мазков или рисунка кистью, есть работы, почти полностью выполненные в манере, близкой к точечному нанесению цвета. Всегда, однако, эмоциональное начало — то, что создает настроение картины, — выражено определенно, открыто и действительно. В этом — в эмоциональной силе живописи — ее привлекательность и главные достоинства. Это честная живопись. Без насилия над собой. Без надуманной заданности. Без стремления следовать моде. Можно даже сказать, что такой, как у Дмитрия Карабчиевского, „реалистический экспрессионизм“ сегодня выглядит неким вызовом всем этим бесконечным попыткам художников создавать непрерывную „новизну“ техник, стилей, направлений, концепций — попыткам, чаще всего бесплодным и уже порядком надоевшим. Несколько последних десятилетий, в течение которых нынешняя авангардная живопись формировала экспозиции отделов современной живописи крупнейших музеев мира, показали, что эти отделы мертвы, публика в них не идет и многие из новейших направлений изобразительного искусства стали тупиковыми ветвями его эволюции. Между тем то, что выше названо „честной живописью“, продолжает жить и воздействовать на нас, возрождаясь в работах таких новых художников, как молодой Дмитрий Карабчиевский. Доказательства этому просты: его картины влекут зрителя. Они с успехом выставляются в Москве, в Европе, в Америке, в Израиле, его картины покупаются коллекционерами. У художника заслуженно хорошее начало.

Остается верить в его удачу, в будущий его успех.

Феликс РОЗИНЕР
Бостон



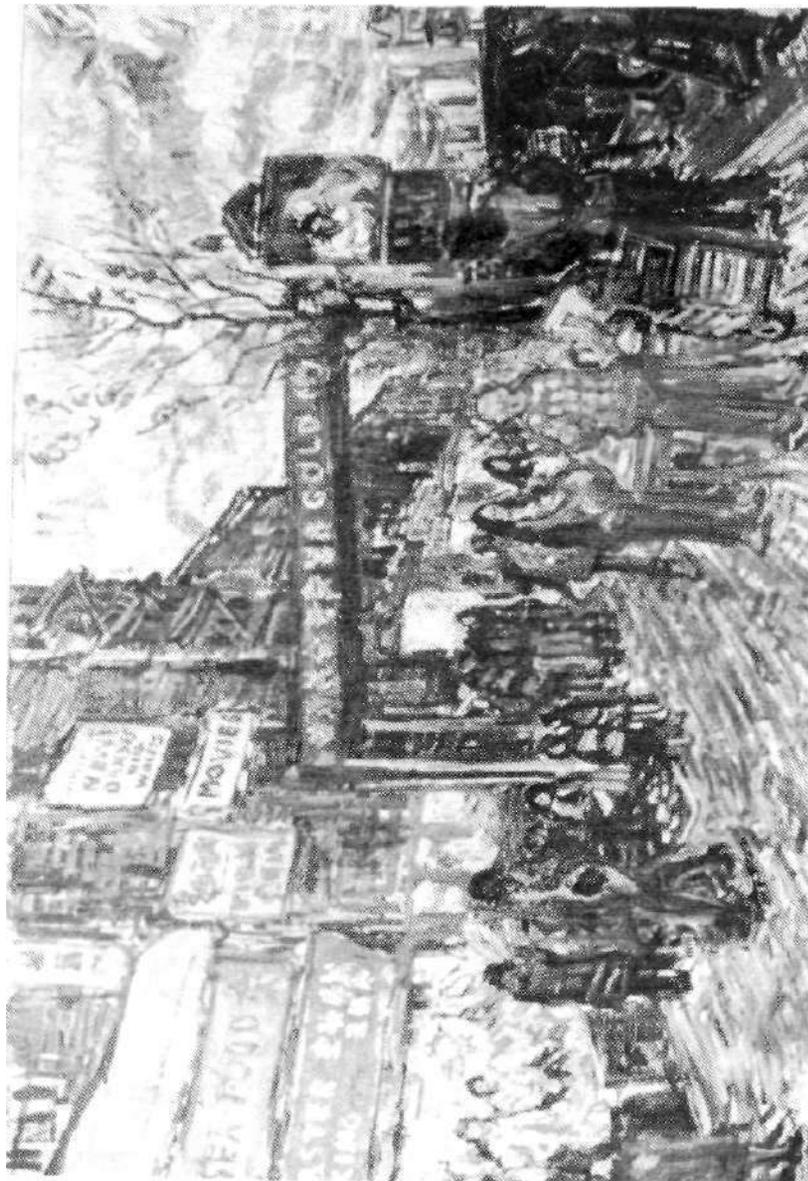
Чайнатаун вечером.



Автопортрет I.



Автопортрет II.



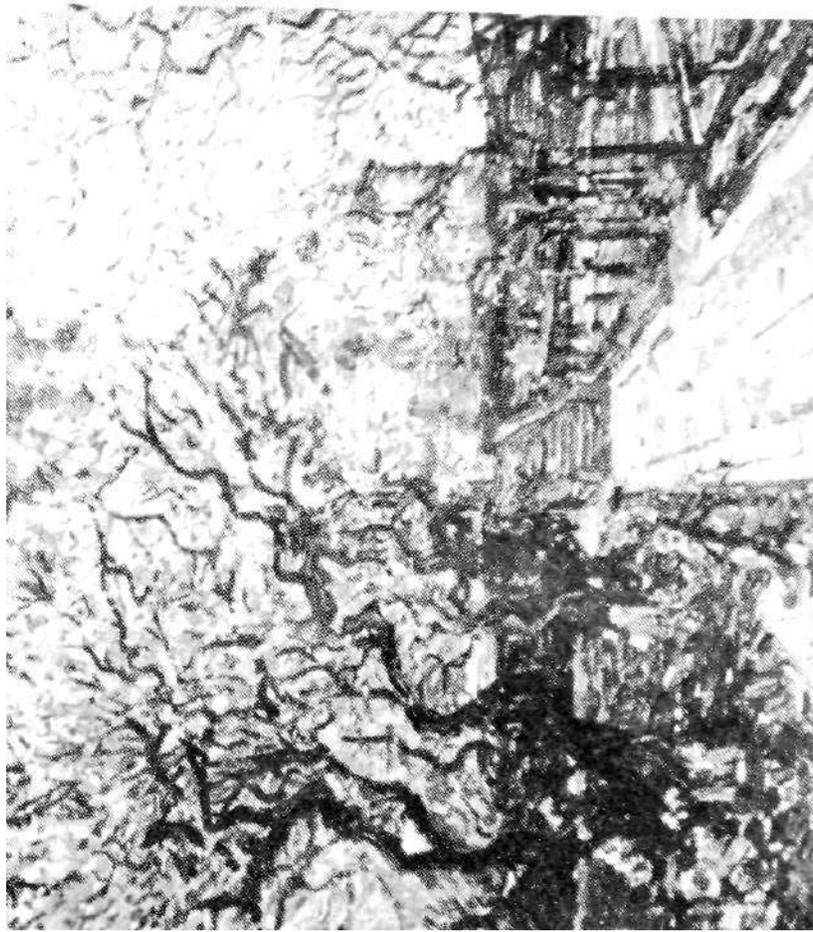
Чайнатаун в Нью-Йорке.



На кухне.



Весна в Бостоне.



Армянский храм.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ



Бикон Хилл. Бостон.

ИННА ЛЕСОВАЯ. Родилась в 1947 году в Киеве. Окончила факультет графики Московского полиграфического института. В 1975 году вступила в Союз художников. Занимается живописью, графикой, разрабатывает модели кукол для детей. В последние годы написала несколько повестей („Вверх по Фроловскому спуску“, „Верочка“, „Четыре воспоминания о детстве“, „Следствие“) и роман („Бессарабский романс“).

АБРАМ Б. ЙЕГОШУА. Родился в Иерусалиме в 1936 году. Окончил факультет философии и израильской литературы Иерусалимского университета. В течение трех лет возглавлял ассоциацию еврейских студентов в Париже. С 1972 года стал полным профессором сравнительной литературы Хайфского университета. Удостоен литературных премий Бреннера, Альтермана, Бялика. Публикуется в толстых литературных журналах Израиля: „Кешет“ („Радуга“), „Ахшав“ („Сейчас“), „Симан крия“ („Знак препинания“). Произведения А.Б.Йегошуа переведены на английский, французский и другие европейские языки.

НАТАЛЬЯ ВОЛЬБЕРГ. Родилась в Москве, в семье беженцев из Польши. В 1953 году окончила географический факультет Ленинградского университета и факультет русского языка и литературы Пединститута им. Покровского. Работала инженером-гидрологом, корректором, литературным редактором. В Израиль эмигрировала в 1973 году, живет в Беер-Шеве, окончила Беер-Шевское педагогическое училище, в течение последних тринадцати лет на педагогической работе.

ЭЛЛА КРЫЛОВА. Родилась в 1970 году в Москве. Окончила Музыкальное училище им. Гнесиных, работала компьютерщицей. Первая подборка стихов опубликована в журнале „Знамя“.

АЛЬБЕРТ ЛЕИН. Родился в 1939 году. До эмиграции жил в Виннице, в Прибалтике. Печатался в журналах Литвы, Латвии, Якутии. Работал слесарем, грузчиком, настройщиком радиоаппаратуры. После эмиграции живет в Западном Берлине. Систематически печатается в журнале „Время и мы“.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. Главный редактор журнала „Время и мы”. Родился и вырос в Москве. Окончил Московский юридический институт и факультет журналистики Московского полиграфического института. В прошлом — корреспондент Московского радио, фельетонист газеты „Труд”, зав. отделом и спецкор „Литературной газеты”. В 1973 году эмигрировал в Израиль, где работал политическим обозревателем газеты „Аль Гамишмар”, а в 1975 году основал журнал „Время и мы”. Выступал в газетах „Нью-Йорк Таймс”, „Стампа”, „Фамиглия Кристиана” „Едиот Ахоронот” „Давар” и многих других. Автор книг „Покинутая Россия” (удостоенной второй премии Иерусалимского университета) и „Театр абсурда”, опубликованного в отрывках в журнале „Юность”.

ЭРАСТ ГЛИНЕР. Родился в Киеве. С трех лет жил в Ленинграде. В 1940 году поступил в Ленинградский университет. Участник войны. Вернулся в университет в 1944 году. Вскоре после войны был арестован и сослан в сталинские лагеря. Специалист в области общей теории относительности. В 1975 году разработал вместе с друзьями математические модели общества, пытаясь понять, был ли путь страны от Октября до развитого социализма неизбежен. В настоящее время живет в США.

ЛЕВ АННИНСКИЙ. Родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. В 1956 году окончил филфак МГУ. Автор пятнадцати книг, среди которых „Ядро ореха”, „Обрученный с идеей”, „30-е — 70-е”, „Лев Толстой и кинематограф”, „Лесковское ожерелье”, „Локти и крылья”, „Билет в рай” и многие другие.

МИХАИЛ ЛОЙ (ЛОЙБЕРГ). Социолог и историк. Родился в 1923 году в Днепрпетровске. В 1941 году закончил среднюю (в Киеве) затем военную (на Урале) школу, а в 1942 году, после тяжелого ранения, был демобилизован из армии и поступил в университет. В 1946 году закончил Киевский университет, затем аспирантуру, в 1950 году стал кандидатом исторических наук, а

в 1951-м — политическим узником ГУЛАГА, осужденным на 10 лет заключения тогдашним особым совещанием за якобы имевшие место в студенческие годы антисоветские разговоры. После освобождения работал по освоенной в лагере специальности — токарем на заводе игрушек, а после возвращения на научно-педагогическую ниву в среднем каждые три-четыре года терял работу без всяких видимых причин. Так, уже будучи социологом с определенным именем, был вынужден покинуть Институт конкретных социальных исследований (теперь Институт социологии) Академии наук СССР и перейти в начале 70-х годов на работу по прикладной социологии лесной промышленности. С 1985 года на пенсии, инвалид Отечественной войны. Живет в Москве.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ. Московский журналист. Родился в 1965 году. Окончил юридический факультет МГУ. Работал консультантом Верховного суда РСФСР, в ежемесячнике „Совершенно секретно”, журнале „Диалог”. Печатался во многих центральных советских изданиях, автор ряда интервью для радио. Материалы „Полнота и фатальность истории” и „Пресса партийного будуара” были опубликованы во „Время и мы”.

ЕЛЕНА ГЕССЕН. Публицист и переводчик. Окончила Институт иностранных языков в Москве, специалист по немецкой литературе. Работала во Всесоюзной государственной библиотеке иностранной литературы. Эмигрировала в США в 1981 году. В настоящее время научный сотрудник Гарвардского русского научного центра. Регулярно публикуется в русско-язычной прессе. Перевела на русский язык ряд книг, в том числе „Охота за „Красным октябрём” Тома Кленси, „Зимний дворец” Денниса Джонса, „Жертвы Ялты” Ник. Толстого, „История власовской армии” Й.Хоффмана и др.

ЗИНОВИЙ ЗИНИК. Родился в 1945 году. Изучал живопись в художественной школе для юношества, а затем топологию в Московском университете. Сотрудничал в журнале „Театр”. Эми-

грировал в 1975 году в Израиль, где был режиссером первого русского театра-студии при Иерусалимском университете, а затем был приглашен работать на Би-Би-Си и переселился в Великобританию. Живет в Лондоне. Автор повестей и романов: „Извещение“, „Уклонение от повинности“, „Русская служба“, „Ниша в Пантеоне“, „Перемещенное лицо“, „Русофобка и фунгофил“. Проза Зиника переведена на английский, французский, испанский, голландский языки и иврит. Как рецензент и критик постоянно сотрудничает с Би-Би-Си и лондонскими периодическими изданиями.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ. Родился в 1930 году в Москве. Окончил редакционно-издательский факультет Московского полиграфического института. Работал в издательстве „Знание“, агентстве печати „Новости“, член Союза писателей, автор 22 научно-популярных книг. В настоящее время живет в США.

АЛЕКСАНДР БАХРАХ. Читай предисловие к публикации.

SUMMARY FOR *VREMYA I MY (TIME AND WE)* No. 114

INNA LESOVAYA, "Up the Frolov Descent." A novella about the lives of Jewish families in the Ukraine. Fathers and Sons. Emigration.

A.B. YEHOSHUA, "The Lover." Excerpt from the novel by the outstanding Israeli writer.

ELLA KRYLOVA, Modern Verse.

ALBERT LEIN, A Crown of Sonnets.

VIKTOR PERELMAN, "The New Russia." The author examines the situation in Russia in the wake of the failed coup.

ERAST GLINER, "The Market Against the People." The article demonstrates how the nomenklatura tries to use its privileges on the road to the market.

LEV ANNINSKY, "Liberation From the Tower of Babel." The well-known Moscow critic analyzes the recent years' developments in the Russian language and in the languages of ex-Soviet republics.

MIKHAIL LOY, "Russian-Jewish Symbiosis." An analysis of Russian-Jewish relationships in a historical aspect.

ANDREI KOLESNIKOV, "Leviathan and Venus." A sociological study of prostitution in the USSR. The state's attitudes toward prostitution.

ELENA GESSEN, "Essay on Women's Prose." The article examines the best of recent fiction by lady writers.

ZINOVY ZINIK, "Nostalgia for a Past That Never Happened." An interview with one of the most talented writers of the "Third Wave" of emigres.

SERGEI IVANOV, "The Banishment of Cavalier Gluck." The cultural policies of the Soviet regime in the Stalin era. An episode from the life of the Moscow Conservatory.

ALEXANDER BAKHRAKH, "Notes From Memory." Reminiscences about writers of the "First Wave" of emigres.

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1992

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA

TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на.....год. Высылать с номера..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

.....

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ 07605
(201)592-6155

Набор, изготовление оригинал-макета выполнены ИПО „Автор”
123423, Москва, пр. Маршала Жукова, д. 39, корп. 1.
Тел. : 943-90-91 .

OCR и вычитка — Давид Титиевский, сентябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.
На четвертой странице обложки: Дмитрий Карабчиевский
„Музыкант в Чикаго”.**

